

R $\frac{284}{275}$

НА МОСКВУ!

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ

ИЗЪ ВРЕМЕНЪ ПЕРВАГО САМОЗВАНЦА.

СЪ 2-МЯ ПОРТРЕТАМИ И 16 ОТДѢЛЬНЫМИ РИСУНКАМИ.

Цена 1 р. 75 к., въ пакѣ 2 р., въ перепл. 2 р. 50 к.



5640-0

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе книжнаго магазина П. В. Луковникова.

Лештуковъ переулокъ, д. № 2.

1903.

Василий Петрович Авенариус

На Москву! (За царевича #3)

Главными материалами для настоящей повести послужили обширные ученые исследования Д. И. Эварницкого и покойного А. А. Скальковского о запорожских казаках. До выпуска книги отдельным изданием, г. Эварницкий был так обязателен пересмотреть ее для устранения возможных погрешностей против исторической и бытовой правды; за что автор считает долгом выразить здесь нашему первому знатоку Запорожья особенную признательность.

Содержание

#1	0006
III На Москву!	0007
Глава первая МОСКОВСКИЕ ПЕРЕМЕТЧИКИ	0008
Глава вторая ДОРОГАЯ ПОБЕДА	0032
Глава третья ДВА СООБЩНИКА	0052
Глава четвертая В ЦАРСТВЕ СМЕРТИ	0060
Глава пятая ВОРОНЬЕ ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ	0076
Глава шестая СЕРДЦЕ СЕРДЦУ ВЕСТЬ ПОДАЕТ	0095
Глава седьмая ПОХОЖДЕНИЯ ПЕТРУСЯ КОВАЛЯ	0110
Глава восьмая КАК ДВОЕ ТОНУТ И ДРУГ ДРУГА ТОПЯТ	0141
Глава девятая ГОРДИЕВ УЗЕЛ	0156
Глава десятая ДВЕ, ОДНА И НИ ОДНОЙ	0180
Глава одиннадцатая ПЕРЕД ЦАРЕМ БОРИСОМ ГОДУНОВЫМ	0206
Глава двенадцатая МЕДВЕЖЬЯ ЯМА	0226
Глава пятнадцатая КОНЧИНА ГОДУНОВА И БЕГСТВО КУРЬСКОГО	0286
Глава шестнадцатая КТО БЫЛ ОГУРЕЦ И ЧЕМ КОНЧИЛАСЬ ЕГО ВСТРЕЧА С ЦАРЕВИЧЕМ	0309
Глава семнадцатая КАК ПЕТРУСЬ КОВАЛЬ ОПРАВИЛ ДОБРОЕ ИМЯ ЗАПОРОЖЦЕВ	0336
Глава восемнадцатая ЧЕГО ТАК ЖДАЛ КУРЬСКИЙ	

.....	0362
Глава девятнадцатая ЧЕГО ЕМУ И ВО СНЕ НЕ МЕРЕЩИЛОСЬ.....	0375
Глава двадцатая ДОРОГИЕ ГОСТИ.....	0390
Глава двадцать первая КАК МАРИНА МНИШЕК ВЪЕЗЖАЛА В МОСКВУ И КАК МАРУСЯ КУРБСКАЯ ПРИНЯЛА ТАКЖЕ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ВЪЕЗДЕ	0413
Глава двадцать вторая ЦАРИЦА РУССКАЯ ИЛИ ПОЛЬСКАЯ?.....	0433
Глава двадцать третья КАК КУРБСКИЙ УЗНАЛ О НОВОМ ЗАМЫСЛЕ ШУЙСКОГО И ЧТО ИЗ ТОГО ДЛЯ НЕГО САМОГО ВЫШЛО.....	0450
Глава двадцать четвертая ДРАМА 17-ГО МАЯ 1606 ГОДА.....	0474
Заключение.....	0494

**В. П. Авенариус
За царевича
(Историческая трилогия)**

(Историческая повесть из времен самозванца)

III На Москву!



Handwritten signature in cursive script, likely reading "Demetrius I."

Глава первая МОСКОВСКИЕ ПЕРЕМЕТЧИКИ

Шестую неделю уж названный сын московского царя Ивана Васильевича Грозного, царевич Димитрий, с пятнадцатитысячной ратью будущего тестя своего, сендомирского воеводы Юрия Мнишека, осаждал древнерусский Новгород-Северск, — и все безуспешно. От самого города, правда, осталось одно только пепелище. Теперь оно было занесено снегом; там и сям лишь уныло чернели остовы дымовых труб, точно взывая к небу о возмездии. Сожгли город, однако, не осаждающие, а защитники его, по приказу своего начальника, царского окольного Басманова, который со своей малочисленной дружиной, все равно, не мог бы отстоять городские дома от разграбления врагами. Жителей со всем их скарбом он приютил у себя за высокой бревенчатой стеной старой крепости-замка, где со своими шестьюстами стрельцов держался крепко, отражая всякий приступ. А сколько

было этих приступов и днем и ночью! Сколько штурмующих полегло уже под меткими пулями и стрелами царских стрельцов, подвалившимися с вышины бревнами и камнями! Мало пользы приносили полякам и привезенные ими с собой петарды (пушки для разбития стен): всякую брешь осажденные заваливали тотчас кирпичами и землей.

Наступал ранний декабрьский вечер 1604 года. Бесплезная перестрелка стала утихать, пока совсем не смолкла. Вот, из глубокой траншеи, обхватывающей замок широким полукругом, грянул еще как бы прощальный салют; но сумерки настолько уже сгустились, что нельзя было даже судить, долетело ли пушечное ядро по назначению.

Тут из траншеи показались два молодых рыцаря и повернули к польскому лагерю. Несмотря на их польский наряд, они говорили меж собой по-русски, да и действительно были русскими: один был сам царевич Дмитрий, а другой — ближайший его друг и советник, князь Михайло Андреевич Курбский.

— Потерпи, государь, потерпи еще малость, — говорил Курбский, — были тебе ведь



и раньше сего помехи: в каком великом деле их не бывает? А теперь тебе сдалось уже сколько русских городов: Муромск, Чернигов, Путивль, Рыльск, Курск; жители везде выходят к тебе навстречу с хлебом-солью, со слезами радости: «Солнышко наше всходит!»

— Все это так, — согласился Димитрий, — но вот Басманова с его горстью стрельцов нами и огненным боем не одолеть которую уже неделю! Не нынче — завтра, того и жди, нагрянет все Борисово войско; как-то мы еще устоим? Хоть бы подспели наконец твои запорожцы! А то ни слуху от них, ни духу...

— Оплошал я, государь, прости, что не остался тогда при них. Но, как было мне не поспешить сюда по твоему зову...

— Коли чья в том вина, Михайло Андреич, так не твоя, а моя: по другу крепко стосковался. Однако, гляди-ка, к нам идет пан Бучинский. Верно, неспроста.

Не будь у пана Бучинского усиков, этого стройного маленького человечка можно было бы принять за подростка. Но царевич, очевидно, дорожил своим молодым секретарем, потому что спросил его самым дружеским то-

НОМ:

— Что нового, милый пане?

— Вести из Москвы, государь, — отвечал пан Бучинский. — Наш сторожевой пост в восьми верстах отсюда, на реке Узруе, имел стычку с передовым разъездом москвитян...

— Ну, вот, что я сейчас говорил! И чем же кончилось дело?

— Пока только перестрелкой у переправы. Но за передовым разъездом идет все их войско. Два московитянина добровольно передались нам и доставлены только что в лагерь. Пан гетман хотел бы сейчас их допросить и ждет только ваше величество.

— Идем же, идем. Так пану гетману, значит, полегчало?

— Да, с вечера еще он жаловался на подагру; а ночью был у него опять жестокий припадок. Но, теперь он все же вышел в кабинет.

Так, разговаривая, они дошли до лагеря, освещенного целым рядом костров, и между воинских палаток, землянок и бараков, сколоченных из обгорелых досок и бревен, направились к главной квартире. То был загородный хутор, который один лишь во всей

окружности уцелел каким-то чудом среди общего разрушения. Чудо совершил все тот же маленький царский секретарь: благодаря его предусмотрительности, хутор с первого же дня осады Новгород-Северска был окружен охранной стражей, а теперь в нем помещались не только царевич и гетман (каждый на своей половине), но и войсковая канцелярия, а также все региментари (полковые командиры); эти, впрочем, — в надворных постройках.

Старика Мнишека, должно быть, не на шутку донимала его давнишняя приятельница, подагра: перед топящейся печкой, полулежа в глубоком кресле, он протянул на другое кресло больную ногу, запеленутую, как младенец, в пуховое одеяло, и поминутно кряхтел от боли. Тем не менее, он был в форменном кунтуше, щеки его были тщательно выбриты, длинные усы зачернены, седой оселедец искусно зачесан с затылка на голое, лоснящееся темя, а около кресла, сейчас под рукой, был гетманский жезл: и старческие недуги не мешали ему оставаться всегда бравым рыцарем и гетманом.

Кроме самого Мнишека, в кабинете были

еще двое приближенных к нему лиц: старший адъютант его, пан Тарло, и домашний шут, Балцер Зидек. Этот прикорнул на скамеечке у ног своего господина и размешивал железным острием своего дурацкого жезла пылающие уголья в печке. При входе царевича, он с комической важностью приподнялся со скамеечки, снял с бритой макушки ушатый колпак, звеня нашитыми на нем медными погремушками, и с торжественной почтительностью прикоснулся жезлом к полу.

— Падам до ног великому государю! Дмитрий чуть-чуть кивнул ему головой и поздоровался с Мнишеком.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, пане гетман! — предупредил он старика, который показал вид, будто хочет также встать с кресла ему навстречу. — Ваше здоровье?

— Лучше и не спрашивайте, государь! — отвечал Мнишек, болезненно морщась. — Вы слышали ведь о двух московских переметчиках?

— Слышал, пане. Кто они такие?

— Называют они себя сыновьями боярскими. Так ли это или нет, мы скоро узнаем. Но

они — будущие подданные вашего царского величества, а потому не благоугодно ли будет вам самим допросить их? Пан Тарло! введите-ка их сюда.

Введенные вслед за тем паном Тарло два перебежчика были люди еще довольно молодые, а их благообразные лица великорусского оклада и надетые на них сверх кафтанов шелковые ферязи (длинные кафтаны без перехвата, застегивавшиеся петлицами и пуговицами) показывали, что оба, действительно, не простого звания. Стоявший около кресла царевича Курбский своим богатырским телосложением и мужественной красотой первый привлек на себя их внимание; но когда тут Димитрий предложил им подойти ближе, они поняли, что он, этот на вид довольно неприглядный молодой человек, но с быстрыми, пронизательными глазами и гордой осанкой, и есть именно царевич.

На вопрос Димитрия, точно ли они боярского рода, старший из двух почтительно, но безбоязненно отвечал, что сам он — из рода Болтиных, а товарищ его — из рода Чоглоковых.

— Наслышан я уже и о Болтиных, и о Чо-глоковых, — сказал царевич, — и приходом вашим очень доволен.

— А уж мы-то как удовлетворены, что допущены пред твои пресветлые очи, надежда-государь!

— И давно вы из Белокаменной?

— Да погостили мы там с товарищем месяца три назад.

— Так вы оба не тамошние?

— Никак нет: мы калужские; под Калугой же и забрал нас в свое ополчение воевода царский, князь Мстиславский; под Брянском соединился он с князем Димитрием Шуйским, откуда уже всею ратью двинулись сюда на выручку Басманову.

— Так, так. И велика ныне вся их воинская сила?

— Да тысяч, почитай, до пятидесяти станет. Димитрий озадаченно переглянулся с Мнишеком.

Тот в ответ только многозначительно повел своими пушистыми бровями и крикнул. Болтин заметил удручающее впечатление, произведенное его сообщением на царевича,

и поспешил его успокоить.

— Да ты больно-то, государь, не полошайся. Войско войску рознь: наше набрано с бору да с сосенки, мало еще приобучено к ратному делу; да и кому охота воевать против своего природного государя.

Слова эти, видимо, ободрили опять Димитрия.

— Вы оба недавно ведь из Москвы, — сказал он. — Так расскажите же по всей правде, что толкуют там в народе?

— По всей правде сказать, — начал Болтин, — народ наш как в дурмане ходит и сам хорошенько не ведает, чему верить, чему нет. В церквах Божьих ведь с амвона, по царскому велению, анафему возглашают некому беглому монаху Григорию Отрепьеву, что на Литве появился и самозванно принял будто бы имя убиенного в Угличе царевича Димитрия. Но правда, как искра под валежником, тлится, пока пламенем не вспыхнет; молва все растет да растет, что царевич точно спасся от Борисовых убийц. А тут пошли еще разные знаменья: на небе два месяца, три солнца; в облаках бьются словно огненные рати; бурей сно-

сит вышки с теремов боярских, кресты со святых храмов; среди бела дня волки стаями бегают по улицам, кидаются на людей, пожирают друг друга.

— А сам Борис ничему этому веры не дает?

— То-то, государь, что и на него словно страх напал. Когда летось над Москвой поднялась эта большая звезда хвостатая, он нарочито вызвал из Инфляндии ученого звездочета.

— Вот как! И что же тот предрек ему?

— Доподлинно-то никто о том не знает. Но ходит слух, будто звездочет объяснил, что хвостатые звезды посылаются Господом Богом всякий раз перед великими бедствиями народными, дабы государи берегли и себя и народ, особливо перед чужеземцами. Тут Годунов еще пуще всполошился, велел, слышно, в ночную пору привезти к себе во дворец на допрос из Новодевичьего монастыря твою, государь, благоверную матушку-царицу, инокиню Марфу.

— И ее то, схимницу, не мог оставить в покое! — воскликнул Димитрий, гневно сверкая глазами. — Что же она на допросе показала?

— Прямо показать, что сын ее жив, у нее,

знать, духу не достало. Однако ж она все-таки не утаила, что слышала от людей, коим должна верить, будто сын ее спасся и проживает теперь где-то за рубежом. Когда же Годунов стал требовать, чтобы она назвала ему этих верных людей, она отвечала, что тех людей уже нет на свете. Но при допросе была и жена Борисова, царица Марья. Нравом она крута, разгорчива, — и, Боже мой! Как схватит со стола горящую свечу, да с угрозой на твою царицу-матушку: «Сейчас говори, кто они, изменники! Не скажешь, — выжгу тебе очи...»

Царевич, слушавший до сих пор с затаенным дыханьем, привскочил даже в кресле.

— Этого я им, клянусь Богом, во век не прощу!

— Не клянись, государь, — сказал Болтин. — Борис Федорович не дал твоей государыни-матушки в обиду, просил ее не поставить в вину царице Марье ее горячность...

— И отослал матушку обратно в монастырь?

— Отослал со всем почетом. Сам-то он не так уж лют...

— А в прежние годы был и светлодушен и

многомилостив, — подхватил товарищ Болтина, Чоглоков, которому, видно, также не терпелось вставить свое слово.

— Это что он во время мора голодающим свои житницы раскрыл? — заметил Димитрий.

— Да, и нищую братию из своей казны щедро оделял; а разбойников, что развелись от голодухи по большим дорогам, целыми шайками извел. Да, признаться, не житье от него и грабителям якобы законным — приказным: дьякам и судьям.

Тут Болтин толкнул говорящего в бок.

— С ума ты спятил, — хвалишь Годунова!

Хотя это было сказано вполголоса, однако Димитрий расслышал.

— О врагах своих нужно знать не одно дурное, но и доброе, — сказал он. — А то как же правильно судить о них? Так приказным Годунов также не дает спуску?

— Не дает, государь, — отвечал Чоглоков, ободренный такой поддержкой со стороны царевича. — Не токмо велит мздоприимцам возвращать посулы (взятки), собранные с просителей, но с кого, по вине и чину глядя,

взимает и штраф изрядный, — в 500, в 1000, в 2000 рублей, а у кого отбирает и все имущество движимое и недвижимое, несправедливо добытое.

— Бьет, значит, рублем.

— И рублем и дубьем. Перехожу я раз Красную площадь, глядь: народ навстречу валом валит, шумит, хохочет. Что такое? А везут, вишь, по улицам на позорище всенародное дьяка мздоимца. Сидит он, раб Божий, на тележке, обнаженный до пояса, со скрученными локтями; висит у него на шее мешок с личным, — кто говорит: с дичиной, кто — с рыбой соленой, — а на спине дощечка с надписью: «Мздоимец». По бокам же идут два стражника с большущими прутьями и хлещут его по оголенной спине, хлесть да хлесть. Он то охнет, то заорет благим матом; а народ бежит вслед, всячески над ним издевается, радуется его мукам...

— Коли радуется, то, стало быть, Борис сумел в этом угодить москвичам! — с горечью проговорил Димитрий, на которого описанная грубая сцена произвела, видимо, тяжелое впечатление. — Ну, а что же недруги Борисо-

вы в укор ему ставят?

— Что мнителен он уже не в меру, — отвечал Болтин, — всюду видит измену; а дабы никакие злоумышления от него не скрылись, поощряет всякие поклепы и доносы, жалуя за них и деньгами и поместьями. Низкой корысти ради, холопы, знай, доносят на своих господ, братья на братьев, жены на мужей, дети на родителей... Чуть же тебя опорочили, так жди тюрьмы, пытки, смерти; с именем же своим навек распростишь.

— Но как же без улик?..

— Улики всегда найдутся — не подлинные, так подметные; а попадетя раз безвинный, так что за беда? Напредки-де поопаситя, не будет повадно. Ох, тяжелые времена, не дай Бог! Чай, знаешь ты, государь, про Романовых?

— Знаю, что они тоже в опале.

— А за что, про что? — спроси-ка. За то, что по всей Руси нет боярского рода именитее, почетнее. Чем кто выше да лучше, тем больше ведь у него и завистников. Ну, и подкинули одному из Романовых, Александру Никитичу, в кладовую мешки с какими то кореньями, а

потом нагрянули с повальным обыском, нашли те самые мешки, притащили на патриарший двор, высыпали коренья перед народом: «Смотрите, мол, православные, — отравное зелье!» А народ-то, что зверь дикий, расшумелся, освирепел. Схватили тут всех братьев Романовых, всю родню их и приятелей: Репниных, Черкасских, Сицких, мужчин и женщин. Кого в сыском приказе безвинно запытали, кого в железах сгноили, кого в такие места сослали, куда и ворон костей не заносил...

— А кого насильно и в монахи постригли! — подхватил снова Чоглоков. — Ведь вот хоть бы Федор Никитич, а в монашестве Филарет. Я сам был у него на поклоне в Антониевом Сийском монастыре. То-то праведный, святой старец! Живет в келье своей в вечном посте и молитве. Его, опального, другие иноки тоже сторонятся; но он о Борисе, о всех врагах своих отзывается с ангельской кротостью и незлобием. Только как заговорит, случится, о своей семейке, так всякий раз проследится. «Бедные детки! — говорит. — Кому их теперь кормить и поить? А женушка моя го-

ремышная! Жива ль еще? Мне-то, старику, что уж надобно? Беда моя — жена и дети: как про них вспомнишь, так точно рогатиной в сердце толкается. Братья-то все, дал Бог, на ногах...» Одна радость за все время у старца, что пришло ему наконец дозволение из Москвы — стоять в церкви на клиросе.

— А о мирской жизни своей он вовсе не жалеет? — спросил царевич.

— Не то, что жалеет, а как завел я как-то разговор о ловчих, о птицах, о собаках, старец весь ожил, востепенулся: в былое время, слышь, большой тоже любитель был до соколиной и иной охоты.

Сделав Чоглокову еще несколько вопросов о старце Филарете, Димитрий обратился опять к Болтину:

— А кто же теперь, скажи, из бояр московских наиболее в силе у Годунова? Не князь ли Шуйский?

— Василий Иваныч? Пожалуй, что и так. Шуйские при царе Федоре были в загоне, иные живота своего лишились; но князь Василий — травленная лиса, и коли Годунов кого трепещет, так его.

— Почему же он не вышлет его так же из Москвы, как Романовых?

— Высылал было, да потом сам же возвращал: у себя на глазах такой мышлец и хитроумец все же как будто не так опасен. Любезнее же всех Годунову нынешний воевода, князь Федор Иванович Мстиславский: в зятя себе его прочит, пообещал ему, слышь, в приданое за дочерью Казань да Северскую землю; как вернется-де победителем с похода, так сейчас с княжной Ксенией и под венец.

— Ну, так ему никогда не быть с нею под венцом! — воскликнул Димитрий.

— Дай Бог, дай-то Бог... — пробормотал старик Мнишек, нервно ворочаясь в кресле от нового приступа подагрических болей. — Их ведь, легко сказать, пятьдесят тысяч, нас же втрое меньше...

Стоявший за креслом гетмана адъютант, пан Тарло, не подавал до сих пор голоса. Это был статный, с надменно выпяченной грудью брюнет, который мог бы почитаться красавцем, если бы его правильные, несколько обрюзгшие черты не были обезображены глубоким шрамом через всю левую щеку. Теперь

он счел своевременным вступить за воинскую доблесть поляков.

— Один поляк, пане гетман, десяти москалей стоит! — сказал он. — Лишь бы пану гетману совсем оправиться к бою.

— Не пан гетман, так я поведу вас в бой, — отозвался царевич, задетый, казалось, за живое таким пренебрежительным отзывом о русских. — Моя русская хоругвь покажет господам полякам, что и «москали» умеют быть храбрыми.

Пан Тарло вспыхнул, но с притворной покорностью преклонил голову.

— Беззаветная храбрость вашего величества выше всяких сомнений, — сказал он. — Каждый из нас, поляков, почитал бы себя счастливым служить в вашей царской хоругви. Но, если все пятьдесят тысяч москвитян князя Мстиславского столь же храбры, — прибавил он не без скрытой иронии, — то не вернее ли нам без боя сложить перед ними оружие?

— Для победы, пане Тарло, кроме храбрости, требуется еще и вера в правое дело! — не утерпел тут возразить Курбский.

— А у рати Мстиславского веры этой нет, — досказал царевич, одобрительно кивая своему другу. — Вот вам сейчас двое, которые добровольно передались мне, — указал он на двух переметчиков. — И оба с радостью, я уверен, станут в ряды моей царской хоругви. Не так ли, други мои?

— С великой радостью, государь! — откликнулись те в один голос. Ни головы, ни живота для тебя не пожалеем!

— Экий грех, а я-то сейчас вот только хотел завербовать их в мою хоругвь! — неожиданно ввязался тут в разговор Балцер Зидек, принимая совершенно такую же позу, как Курбский, но опираясь, вместо сабли, на свой шутовской жезл.

Мнишек со снисходительной улыбкой оглядел его потешную фигуру.

— А у тебя, Балцер, набрана уже своя хоругвь?

— Да вот, все набираю...

— И много набрал?

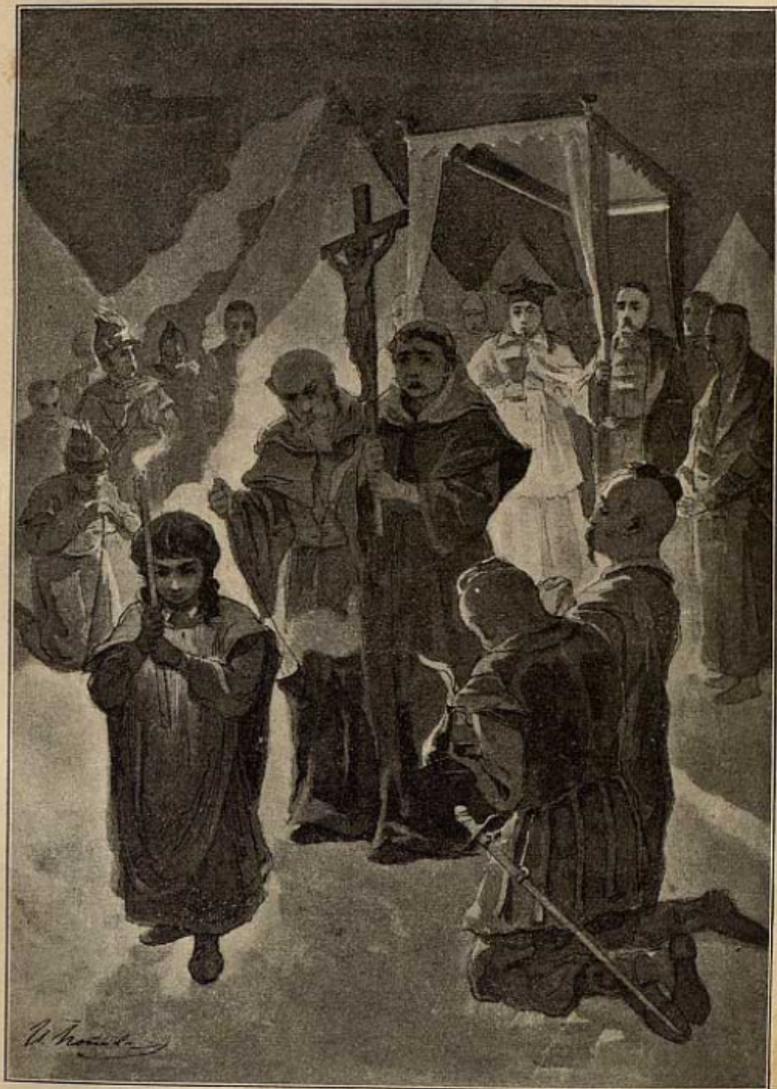
— Пока то я сам в одной персоне и региментарь и ратник. Все жду, что пан гетман велит объявить по лагерю...

— Ну, что ж, пане Тарло, так и быть, объявите: нет ли охотников идти в дурацкую хоруговь, — усмехнулся Мнишек. — А, кстати созовите и военный совет.

Полчаса спустя состоялся военный совет, на котором было решено дать на другой же день «москалям» генеральное сражение. Большинство голосов склонялось к тому, чтобы, ради более выгодной позиции, занять вершины окружающих лагерь холмов; но царевич настоял на том, чтобы сразиться с врагом в открытом поле.

— Пусть видит Мстиславский, — говорил он, — что я его не страшусь и не ищу перед ним никаких выгод. С нами Бог!

Для ободрения воинов, по распоряжению гетмана, походное духовенство процессией обошло весь лагерь. В середине процессии, фантастически освещенной лагерными кострами, выступал под балдахином посланец римского папы, бернардинец и тайный иезуит, Николай Сераковский, со святыми дарами, распевая торжественный гимн. Сопровождавшие его другие патеры ему вторили и кадили курильницами, оставляя за собой об-



лака благовонного ладана. Высыпавшие из своих бараков, палаток и землянок воины вполголоса так же подпевали, бряцая оружием и набожно крестясь... Кому-то из них суждено было пережить завтрашний день?

Глава вторая ДОРОГАЯ ПОБЕДА

С первым рассветом пасмурного декабрьского утра весь лагерь пришел в необычное движение: и пехота, и конница готовились к неизбежной битве с «москалями». Все мало-мальски состоятельные шляхтичи выставили для настоящего похода некоторое число ратников, а потому каждый из них считал себя вправе обмундировать свой отряд, свою хоругвь (конную роту) в излюбленные свои цвета. Таким образом, все кругом пестрело, подобно весеннему полю, яркими цветами: красным, желтым, синим и зеленым во всевозможных оттенках. Кавалерия, у которой лошади не были подобраны под масть, представляла еще большую пестроту. Но, если общий вид лагеря и не имел той внушительной стройности, которая составляет отличительную черту европейских войск нашего времени, зато он тешил взор своею картинностью и оживлением.

Наибольшая толкотня замечалась у торго-

вых шалашей: кто запасался новым оружием или боевыми припасами; кто заменял обновившуюся часть своего платья новой, чтобы не ударить в грязь лицом перед боевыми товарищами; кто, наконец, набирался мужества в добром глотке «старой водки».

Гетман не настолько еще поправился от своей подагры, чтобы провести несколько часов в седле, и потому главное начальство над войском принял сам царевич. На своем караванном аргамаке он появлялся то там, то здесь, чтобы проверить, исполняются ли в точности постановления военного совета, и дополнял их, где оказывалось нужным, новыми указаниями.

Когда, затем, к полудню декабрьское солнце, целые недели скрывавшееся за густым серым пологом, неожиданно выглянуло вдруг из-за туч, точно любопытствуя, до чего может дойти безумие и зверство людское, лучи его озарили две враждебные рати: Димитриеву и Борису, стоявшие на открытой равнине в строгом боевом порядке друг против друга. Разделяло их пространство немногим далее ружейного выстрела.

Состоя постоянно при особе царевича, Курбский до этого дня ни разу еще не имел случая лично участвовать в рукопашной схватке. Сегодня царевич сам вел в огонь свою царскую хоругвь; а так как он еще вчера выразил желание доказать полякам, что его «москаля» не менее их храбры, то при своей отчаянной удали он, наверное, должен был не раз подвергнуться смертельной опасности. Поэтому Курбский не мог побороть в себе какого-то тяжелого предчувствия и дал себе слово ни на миг не упускать его из виду.

Сам Димитрий был, казалось, исполнен твердой уверенности в победе. Выехав со свитой перед фронтом своего войска, он оглядел его сияющими глазами.

— Посмотрите-ка, что за краса! Ужели мы не победим с этими хвататами? — заметил он свите.

В самом деле, отдельные отряды и хоругви польской шляхты, подобравшись к предстоящему кровавому пиру во всем своем воинском блеске человек к человеку, щеголяли друг перед другом своим разнообразным вооружением, своими яркими цветными одеж-

дами и распущенными знаменами, среди которых выше всех развевалось огромное красное знамя царевича с черным византийским орлом на золотом поле. Между «рейтарами» первенство принадлежало, бесспорно, стоявшим на левом фланге гусарам, которых панцири поверх кольчуги и кованые шлемы с орлиными крыльями так и сверкали на солнце.

— А наши-то в красе им, пожалуй, ведь не уступят? — отнесся Димитрий к Курбскому вполголоса, чтобы не задеть гонора свитских из поляков, указывая глазами на донских казаков и царскую хоругвь.

Донцы, в числе двух тысяч человек, несмотря на свою однообразную, темно-синюю одежду, молодецкой посадкой на своих поджарых, но крепких конях и целым лесом дротиков над собой, производили очень внушительное впечатление. Белоснежная же царская хоругвь, состоявшая исключительно из русских людей, выделялась среди окружающей пестроты: в отличие от своих земляков, а теперь врагов в Борисовом войске, они поверх стальных лат надели белые рубахи. Чувствуя себя, наравне с каждым польским рат-

ником, с каждым донцом, нераздельной частью этого огромного боевого целого, они, точно так же, как и те, все до единого глядели, не отрываясь, на своего молодого царственного вождя, глядели бодро и смело, не смея моргнуть глазом, чтобы царевич, Боже упаси, не заподозрил их в трусости. Но сквозь эту общую бодрость и смелость на лице у каждого из собравших здесь пятнадцати тысяч людей, от региментаря до последнего ратника, непроизвольно и совершенно одинаково проступала какая-то натянутая, торжественная строгость: всеми, очевидно, овладела уже крайняя напряженность нервов в ожидании неминуемого боя на жизнь и смерть. Не один из этих бравых шляхтичей молился, конечно, теперь про себя Пречистой Деве, давая обет, в случае, если Божественная защитит его в битве, пройтись босиком в Ченстохов на поклонение Ее святому образу; а из русской хоругви не один прощался мысленно с матерью, с женой и детьми.

Но вдруг все разом невольно шелохнулись, потому что царевич заговорил громким, отчетливым голосом, достигавшем до послед-

них рядов.

— Мои добрые, верные сподвижники! наконец настало время, когда всемогущий, милосердный Бог рассудит меня с Годуновым и решит мое дело. Божий Промысл выдает, каким вероломством он присвоил себе мое наследственное право на русский престол, какой смертоносной изменой овладел моею прародительской державой. Судьбы Всевышнего отвели от меня страшный убийственный удар, о чем свидетельствуют стены Углича, обрызганные кровью невинных людей, погибших от руки наемных убийц, на мою грудь устремленной; но всеблагой Господь разрушил их кровожадный замысел. Я жив для казни преступников! Итак, мои верные товарищи, возьмем оружие и, уповая на помощь и благодать Божию, ударим смело и радостно на вероломных изменников, презирающих и человеческое и божественное право! Не страшитесь множества врагов: поле битвы остается не за тем, кто сильнее, а за тем, кто добродетельнее и отважнее. Меня не обманет надежда возвратить наследие отцов моих, а вас ждет бессмертная слава, — самая сладост-

ная из всех наград! Слава ведет смертного прямо в небеса...

И, воздев тут руки к небу, Димитрий закончил свою речь молитвой:

«Всевышний! Ты зришь глубину моего сердца. Если я обнажаю меч неправедно и незаконно, то сокруши меня Твоим Небесным громом. Если же я прав и чист душой, то дай силу неодолимую руке моей в битве. А Ты, Пресвятая Мать Божия, буди покровом нашего воинства!..»

Вполне искреннее воодушевление, которым звучала речь, а затем и молитва московского царевича, нашли живой отголосок в сердцах как русской хоругви и донцов, так и всего польского воинства. Достаточно было одному подать голос, чтобы вызвать и всех других к громогласному отклику.

— *Vivat rex Demetrius Ioannis!* — первым крикнул пан Тарло, находившийся также в свите царевича.

— *Vivat! Vivat! Vivat!* — прокатилось восторженными раскатами от передних рядов ратников до самых задних.

Как бы в ответ на этот взрыв энтузиазма, издали донеслись трубные и барабанные звуки. Тысячи людей, как по команде, устремили взоры в сторону Борисова войска, где все разом пришло в движение. В каждом «стрелецком приказе», состоявшем из тысячи человек и отличавшемся от других своим собственным знаменем с изображением своего покровителя — св. Угодника, стрельцы-самопальщики были выдвинуты вперед. За ними теснились обыкновенные стрельцы с луками, копьями и бердышами (широкими топорами на длинных батовищах). Там и сям сверкали шлемы и брони военачальников и богатых боярских детей.

Да, то были такие же точно живые люди, такие же brave ратники, готовые сложить голову за «свое правое дело». И все кругом сознавали теперь это, потому что на всех лицах выражение радостного волнения сменилось разом одним и тем же выражением враждебной раздраженности; глаза у всех разгорелись одной и той же угрожающей решимостью: «Сейчас начнется. Но жизнь мою я дешево не продам!»³⁹⁶

— Барабанщики и горнисты вперед! — командовал царевич и махнул платком полковнику Жулицкому, который должен был завязать дело.

Во главе своей части польской пехоты, подзывающий треск барабанов и рев труб, Жулицкий двинулся на центр московского войска. Едва лишь, однако, переступил он роковую черту, до которой могли долетать вражеские снаряды, как его осыпал град пуль и стрел, пущенных по всей центральной линии «москалей». Несколько польских ратников пало; остальные тотчас сомкнулись и дали ответный залп. В рядах неприятеля, насколько можно было судить сквозь пороховой дым, произошло некоторое смятение... Человеческая бойня началась.

Общий подъем духа окружающих охватил, как волной, и Курбского. Первые мгновенья ожидания были для него также томительны и страшны. Теперь же он ободрился, повеселел как от хмельного зелья, и его безотчетно подмывало броситься, очертя голову, в самый пыл битвы. Но, дав себе слово до конца оберегать жизнь царевича, он не удалялся от него

ни на шаг, когда Димитрий объезжал отряд за отрядом, ободряя каждого отдельно добрым словом, и затем уже посылал в огонь.

Вот и последний отряд пехоты скрылся в густом пороховом дыму, который, как непроглядным туманом, застлал все поле сражения. Что именно происходило там, не было видно, но, по доносившемуся оттуда хаосу несмолкаемых выстрелов, барабанного боя, трубных завываний, человеческих криков, воплей и стонов, можно было догадываться, что там ужас и смерть.

Тут внезапно налетевшим ветром, как рукой, сдернуло с одного края дымную завесу и открыло все правое крыло московского войска. Начальствовали им, как потом оказалось князя Димитрий Шуйский и Михайло Кашин. Те, со своей стороны, также не могли не завидеть окружавшей царевича нарядной группы всадников и за ними всей конницы, до времени не участвовавшей еще в деле, а потому не решились, казалось, первыми начать атаку.

— Они ждут нас. Так с Богом же! — заметил Димитрий, повертывая коня, чтобы стать

во главе своей собственной хоругви.

Но атаман донцов Корела, неотступно следивший за каждым распоряжением царевича, предугадал его намерение. Не желая, видно, отдать первенство другим, он не выждал условного знака, зычно гикнул, хлестнул своего ретивого коня и, как из лука стрела, полетел вперед. Гик его был подхвачен двумя тысячами донцов, которые с дротиками наперевес помчались вслед за атаманом.

— За мной, товарищи! — крикнул теперь и Димитрий.

Пример донцов подействовал заразительно. С таким же гиком, постепенно возраставшим до дикого рева, вслед за царевичем понеслась вперед его царская хоругвь, а за нею и вся польская кавалерия. Всякий старался изо всех сил перегнать, перекричать своих товарищей. Это была не парадная кавалерийская скачка: это был бешеный ураган, который должен был на своем пути повалить и смять все и вся.

Но донцы уже врезались в правое крыло Борисова войска.

«Пускай же и сами расправляются!» — ре-

шил Димитрий и фланговым движением круто своротил со своими на центр москвитян, над которым высоко развевался большой стяг самого воеводы князя Мстиславского.

Движение это было так неожиданно для русских, сплошная масса вражеской конницы налетела на них сквозь пороховой дым так стремительно и с таким победоносным, нечеловеческим ревом, что на воинов Мстиславского напал панический страх.

— А ведет-то их сам царевич! — крикнул кто-то; и возгласа этого было достаточно, чтобы передние попятились на задних и привели их также в замешательство. Еще миг — и завязался рукопашный бой, или, вернее сказать, одностороннее избиение, потому что стрельцы только отбивались, а враги их со слепой яростью рубили сплеча направо и налево, а копытами коней топтали сраженных. Мстиславский, истекая кровью сам от нескольких ран, тщетно воодушевлял своих собственным примером, бросаясь в самую жаркую сечу: охватившее стрельцов смятение обращалось уже в постыдное бегство.

— Сдавайся, князь! — раздался тут около

него повелительный голос.

Мстиславский повернул коня и очутился лицом к лицу с молодым всадником. По богатому наряду и дарственной осанке он тотчас угадал в нем названно-го сына Грозного царя.

— А, проклятый самозванец!

И он с ожесточением занес на него свой тяжелый меч. Но Димитрий своей турецкой шашкой искусно отвел удар и крикнул в ответ:

— Наши силы неравны, князь, ты ранен. Мне хотелось бы сохранить жизнь такого славного воина.

Мстиславский не думал, однако, еще сдаваться.

— Защищайся! — завопил он и вторично набросился на противника.

Тот вовремя увернулся и, в свою очередь, рубанул его по стальному шлему с такой силой, что шлем раскололся надвое и кровь брызнула по лицу Мстиславского.

— Ребятунки, выручайте!.. — успел он только воззвать к своей стрелецкой дружине и замертво упал с коня.

Падение любимого вождя так озлобило

стрельцов, что они толпой накинулись на Дмитрия. В один миг он был окружен и едва ли бы уцелел или избег плена, если б не Курбский. Отбивая царевича, тот так мало заботился о себе самом, что был ранен сзади чьей-то секирой пониже левого плеча. Но в пылу боя он не ощутил даже боли. А тут подоспела царская хоругвь и оттеснила остервеневших стрельцов, едва успевших подобрать с земли и унести с собой своего павшего вождя.

Из всего московского войска одно только левое крыло, предводительствуемое Василием Морозовым и Лукой Щербатым, стояло еще до сих пор на своей позиции твердо и непоколебимо. Но вот и оттуда донеслись крики ужаса, и вся масса левого крыла побежала вспять без оглядки, сбивая с ног друг друга и бросая по пути оружие. Рассыпавшаяся на поле битвы польская рать воспользовалась этим и дружно кинулась вслед за бегущими.

Что же такое случилось? А то, что на левое крыло «москалей», откуда ни возьмись, нагрянул свежий конный отряд, да не в воинских доспехах, а в небывалом зверином обра-

зе. То был не кто иной, как Балцер Зидек, с на-
вербованной им, с разрешения гетмана, воль-
ной дружиной. Но этот, почти невероятный
эпизод всего лучше передать словами совре-
менного хронографа:

«Он же, Гришка, с хитростью на бой наря-
дился: воинские люди и кони их в медвежьих
кожах и овечьих навыворот... Кони же Бори-
совой рати зело мятущся; они же в смятении
том всадников побиваху... и много бесчислен-
но людей падоша... и воины Борисовы побего-
ша; они же их девять верст и больше гнаша
секуще: трупу ж человека яко лесу порониша,
и яко мост на девять верст помостица; а ще
не бы ночь постигла, мало бы спаслося».

Царевич, к которому, кроме Курбского,
примкнули между тем и другие свитские, не
хотел, да едва ли бы и мог, задержать этот
бурный поток погони. Но лично он уже не
принял участия в избиении бегущих, предо-
ставив эту «черную работу» своим ратникам.

— А где же пан Тарло? — спросил он, ози-
раясь на окружающих. — Неужели убит?

— Да вон же он, живехонек! — отозвался
один из свиты.

— И с пленником! — подхватил другой.

В самом деле, к ним несся вскачь парадным аллюром старший адъютант гетмана, а за ним бежал со всех ног, чтобы не отстать, привязанный к седлу человек.

— Поздравьте с трофеем, государь! — издали еще весело кричал пан Тарло, — собственный стяг московского воеводы!

Оказалось, что пленник его был знаменщиком самого Мстиславского, несшим над воеводой в бою огромное, разноцветное знамя с образом Воскресения Христова и с евангельскими словами на позолоченном древке. И теперь еще древко было в руках знаменщика; но, не имея сил на бегу нести тяжелое знамя, он волочил его по снегу за собой.

Когда тут пан Тарло внезапно задержал коня, бедный пленник с разбегу рухнул ничком наземь.

— Поклон отдает своему государю! — усмехнулся пан Тарло, причем, вследствие сокращения краев глубокого шрама на его левой щеке, рот его скопился к левому уху, и правильные, сами по себе, черты лица его приняли выражение осклабляющегося сати-

ра. — Вставай, быдло, отдавай честь знаменем!

И, наклонясь с седла к упавшему, он со всего маху огрел его по спине нагайкой. Курбский был возмущен до глубины души и взглянул на царевича. Тот весь также вспыхнул и проговорил дрожащим от гнева голосом:

— Сейчас отвяжите его, пане! Он и так не убежит.

— Прошу прощенья, государь, — возразил пан Тарло с утонченной польской вежливостью и, в то же время, с развязностью, граничившей с дерзостью, — но человек этот — мой, и я везу его в презент моему гетману.

— Извольте отвязать его! слышите?

Сказано это было таким повелительным тоном, что послушаться было немислимо. Побагровев от досады и кусая губы, пан Тарло отстегнул от седла ремень, привязанный под мышками пленника. Этот с трудом поднялся на ноги и одной рукой взял свое знамя на плечо, а другой схватился за задыхающуюся грудь. Тут из-под пальцев его проступила алая струя крови.

— И такого-то человека, пане Тарло, вы

протащили за собой, может быть, несколько верст! — с негодованием заметил Димитрий. — Дойдешь ли ты, братец, до нашего лагеря? — отнесся он участливо к раненому. — Отселе еще версты три.

— Авось доползу, — невнятно прохрипел страдалец, а сам при этих словах пошатнулся и едва опять не уронил знамени.

Невдалеке в это время показались два польских пехотинца, отставших от своих. Царевич подозвал их и отдал им приказ отвести пленника в лазарет.

— Да чтобы с ним по пути туда ничего не случилось! Понимаете? — добавил он властно. — Вот князь Курбский уже наведается в лазарет. А вам, пане Тарло, всего лучше самим свезти ваш трофей пану гетману.

Ратники с видимой неохотой, но поневоле подчинились приказанию своего временного вождя и взяли под руки врага, ослабевшего от бега и потери крови: пан Тарло же в сердцах выхватил из рук знаменщика знамя и с надменно закинутой головой уже без оглядки поспекал далее.

(Кстати, здесь упомянем, что Мнишек, по

возвращении в Самбор, подарил это самое знамя, как бы собственный свой трофей, бернардинским монахам, как видно из актов этих монахов в самборском архиве).

На смену адъютанту гетмана подъехал шут последнего, Балцер Зидек, издали еще потрясавший своим дурацким колпаком.

— Новый Марафон! Не будь я Диогеном, я желал бы быть Александром! — с пафосом пародировал он слова Македонского героя.

Ему было, конечно, не безызвестно, что настольной книгой царевича было Плутархово жизнеописание Александра Великого, и что высшим его желанием было сравняться с ним в воинских подвигах.

От нахальной фамильярности балясника, однако, Димитрия как будто покорило, и он довольно сухо поблагодарил его за счастливую выдумку — напугать врагов.

— Какие же это враги, государь? Это — стадо баранов! — был самодовольный ответ. — Но и бараны бодаются; а потому смею надеяться, что храбрость моя не останется без вознаграждения?

— Я вас вознагражу, Балцер, будьте покой-

ны, — едва скрывая уже свое презрение, сказал Димитрий. — А теперь — до свидания!

— До приятного, государь!

И, вместо поклона, шут перекатился; колесом через голову своей лошади, а в следующий миг сидел опять в седле и с гиком помчался к лагерю.

— Вот каким двум героям мы обязаны победой: пану Тарло и Балцеру Зидеку! — с горечью промолвил царевич.

— И кого мы победили? — своих же братьев русских: — с глубоким вздохом добавил Курбский. — Ведь это все наши же русские.

Он указал на расстилавшуюся перед ними снежную равнину, усеянную трупами. Димитрий огляделся кругом, и глаза его наполнились слезами.

— Прости меня, Боже! — прошептал он, осеняясь крестом. — Не дай мне в другой раз такой дорогой победы!

— Так не прикажешь ли, государь, ударить отбой? — спросил Курбский.

— Да, да, отбой!

Глава третья ДВА СООБЩНИКА

Давно уже повечерело, а польский лагерь представлял более оживленную картину, чем когда-либо днем. Тароватый гетман велел выкатить победоносному воинству несколько бочек «старой водки» и браги, и теперь, вдоль всего лагеря, около пылающих костров шел пир горой, раздавались разгульные песни, хмельной говор и хохот.

Понятно, что и ясновельможное панство не было забыто: оно «бенкетовало» (пировало) в собственных покоях Мнишека; а затем, прямо из столовой, с разгоряченными от вина лицами и увлажненными взорами, перешло в кабинет хозяина, чтобы позабавиться игрой в «фараон» (банк). Сам Мнишек вел игру с обычным своим счастьем: не прошло и часа времени, как перед ним лежала груда золотых. Больная нога его была еще забинтована, но вид у него был совершенно свежий и бодрый, точно игра служила ему лучшим лекарством от подагры.

Не то было с остальными игроками: в их чертах лица, движениях и восклицаниях игорная страсть выражалась отталкивающим образом. На одного же из них — пана Тарло — глядеть было просто страшно: глаза его готовы были, кажется, выкатиться из орбит, а залитое огнем лицо его или, вернее сказать, левая сторона лица с пересекавшим его шрамом искажалась по временам сардонической улыбкой. Он знал ведь, что жадный шут ростовщик хищным зверем поджидает в соседней комнате проигравших игроков, но что ему, самому неисправному должнику, он ни одного карбованца уже не поверит.

И вдруг, о диво! За спиной его раздается вкрадчивый голос Балцера Зидека:

— Пане Тарло! На пару слов.

Он обернулся. Шут молчаливым жестом манит его за собой в другую комнату. Неужели этот скряга все-таки одумался и ему поверит?

— Ну, что, Балцер, — начал пан Тарло, покровительственно хлопая его по плечу. — Видно, царевич отвалил вам за ваше «геройство» столько дукатов, что вам и девать их

некуда. Но вперед говорю вам, что более ста на сто от меня и не ждите.

— И тысячи на сто не возьму от ясновельможного пана: давно проучен.

— Так для чего же вы меня звали? Шутить над собой, вы знаете, я никому не позволю!

— Помилуйте! Кто же дерзнет шутить над благородным рыцарем? Но у меня есть одно средство раздобыть вам полный кошель дука-тов и без всяких процентов. Отойдемте-ка в сторону, неравно кто услышит и воспользуется моей блестящей мыслью.

Они отошли в крайний угол комнаты, и шут, приподнявшись на цыпочки, приставил рот свой к самому уху пана Тарло.

— Гм... — промычал тот, выслушав таинственное предложение. — Мысль, достойная черта!

— Слишком много чести, пане, слишком много чести! — отозвался Балцер Зидек, ослабляясь до ушей. — Нашему брату, хоть чертенком быть — и то спасибо. Ну, а вздернут на одну перекладину с самим чертом, так по крайней мере честь и почет.

— Типун вам на язык! — буркнул пан Тар-

ло, гадливо морщась. — Меня никто и пальцем не тронет!

— Вот потому я и обратился к самому черту... то бишь, к ясновельможному пану. Угодно пану идти со мной?

— Сейчас?

— А то когда же? Надо ловить фортуна за чуб. Самое подходящее время. Теперь в целом лагере никому нет до нас дела.

— А фонарь у вас припасен?

— Еще бы! Только выбраться нам из дома надо врозь: вашей ясновельможности, по чину, — с парадного крыльца, а вашему покорному рабу — с черного.

С этими словами шут юркнул в заднюю дверь, ясновельможный же сообщник его направился к главному выходу. В передней пан Тарло не нашел даже нужным растолкать заснувшего на скамье слугу, сам снял с гвоздя свой меховой кунтуш и вышел в обширные сени или, точнее сказать, крытый переход, соединявший обе половины дома — гетмана и царевича.

В это самое время стукнула противоположная дверь половины царевича. Не желая быть

замеченным выходящим оттуда, пан Тарло отступил в темный угол под деревянной лестницей, которая вела наверх в светелку. Притаился он там очень кстати, потому что, при тусклом свете повешенного над лестницей ночника, разглядел теперь князя Курбского и пана Бучинского.

— Вы к себе, пане? — спросил Курбский, протягивая руку маленькому секретарю царевича.

— Да, хочу окончить мой письменный доклад пану гетману о сегодняшнем деле, — отвечал тот с подавленным вздохом. — Какое зло ведь, как подумаешь этакая война! Я нарочно распорядился сосчитать число павших, чтобы знать пропорцию убыли у московитян и у нас. Наших пало всего на всего сто двадцать человек, а их — четыре тысячи.

— Но это ужасно! А раненых всех подобрали: и наших и их?

— Всех едва ли. Поле битвы, как вы сами знаете, растянулось на много верст, а в три часа дня уже смерклось. Несколько раненых московитян сами приплелись в наш лазарет, и лекаря с фельдшерами до сей минуты, я по-

лагаю, перевязывают раны. Я строго настрою приказал им не делать различия между нашими и московитянами: все мы ведь перед Богом те же люди!

— Позвольте от души поблагодарить вас за это, пане! — с теплотой проговорил Курбский. — Вы назвали сейчас войну злом; да, она — страшное зло, разжигает самые зверские страсти; но, вместе с тем, война учит нас оказывать другим братскую помощь, делить с другими опасность; на войне скрепляются узы дружбы и вообще исполняется учение Христово: «Люби ближнего как самого себя». Я сейчас загляну в лазарет...

— Загляните, князь; сердечное участие ободряет больных. Я, к сожалению, не имею пока времени идти с вами. Желаю вам доброй ночи.

— Доброй ночи, милый пане.

Деревянная лестница над головой пана Тарло заскрипела под ногами пана Бучинского, занимавшего наверху светелку.

— Тоже поляк! — злобно пробормотал про себя пан Тарло, выжидая, пока и шаги Курбского замолкнут на крыльце.

Тогда он осторожно выбрался из своей за-
сады и спустился с крыльца на двор.

Хутор, в котором, как уже сказано, поме-
щалась «гетманская квартира», был окружен
большим фруктовым садом. Сквозь безлист-
венные, но опушенные инеем деревья этого
сада отдаленный отсвет войсковых костров
едва ли достигал до хутора там и сям слабы-
ми бликами. Но очищенная от снега площад-
ка перед крыльцом лежала так открыто под
лучами освещенных гетманских окон, что
пан Тарло предпочел свернуть в противопо-
ложную сторону. Пробираясь тут вдоль затем-
ненной половины царевича, где за спущен-
ными занавесями светились только два окна,
он на минуту остановился. Между занавеся-
ми оставалась свободная полоска, в которую
можно было разглядеть сидящего за письмен-
ным столом царевича. Перед ним были разло-
жены бумаги; но он, облокотись на стол, за-
крыл глаза ладонью, точно в тяжелом разду-
мье.

— Да, ваше царское величество, призаду-
маешься тут! — усмехнулся про себя пан Тар-
ло. — Своих же москалей уложить четыре ты-

сячи, — покорно благодарю! Думайте, думайте; может, что-нибудь и придумаете, а мы тем временем будем вашими руками жар загребать.

И, иронически кивнув, как бы на прощанье, головой, он продолжал свой путь за угол сада, где его поджидал его достойный сообщник.

Глава четвертая В ЦАРСТВЕ СМЕРТИ

Между тем Курбский входил уже в большой деревянный балаган полевого лазарета. перевязка раненых была только что окончена. Старший лекарь в белом фартуке, забрызганном кровью, с засученными до локтей рукавами стоял перед лоханью и мыл свои окровавленные руки. Когда Курбский подошел к лекарю и поздоровался, тот обернулся к нему измученным и красным, как из бани лицом, на котором блестели крупные капли пота.

— А, ясновельможный князь! Из всего офицерства вы здесь первый. Никто до сих пор ведь и не полюбопытствовал. Задали же вы нам работу!

Курбский огляделся в просторном бараке, слабо освещенном одной лишь стеной масляной лампой над операционным столом. Больные лежали на соломе вповалку, почти вплотную один около другого; счетом их было, однако, едва ли более пятидесяти.

— А я думал, что их куда больше, — заметил Курбский.

— И то чуть ли не половина москалей, — проворчал лекарь. — Уж этот мне пан Бучинский! Принимай и чужих, когда своих не оберешься. Спасибо еще донским казакам, да и нашим бравым ратникам, что добавили павших.

— И вы, пане лекарь, одобряете эту жестокость, вы, который должны служить для других примером милосердия! — возмутился Курбский.

— Тише, тише, князь; вы забываете, что больным это слышать не годится. Но сами согласитесь: коли кто ранен насмерть, не лучше ли сразу прекратить его мученья?

— На все воля Божья, пан лекарь, — отозвался кто-то строгим голосом по-русски из глубины барака.

Курбскому голос показался как будто знакомым, и он, пройдя несколько шагов, отыскал говорившего: глаза его встретились с устремленными на него печальными глазами раненого, который оказался из числа ратников собственной хоругви царевича.

— Это ты, Веревкин? — сказал Курбский. — Тебя куда ранило?

— Да в голень, ваша честь, шальной пулей. И то ведь, признаться: стоишь этак в дыму, ничегошенько-таки перед собой не видишь; слышишь только, как жужжат они, проклятые, вокруг тебя, словно пчелы на пасеке весной; ну, и сам палишь тоже зря, не целясь; забиваешь, знай, шомполом заряд, подсыпаешь пороху на полку, да пли. Виноватого пуля все равно отыщет.

— А кости у тебя не тронуло?

— Как лучину расщепило. Ну, а дровосек этот вон всю ногу пониже колена пилой своей отпилил... Ой, батюшки, как ноет-то! хуже зуба...

— Не любишь? — с горькой шутливостью заметил лежавший рядом молодчик. — Ведь вон и его милость, видишь, тоже попортило, а ничего, не жалобится по-бабьи.

Он указал глазами на левую руку Курбского, которая была в повязке.

— Это — пустяк, — сказал Курбский, пристально вглядываясь в страдальческое, земляного цвета, лицо молодчика. — Я словно тебя

уже видел...

— Да как не видать, коли при тебе же царевич вызволил меня нынче из рук этого...

Не договорив, он закашлялся, а в горле у него хрипло заклокотало. Курбский узнал в нем русского стрельца-знаменщика — жертву пана Тарло.

— Не могу ли я чего для тебя сделать? — спросил он участливо.

— Для меня-то все кончено, — прошептал тот с усилием. — А коли Господь даст твоей милости побывать раз в Москве...

Он опять перевел дух, чтобы обтереть с губ выступившую на них кровавую мокроту.

— Вот видишь? из самого нутра! — продолжал он, и бледные губы его искривились опять жалкой усмешкой, точно и жалел-то он себя, и издевался над собственной своею немощью. — Лекарь прямо так и объявил, что легкое-де прострелено; стало, ставь на мне крест...

— Ну, и такие выживают, — сказал Курбский, с трудом сохраняя наружное спокойствие. — А что это ты начал говорить мне о Москве? Я хоть и не бывал еще там, но рас-

считываю скоро быть.

— Спаси тебя Господи, кормилец... Есть у меня, вишь, под Москвой в селе Вяземах мать-старуха... Мною только живет и дышит... Отвези же ей поклон от меня: не поминала бы лихом, коли иной раз огорчал ее, был непокорным сыном... Да еще скажи... скажи, чтобы много не крушила себя, что я ни чуточки не мучился перед кончиной. Ой, Бог ты мой!..

Все лицо его вдруг судорожно перекошило, глаза закатились, и он глухо застонал. Только грудь его высоко вздымалась, да из глубины ее вырывались хриплые стоны. Курбский постоял над ним, постоял; потом тихонько спросил Веревкина, не сказывал ли ему стрелец своего имени.

— Сказывал, — отвечал Веревкин, — зовут его Прокопом Седельниковым.

Курбский молча кивнул головой и стал обходить других раненых. Поляки с холодной гордостью отклоняли предлагаемую князем-москалем помощь; русские же, как из царской хоругви, так и пленные, отвечали ему охотно и заявляли ему разные желанья.

Подойдя опять к старшему лекарю, Курбский, от имени царевича, попросил его удовлетворить по возможности эти скромные желания. Когда он затем, направляясь к выходу, проходил мимо Прокопа Седельникова, последний его снова окликнул:

— Князь Михайло Андреич!

Курбский остановился и спросил, чем может ему еще услужить.

— Будь радетель... изволишь видеть... Коли твоей милости доведется найти мою матушку, так не поминай ей только, Бога ради, про того польского пана, который, знаешь...

У умирающего язык не повернулся договорить: слишком уж стыдно и горько было ему, видно, чтобы даже умирающие здесь вместе с ним слышали о той позорной пытке, которой подвергнул его пан Тарло.

— Знаю, знаю, — успокоил его Курбский. — Я скажу ей, что ты пал в честном бою на поле брани...

— И что меня там же схоронили...

— Хорошо, хорошо.

Глубоко потрясенный, Курбский вышел из лазарета, который представлялся ему как бы

кладбищем с живыми покойниками. Триста лет назад хирургия была ведь еще в первобытном состоянии, о противогнилостных средствах не имели понятия, и большинство тяжело раненых обречено было на смерть.

«А там, в поле, лежит их еще четыре тысячи — уже бездыханных, — вспомнилось ему. — И, как знать, иной из них пал хоть за смертью, да теперь, пожалуй, очнулся, напрасно взывает о помощи, лежит на снегу и коченеет на морозе...»

Курбский ускорил шаг и, войдя к себе, кликнул своего хлопца слугу Петруся Ковалю, сопровождавшего его еще с лета из Запорожской Сечи.

— Тебе, Петрусь, сколько лет-то будет?

— Да пятнадцать еще в Варварин день стукнуло, — не без важности пробасил своим петушиным басом юный запорожец, выпрямляясь во весь рост.

— Как есть казак! — улыбнулся Курбский, а затем прибавил опять серьезно. — А покойников не боишься?

— Покойников?.. — переспросил Петрусь, которому все-таки стало как будто бы не по

себе.

— Да, мертвецов. Нынче в бою пало тысячи четыре одних русских. За темнотой они еще в поле не убраны, не похоронены. А меж них, может, найдутся и такие, что не совсем убиты, а лежат только замертво. Не погибать же им! Так достанет ли у тебя духу идти туда ночью?

— Одному?..

— Нет, вместе со мной.

— О! С тобой, княже, я полезу сейчас хоть к черту на рога.

— Так идем же.

И вот они миновали лагерь, вот они уже и на поле битвы. Небо было обложено мглистой дымкой, и сквозь нее еле-еле пробивался сумеречный свет от взошедшей уже над горизонтом, но невидимой луны. Тем не менее, благодаря снегу, на белеющей равнине, довольно ясно различались, рассеянные кругом темными пятнами, неподвижные тела. Молча шагая между ними, Курбский по временам останавливался, наклонялся и прислушивался, не подаст ли кто голоса, не донесется ли откуда-нибудь хоть слабого стога. Но все кру-

гом было до жуткости тихо, — настоящее царство смерти! Петрусь Коваль, который давеча так храбрился, ни на шаг не отставал от Курбского и пугливо озирался. Вдруг он схватился за рукав своего господина.

— Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя!

— Что с тобой? — спросил Курбский.

— А вот этот... Точно глядит на нас и смеется.

Действительно, лежавший навзничь с полуоткрытым ртом мертвец оскалил зубы, а белки его глазных яблок, широко выкатившихся из запрокинутой головы, тускло блестя.

— Нет, совсем окоченел, — сказал Курбский, ощупав рукой лицо покойника, и сделал над ним крестное знамение. — Упокой Господь его душу! Но как он, бедный, должно быть, мучился!..

Раскинутые врозь руки мертвеца скрюченными пальцами и то впились в снег, как в предсмертной агонии.

— Идем дальше, милый княже... — заторопил Петрусь, и они двинулись далее.

Так прошли они версту, другую. Тут впереди них показались две человеческие тени, и блеснул огонек.

— Смотри-ка, княже, — заметил Петрусь, — вон двое с фонарем. Зачем они здесь?

— За тем же, конечно, за чем и мы с тобой, — отвечал Курбский. — Послал их сюда, верно, пан Бучинский.

— А может, они просто обирают мертвецов?

— Не дай Бог!

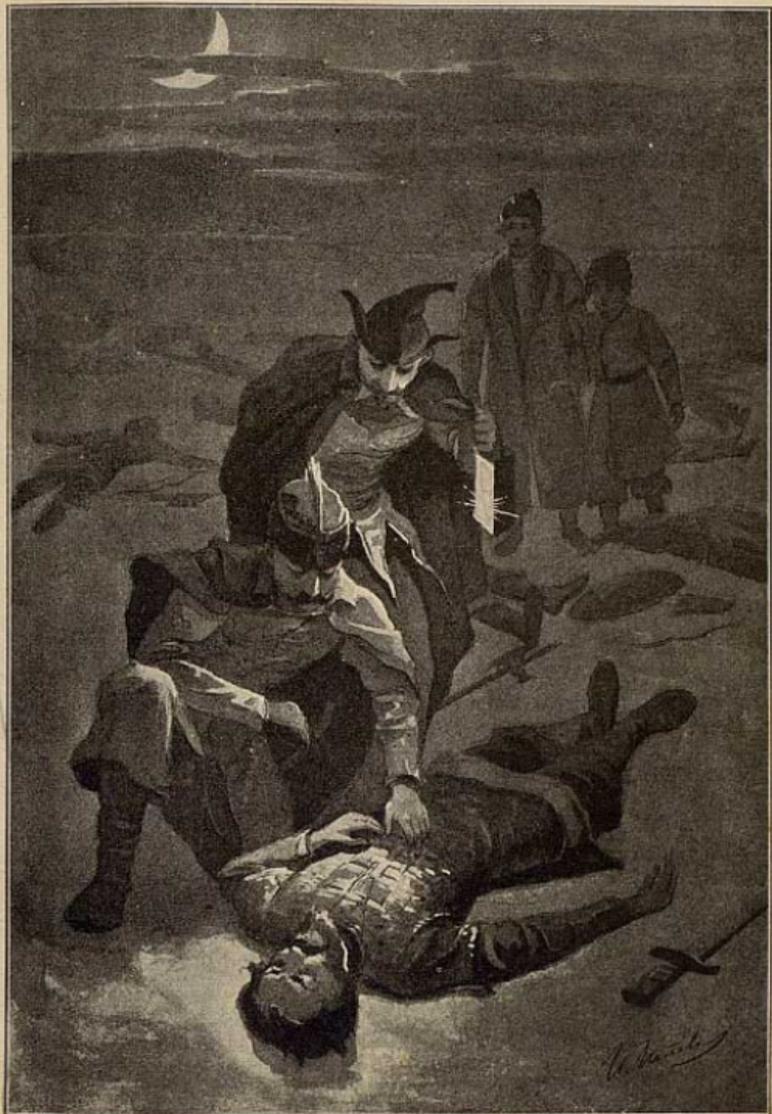
— Но бывают же ведь и такие?

— Бывают, слышно; но это такое же злодейство!.. Нет, нет, зачем думать сейчас дурное?

— Вот они остановились, обшаривают одного...

— Не обшаривают, а смотрят, жив ли. Идем-ка поскорее, пособим им.

Есть люди, которые, благодаря своей светлой душе, ходят среди темной толпы как бы с зажженным светочем в темном бору, и видят одну лишь освещенную их светочем сторону дерев. Таков был и Курбский. Судя по себе, он и другим людям приписывал, прежде всего,



добрые человеческие побуждения, какие были у него самого. На этот раз он жестоко ошибся.

Наклонившись над распростертым на снегу телом, те двое не расслышали приближения Курбского и Петруся, пока эти совсем не подошли к ним. Тут оба разом подняли головы. Фонарем, который один из них держал в руке, осветило лица обоих, и Курбский, к крайнему своему изумлению, в одном из них узнал старшего адъютанта, а в другом — шута гетмана.

— Пане Тарло! — вскричал он. — И вы, Балцер Зидек! Те, в свою очередь, были не столько удивлены, сколько смущены. Пан Тарло посулил кому-то «сто дьяблов»; Балцер Зидек же, мигом оправясь, отозвался с задорной фамильярностью:

— Как видите, собираем жатву, как и ваша княжеская милость! Но мы вас не выдадим, будьте покойны: ворон ворону глаз не выклюет.

Теперь для Курбского не могло быть уже никакого сомнения относительно цели, с какой те прибыли на поле смерти.

— С воронами у меня нет дела! — сказал он с нескрываемым уже презрением. — Мне нужны здесь не мертвые, а живые. А этот, слава Богу, кажется, еще жив.

— Жив, княже, но выживет ли? — отвечал Петрусь, опустившийся на колени перед лежавшим навзничь русским ратником, из груди которого вырывались слабые стоны.

— Выживет или нет, а мы сделаем для него все, что можем.

— Желаю вам успеха... — сердито буркнул пан Тарло и повернулся, чтобы уйти.

Но Курбский решительно заступил ему дорогу.

— Вы так не уйдете, пане! Сам я теперь моей левой рукой не владею. Поэтому вы не откажетесь, конечно, вместе с Балцером и моим слугой, отнести этого несчастного до лазарета.

— Чтобы я, рыцарь, нес простого ратника, москаля, да еще вместе с кем? С вашим слугой-быдлом! Вы, князь, простите, хороший человек, но в доброте своей доходите до Геркулесовых столбов. Извинить вас можно разве тем, что вы не поляк, и не знаете, что такое

польский гонор!

И, отстранив рукой озадаченного Курбского, благородный пан не спеша удалился. Балцер Зидек, покинутый своим сообщником, хотел было также улизнуть. Но Курбский поймал его за ворот.

— Куда! Вы поможете нам снести беднягу в лагерь. Но прежде осмотрите-ка его рану: вы ведь кое-что смыслите в лечении.

Шут, уже не прекословя, стал ощупывать последовательно все тело умирающего. Добравшись так сперва до одной ноги, потом до другой, он промычал:

— Гм...

— Что такое? — спросил Курбский.

— Да кость под самым коленом раздроблена; а крови-то, смотрите, крови сколько!

— Надо, значит, сейчас же перевязать. Вы, Балцер, ведь и в перевязках мастер.

— Да ведь ему, ваша милость, все равно один конец: совсем истек кровью.

— Это решать не нам с вами. Доставить бы лишь живым в лазарет.

— Эх-эх! — вздохнул шут. — Человек только что ведь сбирался вкусить блаженство, а

его силой назад тянут! Ну, что ж, хлопче, помоги-ка мне снять с него сапог.

Сапог был снят и рана перевязана; причем хирург поневоле прилагал все свои старания, чтобы угодить наблюдавшему за каждым его движением молодому князю. В заключение, когда все трое с возможной осторожностью приподняли все еще не пришедшего в память раненого с земли (Курбский одной правой рукой), заботливый Балцер Зидек не забыл захватить с собой и сапог ратника. Тут сапог выскользнул у него из-под мышки. Нагнувшись за ним, Балцер Зидек сначала, однако, схватил что-то другое с земли и сунул себе за пазуху.

— Ты что это, братику, поднял? — спросил его Петрусь.

— Видишь, сапог.

— Не о сапоге я тебя спрашиваю, а о том, что ты за пазуху спрятал.

— Ну, это у меня из кармана выпало.

— Так ли? Не из чужого ли сапога?

— Ну, полно, Петрусь, — вступился Курбский. — Место ли тут...

— Да ведь у нас, милый княже, на Запоро-

жье многие казаки кошель свой, вместе с люлькой, за голенищем носят. Может, и этот тоже...

— Перестань, будет! — перебил Курбский. Однако, подозрение его было уже возбуждено, и он не мог уже отделаться от мысли, что Балцер Зидек присвоил себе деньги ратника. Сам шут удивительно присмирел, и только когда они подходили к лазарету, он заискивающе-униженно стал умолять Курбского никому не говорить об этой ночной их «прогулке».

— Вы сами, Балцер, расскажете обо всем военному суду, — холодно ответил Курбский.

Тот совсем опешил.

— Военному суду! Ваша княжеская милость шутить изволите. Клянусь горбом моей двоюродной тетки...

— Мне не до шуток, Балцер, — прервал Курбский. — А вот и лазарет.

Сдав умирающего лекаря, а шута под надзор двух ратников из царской хоругви, Курбский отправился к царевичу доложить обо всем, чему он только что был свидетелем на поле смерти.

Глава пятая

ВОРОНЬЕ ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

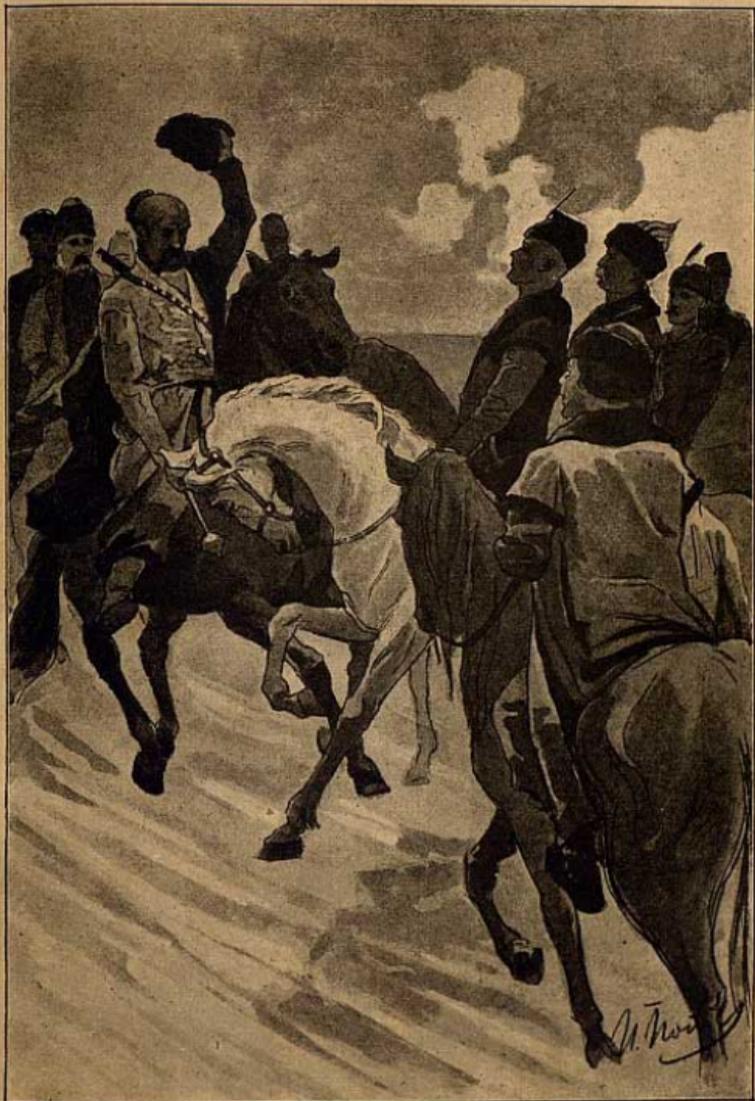
Димитрий, после некоторого колебания склонился на убеждения своего советчика и друга передать действия пана Тарло и Балцера Зидека на усмотрение военного суда. За поздним часом дело было, однако, отложено до утра, а поутру оно отодвинулось на второй план новым, более важным обстоятельством. От запорожцев, которых столько времени не могли доискаться, прибыл гонец с вестью, что четыре тысячи их, с кошевым атаманом Семеном Ревой, подошли, наконец, и расположились в трех верстах от лагеря. Надо было принять их с подобающею торжественностью, и вот навстречу дорогим гостям выехали рядом на своих кровных аргамаках обряженные по-праздничному царевич и старик гетман (совсем, казалось, оправившийся от своего недуга); впереди них выступали трубачи, литаврщики и барабанщики, исполнявшие воинственный марш; позади следовала, разумеется, вся блестящая свита обоих, а за

свитой — взвод донских казаков с дротиками и развевающими значками.

Прибывшие запорожцы, как оказалось, были все пешие, за исключением начальствующих лиц: самого кошевого атамана, войскового есаула, двух походных полковников и наказных куренных атаманов[1].

Присутствуя полгода назад в Сече на выборах Семена Ревы в кошевые атаманы, Курбский хорошо еще его помнил. Да и как было забыть эту изрубленную до безобразия рожу, на которой не было вершка без рубца и шрама, не говоря уже об особой примете — отсеченном левом ухе. Сам Рева, понятно, гордился этими боевыми знаками, придававшими ему зверски-молодецкий вид. Спустив с одного плеча свою дорогую кунью шубу, чтобы не лишиться других удовольствия полюбоваться его роскошной узорчатой черкеской и блестящим вооружением, он снял с головы свою пышную шапку из черных лисиц, а другой рукой опустил свою атаманскую булаву в виде приветствия перед царевичем и гаркнул зычно:

— Твоей ясновельможной царской мило-



сти доброжелательные приятели: атаман кошевой Семен Рева со всем войска низового за-порожского товариством челом бьем!

Димитрий с достоинством приподнял тоже на голове свою бархатную, четырехугольную шапку с алмазным пером и отвечал не менее радушно:

— Великое спасибо твоей ясновельможности, пане батьку, и всем вам, панове, за добрую помощь старому товарищу и брату! Братски всех вас обнимаю и целую в вашем славном батьке-атамане.

Подъехав за этим вплотную к Реве, он обнялся с ним и троекратно облобызался. Братание двух начальников было встречено треском запорожских литавр и барабанов. В то же время все запорожцы разом сбросили с плеч свои косматые зимние бурки и предстали во всей красе своих цветных кунтушей, шелковых поясов с золотыми кистями, цветных шаровар с золотыми галунами и самой разнообразной воинской «сброи»: рушниц (ружей), саблей, палашей, ятаганов, копий, обухов (боевых молотков), кинжалов, пистолей, лядунок, (пороховниц); а затем, развернувшись

фронтом, прошли курень за куренем мимо царевича, задорно бряцая оружием.

Выразив свое восхищение их молодецкатым видом и поблагодарив их вторично, Дмитрий обратился с вопросом к атаману, почему они, запорожцы, так запоздали.

— Позамешкались, точно, — отозвался Рева, — а все из-за этой татарвы поганой. Грому на них нет! Пронюхали, черти, что мы на походе, и тем же часом налетели, что саранча, на наше Запорожье. Но мы, благодарение Богу, отошли еще не так далеко. Догнал нас нарочный, вернул с похода.

— И вы не дали уже им спуску?

— Овва! Рассеяли, как прах по степи, гнались за ними до самых их улусов, а уж тут пошла такая потеха!..

— Не мало, я чай, табунов отгромили?

— И табунов и стад. Ну, знамо, не обошлось и без красного петуха. Огонь с крыши на крышу так и полыхает, кругом татарки с татарчатами середь полымя мечутся, что угорелые: «Алла! Иль Алла!» Кобылы ржут, коровы режут, овцы блеют... Потеха да и только!

— Пожалуй, и иной живой души не пожа-

лели?

— Души? — удивился запорожец. — Ну, уже так! Нешто у татарвы тоже души христианские?

— Не христианские, а все же...

— Один пар. Чего жалеть-то? Руби, знай, носы да уши, а то и голову с плеч, а либо за ноги да в полымя, — туда и дорога!

— И вот это то воронье, государь, мы призывали с собой на родную нашу Русь! — вполголоса заметил царевичу возмущенный Курбский.

Димитрий куда лучше своего друга сдерживал волновавшие его чувства. Что думал он про лютость диких сынов Запорожья, он считал совершенно неуместным выдать атаману и с прежнею приветливостью осведомился о том, где же конные запорожцы, которых ожидалось тоже, кажется, до восьми тысяч.

— Да кони у них уж больно притомились, — отвечал Рева, — ведь гнались за этой поганью, поди, до самого Черного моря; надо дать им еще лишнюю неделку передохнуть, покормиться.

— Как бы лишь не запоздали до новой

схватки с Борисовым войском, — сказал царевич и в коротких словах рассказал о жаркой битве накануне, в которой легло столько русских, что даже схоронить их еще не успели.

— Вы, пане Тарло, позаботьтесь об этом, — отнесся Мнишек к своему старшему адъютанту.

— Смею доложить пану гетману, — отвечал с почтительной фамильярностью пан Тарло, — что пан Бучинский хотел было уже послать туда наших польских ратников с лопатами; но те до одного наотрез отказались хоронить москалей. Да и то сказать: их все равно ведь снегом занесет.

— Но они такие же христиане, как и мы с вами, и пали в честном бою! — воскликнул Курбский.

— Не кипятись, Михайло Андреич — остановил его Димитрий. — Есть у нас на то моя царская хоругвь.

— Не дозволишь ли, государь, немешкотно сделать это моим запорожцам? — предложил тут Рева и передал соответственное приказание своему ближайшему помощнику — есаулу.

По возвращении в главную квартиру, Курбский напомнил снова царевичу о созыве военного суда над паном Тарло и Балцером Зидеком. Но Димитрий признал более осторожным обсудить вопрос сперва келейно с гетманом и двумя духовными советниками: патерами Сераковским и Ловичем. На этом частном совещании Курбскому было предложено рассказать, как было дело, и рассказ его дышал таким благородным негодованием, что в справедливости его едва ли кто-либо из слушателей мог усомниться. Тем не менее оба патера не выказывали никаких признаков неудовольствия поведением двух обвиняемых. По временам лишь патер Лович украдкой вопросительно переглядывался со своим старшим собратом; но тот в ответ пожимал только плечами. Старику гетману же, видимо, было крайне неприятно обвинение двух близких ему людей, и он с хмурым видом нетерпеливо ворочался в своем кресле.

— И на основании таких-то улик вы позволили себе взять под стражу моего верного шута? — формальным тоном спросил он, когда докладчик умолк.

— Но он мог скрыть следы преступления! — отвечал Курбский. — И улики, я полагаю, настолько ясны...

— Не касаясь пока вопроса о степени преступности обвиняемых, — прервал его Мнишек, — не могу не указать вам, любезный князь, что всякое преступное деяние, прежде всего, должно быть засвидетельствовано по меньшей мере двумя достоверными очевидцами.

— Но они есть: я и мой слуга, Петро Коваль.

— Против вашей княжеской милости, как свидетеля, ничего, конечно, возразить нельзя. Относительно же вашего хлопца дело совсем иное. Ведь он несовершеннолетний?

— Да; ему шестнадцатый год.

— Ну, вот, извольте видеть. Показания его могли бы служить только подтверждением показаний двух полноправных свидетелей, сами же по себе не имеют законной силы.

— А затем он, как раб, вообще не имеет голоса, — вставил от себя патер Сераковский.

— Простите, *clarissime*, — возразил Курбский, — но он из вольных запорожских каза-

КОВ...

— Однако, состоит у вас в услужении, стало быть, еще сомнительно, может ли он считаться теперь наравне с другими вольными людьми.

— А военный суд наш может руководствоваться только точным смыслом законов, — подхватил Мнишек. — Если сам инкульпат (подсудимый) добровольно не сознается во взводимом на него преступлении, то показание одного свидетеля, даже самого достоверного, не считается полным доказательством вины инкульпата, ибо все мы — люди.

— А еггаге humanum est (человеку свойственно ошибаться), — добавил патер Сераковский.

— Так сделайте нам очную ставку! — загорячился опять Курбский. — Отрицать то, что было, я думаю, ни пан Тарло, ни Балцер Зидек не станет.

Но он чересчур доверял прямодушию двух обвиняемых. Когда младший патер вызвал их на «конфронтацию» (очную ставку) с Курбским, и старик-гетман спросил пана Тарло, с какой целью тот ходил прошлой ночью на

поле битвы, на лице благородного пана выразилось полное недоумение.

— Ночью на поле битвы? — переспросил он. — Да я и шагу не сделал из лагеря!

— Вы отрекаетесь от того, что я застал вас на поле битвы вместе с Балцером Зидеком? — вскричал Курбский. — Стало быть, по-вашему, я солгал?

— Гм... Говорить неправду, любезнейший князь, не значит еще лгать: иному просто что-нибудь причудится, приснится.

— Но мне не причудилось и не приснилось: я говорил там с вами.

Пан Тарло с той же хладнокровной наглостью пожал как бы с сожалением плечами.

— Что мне ответить вам на это? Что польские рыцари, по крайней мере, никогда не лгут.

— Так, по-вашему, солгал я? — досказал Курбский, хватаясь за саблю. — Вы мне за это ответите, пане!

Пан Тарло щелкнул шпорами и отвесил преувеличенно вежливый поклон.

— Всегда, князь, к вашим услугам.

— Полно, полно, панове! — вступился Мни-

шек. — После похода вы можете, сколько угодно, сводить свои личные счета, на походе же военным статутом поединки у нас строго воспрещены. Мало ли, любезный князь, есть примеров, что во сне мы видим точно наяву? Чего мудреного, что после вчерашнего жаркого дела вам ночью причудилось поле битвы...

— Но клянусь вам, пане гетман...

— Не клянитесь понапрасну; я и так верю, что вы говорите совсем чистосердечно, что вы глубоко убеждены в том, что утверждаете. Но польский рыцарь не может быть гверрой (мародером, грабителем)! А потому вы не убедите меня, пока не дадите мне еще второго свидетеля; ваш хлопец для меня, понятно, не может быть таковым.

Пан Тарло глядел на своего обвинителя с вызывающей улыбкой: гетман, очевидно, его уже не выдаст. А Курбский, чувствуя, как почва уходит у него из-под ног, с трудом сдерживал поднимающуюся в нем бурю.

— Так Балцер Зидек подтвердит мои слова, — сказал он. — Вы, Балцер, вместе с Ковалем, донесли оттуда до лазарета умирающего... Ведь так? Что же вы не отвечаете?

Шут с глубокомысленным видом прикоснулся до своего лба, откашлянулся и, наконец, отозвался:

— Ум наш — чернильница, а речь — перо, изрек некий древний мудрец; прежде, чем доверить свои словеса пергаменту, перо надо обмакнуть в чернильницу. Да, я был с вашею княжеской милостью прошлой ночью на поле битвы, но вы сами же предложили мне сопровождать вас туда.

— Я предложил вам? — пробормотал Курбский, совершенно ошеломленный развязной выдумкой шута. — Когда? Где?

— Прошу вас, князь, не прерывать свидетеля, — заметил внушительно старик-гетман. — Ну, что же, Балцер, расскажи все по порядку.

— Пан гетман припомнит, — начал тот, — что с вечера у вас был маленький фараончик. Как человек мягкосердый, я всеми мерами облегчаю ясновельможному панству участвовать в этой благородной забаве. Одному из панов рыцарей (имени не называю) не достало уже денег, чтобы отыгаться. Он ко мне: «Балцер Зидек! Отец родной!» А уж как не помочь родному сыну? «Сейчас, говорю, сыно-

чек». Выхожу за дверь, а там, в сенях, глядь — навстречу мне его княжеская милость...

Курбский, негодуя, хотел было прервать рассказчика, но Мнишек остановил его опять повелительным жестом.

— А Балцер! Вас-то мне и нужно. — Говорит мне ясновельможный князь, — продолжал фантазировать балясник. — Нет ли у вас фонаря?

— Фонарика? — говорю я. — Как не быть. А на что вашей милости?

— Да вот иду сейчас, — говорит, — с моим щуром на поле брани: нет ли там раненых, которых можно бы еще спасти...

Ну, скажите, ваша ясновельможность, могли человек с моим сердцем отказать в таком христианском деле?

— А пана Тарло ведь не было с вами? — спросил Мнишек, но спросил таким тоном, как будто ожидал отрицательного ответа.

— Само собой разумеется, нет, — отвечал Балцер Зидек. — Вельможный пан был так занят за игорным столом, что отвлечь его было бы грех.

— Смертный грех! — усмехнулся с горечью

Курбский. — Чем-то вы кончите вашу сказку!

— До конца недолго, ваша милость. Человеколюбие наше было вознаграждено: мы нашли одного умирающего, потерявшего даже сознание; я сам перевязал ему рану... или это тоже сказка?

— Нет, это правда.

— Ну, вот, видите ли. Потом я и щурь ваш подняли несчастного и доставили в лазарет. Верно-с?

— Верно; но что же вы ничего не сказали о его кошельке?

— О каком кошельке?

— Да о том, что выпал у него из сапога, а вы спрятали себе за пазуху?

Недаром Балцер Зидек столько лет занимал должность придворного шута сендомирского воеводы. Притворство стало для него второй натурой. Видя, что отпираться уже бесцельно, он без малейшего замешательства достал из внутреннего кармана поношенный кожаный кошелек и с обиженной миной протянул его Курбскому.

— Сами подарили мне за оказанную помощь, а теперь, видно, жаль стало! Ну, что ж,

нате ваш подарок! Балцеру Зидеку ничего от вас не нужно.

— Деньги эти не мои, а ограбленного вами, — с холодным презрением отвечал Курбский, кладя кошелек на стол перед гетманом. — Бедняга, сказали мне, скончался, не придя в себя; но деньги могут пригодиться другим раненым.

— И ваша милость можете взводить на невинного человека такую напраслину? Ай-ай! (Шут замотал головой, отчего погремушки на дурацком колпаке его зазвенели). Да Балцер Зидек скорее откусит себе голову, чем присвоит себе чужое. Но он вам великодушно прощает!

— Я не нуждаюсь в вашем великодушии...

— А Балцер Зидек все-таки вам прощает! Забыть зло, которое мне причинили, — только в моей власти, а не в вашей.

Между тем Димитрий высыпал из мешка все содержимое на стол.

— Одни русские монеты, ни единой польской, — сказал он. — Чего яснее, что кошелек взят у русского.

— Да кем взят-то? — нашелся снова изво-

ротливый шут. — Я, признаться, не хотел выдавать князя; но коли на то уж пошло.

Неизвестно, до чего бы он еще договорился, не ворвись в это самое время в комнату один из младших адъютантов гетмана.

— Разве вам не сказано, что совещание совершенно секретное? — вскинулся на него Мнишек.

— И не дерзнул бы войти, ваша ясновельможность, но такой экстренный казус...

— Что же именно?

— Его царскому величеству угодно было дозволить запорожцам похоронить убитых москалей...

— А те первым делом стали обирать мертвых и подняли из-за дележа такую драку...

— А кто призвал к нам этих грабителей? — не без злорадства заметил пан Тарло. — Не князь ли Курбский, обвиняющий теперь в грабеже других?

— Князь сам еще сегодня называл запорожцев вороньем, — вступился за своего друга царевич.

— Да, они — черное воронье, — сказал Курбский, — но что хуже — воронье черное

или белое — уж право не знаю.

— Из-за чего же мы наконец спорим? — заговорил тут патер Сераковский. — Как сама война, так и грабеж на войне, — *malum necessarium*, полезное зло, — полезное, ибо временно утоляет зверские инстинкты грубых воинов. Кто, скажите, не нуждается в брэнном металле? Еще Демосфен назвал деньги — *pervus regum*, нервом вещей. А засим, мне кажется, вопрос исчерпан.

— Да, военный суд созывать теперь как будто и не для чего, — отнесся Мнишек к Димитрию, и когда тот в ответ только вздохнул и повел плечом, старик-гетман объявил совещание закрытым и пожал на прощанье руку как Курбскому, так и пану Тарло. — Очень рад, панове, что все уладилось ко всеобщему удовольствию; очень, очень рад!

— У ясновельможного пана, кажется, на душе еще кошки скребут? — тихонько спросил Балцер Зидек пана Тарло, заметив, каким свирепым взглядом тот проводил Курбского, удалившегося из комнаты первым.

— Какие кошки? — сердито спросил в ответ пан Тарло.

— А те, которых мы с вами вчера проглотили и которых сейчас вот из горла у нас за хвост тащили. Препротивное чувство, совершенно согласен с вами.

— А все вы, Балцер. Ваша же выдумка. Еще умная голова!

— Да глупцы, милый пане, разве когда глупят? Для них глупости — хлеб насущный. Глупят одни, умные люди.

— Однако ж на нас с вами все-таки легло скверное пятно.

— Всякое пятно, дорогой пане, коли не сметется дождем, то от времени и солнца полиняет. Но нашему общему врагу это так не сойдет!

— Так вы что-нибудь против него уже замыслили?

— Покуда-то нет. Но ищите — и обрящете. Случай, верно, найдется.

Случай, действительно, нашелся, — и даже очень скоро.

Глава шестая

СЕРДЦЕ СЕРДЦУ ВЕСТЬ ПОДАЕТ

Обедал Курбский вместе с царевичем за гетманским столом. Домашний повар Мнишка, сопровождавший его и на походе, был великий мастер по своей части. В описываемый день, когда к гетманскому столу было приглашено все запорожское начальство, искусник-повар приложил особенные старания, и обед, точно, вышел на славу. Но душевное настроение Курбского было такое угнетенное, что он не сумел оценить чудеса кулинарного искусства, к концу же обеда, когда началась общая попойка, встал из-за стола и, под предлогом головной боли, ушел к себе. Здесь он с недоумением увидел на подоконнике целую грудку медовых пряженцов. Он ударил в ладоши. Верный казачок его Петрусь Коваль не замедлил предстать перед ним; на открытом лице его играла лукавая улыбка.

— Что это такое? — спросил Курбский, указывая на пряженцы.

— Сладенькие, гостинцы.

— Вижу, что не ржаной хлеб. Но для кого это?

— Для тебя, милый княже, все для тебя. Отведай-ка: во рту тают.

Чтобы не обидеть мальчика, Курбский отломил кусок печенья и сунул в рот.

— Ну, что, невкусно разве? — спросил Петрусь с той же усмешечкой.

— Очень даже вкусно. Спасибо, братику. Но с чего тебе вдруг вздумалось?

— Не мне вздумалось.

— А кому же?

— Сам не догадаешься?

— Как же мне догадаться? Никому здесь, кроме тебя, на ум не придет угощать меня сладостями.

— Здесь, в лагере, пожалуй, что и нет. Ну, а по соседству, примерно в Новеграде-Северском...

Курбский так и обомлел.

— В Новеграде?.. — пробормотал он.

— Ну, да, в замке: от города-то камня на камне не осталось.

— Но и там я ни души не знаю...

— Ой ли? Не знаешь даже Марьи Гордеевны Биркиной? А она-то, голубушка, нарочно еще сама для тебя потрудилась, пекла своими белыми ручками...

Курбскому стоило не мало усилия над собой, чтобы не выдать своего душевного волнения.

— Теперь припоминаю, — сказал он с притворным равнодушием, но глубоко переводя дух. — Одно время она состояла при панне Марине Мнишек и видела меня с царевичем у старшей сестры ее, княгини Вишневецкой; а потом уехала со своим дядей, купцом Биркиным, сюда, в Северскую землю...

— Ну, вот, а прознавши, что и ты тоже здесь, — подхватил Петрусь, — прислала тебе сладкую весточку: сердце сердцу весть подает.

— Полно вздор городить! Прислала просто по доброй памяти. Но с кем! Ведь ни в замок, ни из замка никого не пускают.

— Доброй волей не пускают, а коли у кого есть своя лазейка, так кто тому запретит?

— А! Вот что! Ну, ну, говори дальше.

— Заметил ты, княже, может, молодчика,

одних, почитай, лет со мной, что толкается тут меж палаток с коробом всяких сладостей: пряников, рожков, орехов, винных ягод? Трошкой звать.

— Нет, не заметил.

— Где ж тебе, вельможе, замечать всякого смерда! А я-то с этим Трошкой давно уж дружба свел.

— Потому что сам куда лаком до сладостей?

— Оба мы с ним лакомы: я — до его сладостей, а он — до моих рассказов об удалцах-запорожцах.

— Так этот-то Трошка и пробирается сюда из замка.

— Он самый. До вчерашнего дня он сказывался крестьянским сыном из ближней деревушки Дубовки: живет-де там у торговки-тетки и приходит-де оттоле каждый день со своим товаром. Ноне же отвел меня к сторонке, чтобы никто, значит, не подслушал.

— Ты, Петрусь, говорит, меня, ведь, не выдашь?

— Зачем мне, говорю, тебя выдавать? Мы же с тобой друзья-приятели.

— Дружба дружбой, говорит, а служба

службой. Поклянись мне Христом Богом, кроме одного человека, никому не рассказывать о том, что услышишь от меня.

— Кроме какого, говорю, человека?

— Кроме князя твоего, Михайлы Андреича Курбского. Дело-то до него касающееся.

— Коли так, говорю, — так изволь. И поклялся ему Христом Богом...

— А дальше я и сам знаю, — прервал Курбский с блестящими глазами. — Трошка твой родом, может, и из Дубовки, да служит у Биркина. Так ведь?

— Так.

— Биркин же — купец оборотливый: не залеживаться же его товару, коли тут, во вражьем стане, верный сбыт? И подсылает он к нам своего Трошку с товаром будто бы из Дубовки, подсылает еще в потемках ранним утром, а убирается Трошка восвояси поздним вечером тоже в потемках, чтобы не подглядели.

— Так, так! — подтвердил снова Петрусь. — А знаешь ли, княже, что мне на ум сейчас вспало.

— Что?

— Да ведь коли у Трошки есть этакий по-тайной лаз из замка, так почему бы и тебе не пробраться туда тем же лазом в гости к Биркиным?

Курбский точно даже испугался такой возможности.

— Что ты, что ты! Господь с тобой!

— Да почему же нет? А уж Марья-то Гордеевна как была бы рада свидеться с тобой...

— Говорю тебе, что дело нестаточное, — резко прервал Курбский. — Я-то, может быть, с нею и видеться не желаю.

— Твоя воля, милый княже. А лазейку-то Трошкину, не погневись на меня, я все же выслежу.

— Это для чего?

— Не для тебя, так для себя.

— Но тебе-то на что?

— Мне-то?.. Ведь я, княже, как ни как казак, запорожец...

— Ну?

— И запорожцы мне братья старшие. Вот я и проведу их темной ночью той лазейкой в замок, как волков в овчарню; захватим стрельцов спящими врасплох: «Здорови булы,

панове москали, як се маєте?» Вот так штука! Знай наших!

Юный запорожец от удовольствия защелкал пальцами и залился звонким смехом. Но господин его, к его удивлению, ни мало не разделял его восторга.

— Ты этого не сделаешь, — решительно объявил он. — Ты поклялся Трошке не выдавать его...

— Да он и знать не будет, что я его выследил.

— А все-таки ты чрез него погубишь других русских, стало быть будешь перед ним Иудой-предателем, да и меня сделаешь таким же предателем перед Биркиными: кабы Маруся... то бишь Марья Гордеевна не доверяла мне, то ни за что бы не дала мне весточки.

— Экое горе! — вздохнул Петрусь и всею пятерней почесал у себя в загривке. — А у меня было так знатно надумано! Ведь одолеть-то русских нам когда-нибудь да надо?

— Надо, но в открытом, честном бою, а не предательством.

— У нас, на Запорожье, признаться, на это не так строго смотрят...

— То на Запорожье, а моя совесть иная. Разве сам ты, Петрусь, не понимаешь, что предательство подло?

— Понимаю, милый княже, как не понять?.. Ох, ох! Ну, что ж, нечего, значит, об этом и толковать. А как же нам быть с Трошкой? Ведь он ждет от тебя ответа Марье Гордеевне.

— Да какой же ей ответ?

— Ну, хоть спасибо, что ли, сказать ей за добрую память.

— Пускай, конечно, скажет... Дай Бог ей всякого благополучия...

— И только?

— А то еще что же?

— Она тебя не забыла присылкой, так и ты бы в отплату чем-нибудь ее уважил. Зачем обижать?

В Курбском происходила видимая борьба.

— Есть у меня, пожалуй, образок Андрея Первозванного... — начал он с запинкой.

— Из Святой Земли?

— Из самого Иерусалима. Привезли его от туда еще моему покойному родителю (царствие ему небесное!), и он до кончины своей с

ним не расставался. С тех пор я ношу его и никогда еще не снимал с себя.

— Знамо, снимать его уже не приходится.

— И не снял бы до своей смерти. Но перед вчерашним боем нашла на меня вдруг такая смертная тоска, что на поди. Либо царевичу, либо мне самому, думал, несдобровать.

— Тебя ведь и ранили...

— Какая ж это рана? Так, царапина. А на душе у меня и доселе не полегчало. Чую я беду неизбывную.

Одному Богу ведомо, что меня еще ждет. Всякий день ведь может быть опять смертный бой, и в жизни своей никто из нас не волен. Так вот, на случай, что мне не суждено вернуться с поля битвы, возьми-ка ты, Петрусь, на хранение мой образок...

При этих словах Курбский снял с себя маленький старинный образок и, набожно поцеловав, вручил его своему казачку.

— У тебя он сохраннее, — продолжал он. — Умру, так перешлешь его через своего Трошку Марье Гордеевне: может, он принесет ей счастье...

— Нет, княже, — объявил Петрусь, — нико-

му в руки, кроме самой Марьи Гордеевны, я его не отдам. Не нонче — завтра Басманов, хошь не хошь, отворит царевичу ворота замка...

— Ну, и ладно. Тогда сам ты разыщешь там Биркиных. А до времени, смотри, береги мой образок...

— Как зеницу ока. Будь покоен, милый княже. Точно теперь все счеты его с этим миром были сведены, прежнее состояние глухого раздраженья сменилось у Курбского почти полной апатией. Свои служебные обязанности он, правда, исполнял до вечера с обычной аккуратностью; а когда царевич, заметив его усталый, убитый вид, уволил его до утра, он заглянул на всякий случай еще в лазарет, после чего уже возвратился к себе. Здесь, к некоторому его удивлению, было совсем темно, тогда как расторопный Петрусь встречал его обыкновенно еще на пороге с зажженной свечой.

«Верно, ушел проведать своих братьев-запорожцев, да там и застрял», — сообразил Курбский и сам высек огня. В подсвечнике оказался только маленький огарок.

«Да он, может, со скуки просто заснул?»

Курбский захлопал в ладоши; потом окликнул Петруся; но и оклик остался без ответа.

«Сердце сердцу весть подает», — вспомнились ему тут слова хлопца, и кровь хлынула ему в голову. — «Чего доброго, ведь, не спросясь, все-таки, собрался с этим Трошкой в замок к Биркиным? Его, головуреза, на это станет...»

Схватив опять шапку и накинув на плечи кунтуш, он отправился на розыски головуреза.

Благодаря зажженным там и сям кострам, он выбрался без затруднений из польского стана к становищу запорожцев, откуда еще издали доносились нескладные песни, грубый хохот и дикие визги. Чем ближе, тем явственнее становился этот нестройный гомон. Можно было уже слышать бречание бандуры, слова песен и забористую казацкую брань.

Закопавшись в снегу, запорожцы укрепили свой стан кругом повозками в форме огромного четырехугольника. Внутри стана

дымились костры, двигались человеческие тени. Но попасть туда можно было только сквозь небольшие проходы, оставленные нарочно между повозками, — по одному с каждой стороны четырехугольника. Подойдя к такому проходу, Курбский вынужден был остановиться, потому что перед самым проходом столпилась целая кучка так называемых «сиромашни», забубенной казацкой голытьбы. Занята она была своеобразным торгом — продажей друг другу и обменом оружия и платья, снятого с мертвецов на поле битвы.

— Эх, ты, вавилонский свинопас! — орал один. — Свиньи от гуся отличить не умеешь, немецкой аркебузы от простой пищали!

— Сам ты иерусалимский браварник (пивовар)! — огрызался «свинопас». — Не видал я, что ль, аркебузы?

— Некрещеный ты лоб, чертов сват и брат! — бранился третий. — Экий кафтан отдать на онучи!

— Оце добре! Да ведь что за онучи — цареградский шелк. Гляди, что ли, татарский ты сагайдак (козел)!

И для вящего убеждения покупателя про-

давец совал ему под нос действительно шелковую, но уже куда не новую онучу.

— На-ка, оцупай. Татарка так, поди, в меня и вцепилась, ни за что бы не отдала, кабы я ее не пристукнул.

Омерзение, чуть не ненависть внушали Курбскому эти одичавшие, озверевшие люди. Стоявший у прохода караульный казак, узнав молодого князя, без всякого опроса, с поклоном пропустил его внутрь стана. Бражничавшие же здесь около ближайшего костра запорожцы даже не оглянулись на подошедшего: все внимание их было поглощено рассказом одного из бражников, видимо крепко захмелевшего, старого казака. Чтобы не прерывать их удовольствия, Курбский выждал конца рассказа.

— Ну, вот и привели меня эти ляхи к своему королю, — продолжал рассказчик. — «Ты, говорит, что ль, тот самый казак, что хвалился привести ко мне в полов всю татарву?» — «Тот самый, ваше королевское величество». — «Так поди-ка, приведи их ко мне, а уж я тебя награжу». Что тут поделаешь? Не давши слова — крепись, а давши — держись.

Пошел я к татарве; как гаркну: «Эй вы, поганое отродье! Ступай-ка все за мной». Хвать хана их за шиворот халата, очами этак сверкнул, ногой притопнул, поволок раба Божия, а другие, как овцы за бараном, все за ханом потекли. «Пожалуйте, ваше королевское величество: вся татарва аккурат».

— Ай да дид! Ха-ха-ха! — загрохотали кругом слушатели. — Ну, и чем же он тебя наградил?

— Чем наградил! Чверткой горилки.

Тут и Курбский не мог уже удержаться от смеха.

— Гай, гай, и ты здесь, любый княже! — обратился к нему рассказчик-дед. — Послушать старика тоже захотелось, аль на фортецию запорожскую взглянуть? Милости прошу к нашему шалашу, — гость будешь.

Поблагодарив, Курбский справился, не видал ли кто из пановей его щура, Петруся Коваля. Оказалось, что видели его давеча у торговых шалашей с каким-то парубком-торговцем; в «фортецию» же к ним он глаз не казал. Для Курбского не было уже сомнений, и, понутив голову, он поплелся обратно в поль-

ский лагерь с одной мыслью: от судьбы своей не уйдешь.

Глава седьмая

ПОХОЖДЕНИЯ ПЕТРУСЯ КОВАЛЯ

Трошка со своим коробом с самого утра слонялся по лагерю от палатки к палатке, от землянки к землянке, заглядывал и в траншеи. Под конец же короткого зимнего дня, когда ему можно было скрыться незамеченным, он с пустым уже коробом собрался восвояси. Шел он этак уже с версту по изъезженной санями дороге, в сторону деревни Дубовки, когда, случайно оглянувшись, увидел догоняющего его человека.

«А ну, как ограбить хочет?! Ведь выручка-то у меня изрядная», — мелькнуло у него в голове, и он пустился бежать со всех ног.

— Куда тебя леший гонит! Постой же, погоди! — раздался тут за ним задыхающийся голос.

Трошка умерил опять шаг.

— Это ты, Петрусь? — удивился он, узнав своего приятеля-казачка. — А я-то уж думал... За медовой коврижкой, что ли? Да опоздал,

брат: ничего-таки не осталось.

— Коврижка коврижкой, — отвечал Петрусь, с трудом переводя дух, — и до завтраго погожу.

— Так чего же тебе?

— А проводить тебя.

— Ври больше.

— Зачем врать? Нам по одной дороге.

— Да ты куда, Петрусь?

— Туда же, куда и ты.

— В замок?

— В замок. Вдвоем идти все-таки веселее.

Трошка опешил, но, сейчас же оправясь, запетушился:

— Ты что ж это, Петрусь, — предать нас полякам хочешь? Креста на тебе нет!

— Крест на мне, слава Богу, есть, и предателем я николи не буду.

Говорил он это так искренно, с оттенком даже негодования, точно за несколько часов назад сам не высказывал такого намерения своему господину. Но слова Курбского были для него законом, и теперь он действительно возмущался предположением Трошки.

— Так, может, ты сам нам передаться хо-

чешь? — продолжал допытываться Трошка.

— Чтоб казак передался врагу? Да за эти слова побить тебя мало! — вскричал Петрусь и наделил приятеля таким тумаком, что тот со своим коробом повалился в снег.

— Ну, ну, ну, не буду, не тронь! — взмолился Трошка. — Сдуру сболтнулось.

— То-то сдуру. Ну, вставай же, не бойся, не трону больше.

— Да на что тебе, Петрусь, в замок? Верно, к Марье Гордеевне с ответом от твоего князя?

— Наконец-то додумался, умная голова!

— Зачем же тебе самому к ней, коли я могу все за тебя справить.

— Стало, не можешь.

— А с собой тебя, прости, мне взять никак невозможно!

— И не нужно; я сам собой пойду: куда ты, туда и я.

— Но я не хочу, Петрусь, слышишь: не хочу!

— Мало ли что. И нитка тоже не хотела, да игла потянула. Добром ты от меня не отделаешься.

— Ах ты, Господи, Боже ты мой! — чуть не

захныкал Трошка. — Хозяин мой, Степан Маркыч, меня со света сживет: в гневе своем он никаких границ себе не знает.

— Хозяин твой и не увидит меня: ты проведешь меня прямо к племяннице.

— Да в горницу-то к ней ход через горницу дяди.

— А уж это, братику, твое дело, как отвести ему глаза. Можешь вызвать ее ко мне на лестницу, что ли. А наскочишь все-таки на хозяйна под сердитую руку, так сам же и казись. Ну, да Бог не выдаст, — свинья не съест. Что вперед загадывать? Гайда!

Бедному Трошке волей-неволей пришлось покориться. Прошли они этак еще версты полторы, а дорога все далее уклонялась в сторону от замка. Петруся взяло опять сомнение.

— Куда ты меня ведешь, бисов сын? — спросил он.

— Как куда? В замок.

— Да замок вон где, совсем, видишь, назади остался.

— А по-твоему лучше идти так, чтобы поляки нас из траншеи углядели и перехватили? Сейчас, погоди, свернем куда нужно.

И точно, немного погода, дорога сделала крутой поворот.

— Ну, теперь, брат, за мной в кусты, — сказал Трошка, — да, смотри, не увязни.

Предостережение было не излишне: когда Петрусь, вслед за своим товарищем, прыгнул с дороги через занесенную снегом канавку в кустарник, то увяз в рыхлом снегу выше колен.

— Зачем не слушаешься! — укорил его Трошка. — Не видел разве, куда я прыгнул: тут кочка. А ты прямо в яму!

— Много увидишь в экую темень... Бодай тебя бык!.. — ворчал Петрусь, не без труда выкарабкиваясь из своей снежной ямы.

Не будь с ним Трошки, он не раз еще, конечно, застревал бы в мелкорослом, но густом кустарнике. Трошка же, видимо, прекрасно знал окружающую местность и шел себе вперед да вперед без оглядки, описывая широкую дугу к городскому пепелищу. Вот они шагают по каким-то грядам меж раскидистых деревьев и должны поминутно наклоняться, чтобы отягченные снегом ветви не задевали их по голове.

— А уж какие тут у нас водились яблоки, какие груши, сливы, — эх-ма! — с сокрушением сердца вздохнул Трошка и щелкнул языком.

— У вас? — с недоумением переспросил Петрусь.

— Ну, да, ведь это же огород Степана Маркыча; а вон и дом наш.

Трошка указал на черневшие за огородом развалины.

— Да ведь от него ничего не осталось.

— Еще бы остаться. Горело так, что страсть! Главное-то жилье было каменное, с давних еще времен, слышь; да и то не выдержало, развалилось.

— Так для чего ж ты завел меня сюда?

— А вот иди-ка за мной, — узнаешь.

Среди четырехугольника разрушенных каменных стен перед ними разверзлась глубокая яма.

— Ага! — догадался Петрусь. — Подземный ход в замок?

— Да, в тамошний запасный амбар наш; в стародавние еще времена невесть кем прорыт. Тут вот, на этом самом месте, была

спальня хозяйская. Знали мы все, что под кроватью Степана Маркыча есть подъемная дверь в подполье; но чтобы из подполья был еще потайной ход, — никому и невдомек. А как все тут выгорело, да перебрались мы на жительство в замок, Степан Маркыч и покажи мне этот самый ход, чтобы товар носить на продажу к вам в лагерь. Ну, что ж, иди за мной, да не поскользнись.

Поскользнуться было, действительно, немудрено: ступеньки крутой лестницы в глубину шевелились под ногой, да вдобавок еще обледенели. Спускаясь ощупью за своим спутником, Петрусь благополучно, однако, сполз вниз. Здесь Трошка засветил карманный фонарик. Низкий каменный свод подземного хода на вид был хоть и прочен, но там и сям меж камнями висели все-таки ледяные сосульки от просачивавшейся сверху влаги, а окружающий воздух был пропитан промозглой сыростью.

— Словно в могиле... — пробормотал Петрусь, которому, при всей его шустрости, стало как будто жутко. — Ну, ступай же вперед, а я уж не отстану.

Подземная прогулка их при слабом свете сального огарка в фонарике продолжалась добрых четверть часа.

— Ну, вот, мы и в замке, под самым амбаром, — объявил наконец Трошка и загасил фонарик. — Сейчас опять лестница. Смотри, не сорвись в темноте, держись за стену.

Приподняв головой подъемную дверь в амбар, Трошка обождал своего товарища, а потом за руку вывел его из амбара на улицу.

Впрочем, и тут было немногим светлее. С облачного ночного неба сыпался густой снег; но в сторону польского лагеря эти летящие снежные хлопья настолько все-таки освещались огнем горевших там костров, что можно было различить за амбаром общие очертания городской стены и расхаживавшего на ней часового.

— Хочешь, я его окликну? — предложил Петрусь, в котором на вольном воздухе снова взыграла его казацкая удаль.

— Экий ведь сумасшедший! — испугался Трошка и потащил его в ближайший переулок.

Все уличное освещение новгород-северско-

го замка, как и на всей вообще Руси, ограничивалось в те времена скудным светом из обывательских домов. Хотя было еще не поздно, но в редких окнах, сквозь полупрозрачную слюду или бычий пузырь, заменявшие тогда стекло, брезжил еще свет, а движение на улицах совсем почти прекратилось. Так, нашим двум мальчикам вначале не встретилось ни одной души. Но когда они только что заворачивали на главную улицу, из-за угла налетел на них какой-то гуляка и столкнулся с Трошкой. Столкновение было так неожиданно и так сильно, что Трошка едва устоял на ногах, гуляка же покатился кубарем через сугроб снега. Прежде чем он успел сообразить, в чем дело, мальчики уже были далеко.

— Оттак-бак! — хохотал Петрусь. — Словно ядром на месте положил!

— Тише ты, тише, побойся Бога! — унимал его Трошка. — Еще кто нас заметит...

Из людей их никто не заметил; но звонкий хохот неутомонного казачка оскорбил дух дворняжки из ближайшего двора. Выскочив из подворотни, она с лаем понеслась вслед за бегущими. У следующего двора к ней приста-

ла еще одна шавка, а далее еще две или три. По счастью, мальчики добрались теперь до временного жилья Биркиных. Трошка юркнул в калитку, Петрусь за ним, и калитка захлопнулась. Но здесь навстречу им кинулся слабом же крупный дворовый пес. Трошке стоило не малого красноречия его урезонить; за калиткой же чужие дворняги продолжали заливаться полным хором. Тут где-то в вышине стукнула дверь, и грянул мужской бас:

— Что за содом такой! Ты это, Трошка, что ли?

— Я, я, Степан Маркыч, — виновато откликнулся Трошка.

— Опять, поди, раздражил этих чертей!

— Ей же ей, и не думал дразнить, Степан Маркыч.

— Божись больше! Полкан на дворе?

— На дворе тут, при мне, Степан Маркыч; я за ошейник его держу.

— И дурак! Всю ночь, что ль, держать этак будешь? Калитку-то затворил?

— Затворил, Степан Маркыч, как быть следует.

— Ну, так куда ж ему убежать? Дурак и

есть. Долго ль мне тебя ждать-то? Иди домой, ну!

Дверь наверху снова стукнула.

— Погоди-ка тут маленько, — шепнул Трошка товарищу и сам нырнул в темный вход дома.

Петрусь остался на дворе один с Полканом. Тот недоверчиво его обнюхивал; мальчик же гладил его по мохнатой шее, а сам оглядывался по сторонам.

Дом был деревянный, в два жилья. В нижнем, служившем, должно быть, для склада товаров, не было огня. Во втором светились два окошка, и мелькали тени. Там, стало быть, жили Биркины. В глубине двора можно было различить какие-то сараи, у забора — собачью конуру, жилище Полкана. И только; не на что больше и глядеть-то было.

А Трошка как в воду канул. Собачий хор за калиткой давно умолк. Полкан тоже, видно, убедился в безобидности нашего казачка и удалился в свою конуру. Снежная погодка, между тем, разыгралась в настоящую метель. Потоптавшись на одном месте, Петрусь вошел, наконец, в темные сени дома, дававшие

защиту хоть и не от мороза, то от снега и ветра. Тут наверху тихонько скрипнула дверь, и по лестнице кто-то стал осторожно спускаться легкой поступью.

«Это не Трошка, — понял тотчас Петрусь, — да и не Степан Маркыч; это, верно, сама Марья Гордеевна».

Он кашлянул. Шаги остановились.

— Это ты ведь, Марья Гордеевна? — шепотом спросил Петрусь.

— Я, — отозвался шепотом же тонкий женский голос.

— Первым долгом низжайший поклон тебе от господина моего, князя Михайлы Андреича Курбского...

— Чш-ш-ш! Дядя услышит. Сейчас сойду к тебе. И она сошла к нему на нижнюю площадку.

— Так ты, значит, от князя Михайлы Андреича? — заговорила она снова. — И только для того, чтобы принести мне поклон?

За непроглядною темнотой видеть говорящую он не мог, но уже по ее звучному, свежему голосу, по ее прерывистому дыханью слышно было, что она совсем молода, что

сердце в груди у нее-таки екает. Такая досада, право, что даже кончика носа ее не разглядеть! А верно, краля писаная... Морочить такую уже не приходится.

— Сказать по чистой правде, — отвечал Петрусь, — князь мой и не ведает, что я тут.

— Так как же ты посмел?

— А так, вишь, из жалости к нему.

— Да что с ним такое?

— Больно тоскует он по тебе денно и ночью...

— Ну да!

— Верно тебе говорю. Чует, что убьют его скоро в бою смертном...

— Боже оборони!

— Ну, и отдал мне на хранение свой наперсный образок; доселе николи не снимал: «как помру, говорит, так передай Марье Гордеевне: принесет, может, хошь ей-то, голубушке, счастья».

— Нет, нет, он не умрет! И какое же тогда еще счастье?! А образок тот у тебя теперь с собой?

— Со мной. Вот возьми. Нарочно взял с собой: неравно самого меня потом пристрелят,

так в твоих руках все же надежней. А как прийдешь ты ему нонче со мной еще добрую весточку, так, даст Бог, он духом опять ободрится. Что же сказать ему от тебя?

— Скажи ему... Да ты не так, пожалуй, перескажешь... Вот что: я лучше напишу ему письмецо...

«Овва! даже писать обучена!» — изумился про себя казачок: на родине у него не только ведь меж казачек не было ни одной грамотной, но и на Сече меж сивоусых запорожцев на редкость кто умел нацарапать пером свое имя да прозвище. Не мог он знать, конечно, что Маруся Биркина, состоя еще недавно фрейлиной при панне Марине Мнишек, обучилась у нее грамоте и письму польским и русским, так что теперь она могла у своего дяди Степана Марковича вести все счета и торговую переписку.

— А мне, что же, покамест тут под лестницей стоять? — спросил Петрусь.

— Да... Или вот что: здесь тебя, чего доброго, еще кто застанет. Ступай-ка лучше за мной на чердак; туда в эту пору никто уже не заглянет. Только чур, не стучи сапогами.

И вот они оба тихонько поднимаются в темноте вверх по скрипучим ступенькам; вот они уже прошмыгнули мимо дверей Степана Марковича и лезут выше к чердаку; а вот и чердак. Пропустив туда Петруся, молодая девушка плотно притворила за ним дверь и сама ушла писать свое письмецо.

«Как есть мышонок в ловушке», — рассуждал сам с собой Петрусь, ощупью знакомясь с расположением довольно тесного чердака: ноги его запинались о бревенчатые перекладины земляного пола, а руками он захватывал перетянутые поперек веревки. «Коли есть куда лаз, так на крышу. Поищем».

Пробираясь этак по чердаку вдоль покато-го потолка от стропила к стропилу, Петрусь, действительно, добрался вскоре до слухового окошка. Только снегом его занесло, примерзло. Мальчик рванул за колечко, и оконце растворилось.

«Эге! да тут доска куда-то переложена. Знать, к соседнему дому, точно по заказу: коли нужно, есть куда дать еще тягу».

В это время метель со двора ворвалась к нему на чердак с такой силой, что залепила

ему снегом лицо. Он поспешил захлопнуть оконце.

«Скоро ли она наконец! Уж не задержал ли дядя? А ты сиди тут в мышеловке... Да нет, вот она».

С лестницы блеснул свет, и в дверях показалась стройная молодая девушка с фонарем в руке. Петрусь пошел к ней навстречу.

— Подними-ка-сь повыше фонарь, — попросил он.

— Это для чего? — удивилась Маруся.

— Ну, подними, сделай такую милость.

Она исполнила его странную просьбу. Он с разинутым ртом вытаращил на нее глаза.

— Чего ты уставился на меня так, словно проглотить хочешь? — спросила она с улыбкой, и от этой милой улыбки красивые и приветливые черты ее стали еще солнечнее, привлекательнее.

— Так вот ты, стало, какая! — проговорил мальчик, продолжая любоваться молодой красавицей.

— Какая?

— Да такая, знаешь... ненаглядная. Не диво, что князю моему ты все еще мерещишься!

Несколько бледное лицо девушки покрылось густым румянцем, и она поскорее опустила опять фонарь.

— Вот тебе письмо к нему, — проговорила она скороговоркой, подавая Петрусью сложенную треугольником записку. — Запечатать я не успела, потом сургуч у дяди... Ай, Мати Пресвятая Богородица! — прошептала она вдруг, вся вздрогнув, и оглянулась на лестницу, с которой послышался стук двери.

Вслед затем снизу донесся и окрик Степана Марковича:

— Ты опять на чердаке, Машенька?

— Да, я здесь, дяденька... — подала голос племянница. — Кошурку мою ищу... Она давеча убежала и, пожалуй, смерзнет.

— Сколько раз повторять тебе, чтобы с огнем на чердак не ходить!

— Да я не со свечой, а с фонарем... Я, дяденька, сейчас... Кис, кис, кис!

Но дядя лично, должно быть, хотел помочь ей отыскать беглянку, а может быть, и убедиться, точно ли дело в «кошурке». Петрусь едва успел лишь отступить немножко назад за Марусю, как на пороге появился сам Сте-

пан Маркович. Тяжело пыхтя после восхождения по крутой лесенке, он окинул чердак одним взглядом и тотчас, конечно, усмотрел, кроме племянницы, стоявшего в ее тени юного ее собеседника.

— Так вот она, твоя кошурка! Кто ты есть такой и как сюда попал? — строго обратился он прямо к Петрусю.

— А я так... сам по себе... — бормотал в ответ мальчик, которого теперь, при всей его прыткости, оторопь взяла.

— Сам по себе! Нечего, брат, отлынивать. Так я тебя все равно не выпущу. Ну, выкладывай все на чистоту.

«Что ему сказать? — пролетело молнией в голове Петруся. — Соврешь — не поверит; а выложишь все на чистоту, так велит, ведь, связать и сдаст Басманову. А там аминь! Надо, значит, улепетывать».

Единственный выход в одностворчатую дверь чердака на лестницу был заслонен грузной фигурой Биркина. Сбить с ног этого увальня и думать было нечего. Оставалось спасаться на крышу.

Наклонившись к фонарю в руке Маруси.

Петрусь мигом раскрыл и задул его, а затем, пользуясь наступившим полным мраком, юркнул к слуховому окошку.

— Эй, молодцы! — гаркнул во все горло Степан Маркович.

Но пока он дождался своих молодцов, Петрусь вылез уже в оконце и на четвереньках, — чтобы в темноте не сорваться вниз, — перебрался по доске к такому же слуховому окошку соседнего дома. Хотя оно также примерзло, но не устояло под давлением его плеча. И вот он уже на другом чердаке. Но воздушный мост мог сослужить такую же службу Биркинским молодцам; надо было его уничтожить. И он потянул к себе доску, а когда она отстала от Биркинского чердака, он выпустил ее из рук, и она с глухим стуком грохнулась вниз на двор.

— Теперь милости просим! — усмехнулся казачок про себя.

«Но как выбраться отсюда? Ишь, темень проклятая! Хошь глаз выколи... Ага! Вот и дверь».

Но дверь, как ни напирал он на нее, не поддавалась: знать, была на замке.

«Не прыгнуть ли вниз за доской? А вдруг угодишь прямо на доску, да ногу себе свихнешь, а то и совсем сломишь».

Он высунулся из оконца и заглянул в глубину. Ночной мрак, да крутившийся в воздухе снег мешали что-либо видеть; но до слуха его донесся снизу чей-то голос:

— Вот тут и обождем. Как соскочит, так и сцапаем.

«Оце ще! Ах, разбойники! Куда ж теперь? На крышу разве? Коли скатишься оттуда, так и не на двор к ним по крайности, а на улицу».

Сколько раз ведь ему случалось уже забираться на верхушки деревьев за птичьими гнездами; а на Запорожской Сече, когда поднимали новый колокол на колокольню, он раньше всех был на верхней перекладине, чтобы перебросить веревку. С ловкостью акробата он с выступа слухового окошка взвился теперь одним взмахом на крышу. Но, как на грех, в эту самую минуту ветром разогнало тучи, заволакивавшие небо, и там проглянуло несколько звезд. На этом-то звездном фоне так отчетливо вырисовался черный силуэт мальчика, усевшегося верхом на коньке кры-

ши, что стоявшим внизу на дворе молодцам Степана Марковича нельзя было его не заметить.

— Эвона: он уже на крыше! — крикнул опять тот же голос. — Беги-ка кругом на улицу, а я здесь постою. Эй, ты! слезай-ка доброй волей. До утра там все равно ведь смерзнешь.

«Еще бы не смерзнуть: ветер совсем ледяной и насквозь продувает — брррр! За трубой хоть схорониться».

Скользя на руках и коленях по покатою, занесенной снегом крыше, Петрусь дополз до трубы.

«А труба-то ведет ведь в какую ни на есть печь. Сидеть в печи во всяком разе и теплее и вернее».

Он влез в трубу и свесил в нее ноги, а потом, держась руками за край, стал осторожно спускаться внутрь трубы. Всем телом упираясь в стенки коленками и локтями, он скатился довольно плавно до самого дна печи в нижнее жильё дома. Но сорванная им при этом сажа, покрывавшая густым слоем дымовой ход, ударила ему в нос, и он чихнул.

В ответ из-за железной заслонки (печь бы-

да так называемая варистая — для печенья хлеба и варки пицци) раздался женский, как бы старушечий голос:

— С нами сила крестная! Кто это там?

— Это я, бабуся, — отозвался Петрусь самым умильным тоном.

— Да кто ты?

— А вот откроешь заслонку, так увидишь. Не томи, родная, выпусти из пекла.

— Так вот и выпущу! Может, ты сам нечистый!

— В печной трубе чище не станешь. Сжалься, бабуся! Изжаришь меня, так все равно ведь кушать не станешь.

— Тьфу, тьфу!

— Ну, полно, бабуся. Душой-то я такой же добрый православный, как и ты, вот те крест. Выпусти!

Что говоривший заявлял себя добрым православным и поминал крест, — значительно успокоило старуху. Она стала осторожно отодвигать заслонку. Но выставившаяся оттуда чумазая от сажки образина более или менее отвечала, должно быть, ее представлению о враге рода человеческого: она взвизгнула и

хотела задвинуть опять заслонку. Да не тут-то было: Петрусь протиснулся уже вперед и вслед затем соскочил к ней на пол.

— Здорово, бабуся!

Сгорбленная старушонка, со сморщенным, как печеное яблоко лицом, выпучила на него свои подслеповатые глаза. Но и сквозь сажу цветущее лицо казачка было так свежо и благообразно, его открытый бойкий взгляд светился таким добродушным лукавством, а смеющийся рот сверкал такими славными белыми зубами, что у старухи отлегло от сердца.

— Ишь, как перепачкался! — прошамкала она, укорительно качая головой. — И как ты в печь-то залез?

— Сверху, бабуся: скатился как на салазках.

— Ах, пострел! Ему еще смешно. Не расшибся, касатик?

— Нет, Бог милостив. Под ноги мне спасибо, попался пирог, что ли?

Бабуся заглянула в печь и всплеснула руками.

— Ну, так и есть! Смотри-ка, смотри сам, что ты наделал!



На железном листе, который она выдвинула из глубины печи, действительно, лежал большой пирог. Подрумянился он на славу, но середина его была растоптана, и из-под коры выпирала зернистая каша с грибами.

— А есть-то все же, чай, можно, — сказал Петрусь и без церемоний загреб себе целую пригоршню каши.

— Вот озорник! — напустилась на него старуха. — Ведь пирог-то для сотника моего...

Каша застряла в горле у Петруся.

— Для сотника? — переспросил он с полным ртом.

— Ну да, господин, мой — стрелецкий сотник. Нарочно на ужин себе заказал любимый пирог с кашей и с грибами. Ох, ох! Что я скажу ему теперь?

— Скажешь, что не удался, перегорел.

— А про тебя что сказать?

— Про меня — ни гу-гу, бабуся, ни Боже мой! Ведь за мной погоня...

— Погоня? Так это из-за тебя на дворе крик да гам?

— Из-за меня бабуся.

— А кто же гонится за тобой?

— Да этот купец Биркин с молодцами. Я от них на чердак; а с того чердака на здешний доска переложена. Перелез — да на крышу, а с крыши в трубу...

— Так ты, может, обокрал Биркина? Коли; так...

— Нет, бабуся, — перебил Петрусь, — николи я не был вором, да и не буду. Но есть у Биркина, может, знаешь, племянница...

— Марья Гордеевна? Ее-то не знать, этакую милочку и умницу! Так при чем она тут?

— Принес я ей нонче, видишь ли, поклон от суженого.

— А, а, а! — встрепенулась вдруг старушонка, и в тусклых глазах ее засветился на минутку живой огонек. — Так она тоже уж просватана?

— Не то, что просватана, а сговорена; но дяде-то ее, Степану Маркычу, покамест ничего еще о том не сказано...

— Та-ак. Ну, это дело, как хочешь, неладное!

— Отличное дело, бабуся, лучше не надо. Суженый-то ее, знаешь, из каких?

— Из каких?

— Из бояр.

— Вот на!

— И больше того: из князей высокородных.

— Ну! Да как же он невесту себе берет не из боярышень тоже, а из простого купецкого рода?

— Да разве Марья Гордеевна, по твоему, бабуся, не стоит иной боярышни?

— Что говорить. Хороша, как ангел небесный, и душа ангельская... А он-то, может, уже в летах? А то и собой неказист?

— О! Совсем ей под стать: и молод-то и красив на диво. Сама ты, бабуся, на него бы загляделась, глаз бы не отвела.

— Вишь, что выдумал! — усмехнулась бабуся своим беззубым ртом. — А звать-то его как?

— Ну, этого я тебе, прости, не скажу. Скажу только, что он состоит при нашем царевиче.

— При каком это?

— Да царевич-то русский ведь один. Дмитрий.

— Этот, что воует тут с нами?

— Он самый.

— Да нешто он взаправду царский сын? У

нас здесь бают, будто то обманщик, самозванец.

— Заправский царевич, бабуся, уж это на совесть.

— Ну, об этом, миленький, не нам с тобой судить. А вот, что теперя-то мне с тобой, шалопутом, делать, скажи!

— Выпустить тихомолчком на улицу, а там уж мое дело.

— То-то твое дело! Ироды эти верно стерегут тебя там.

— А ноги-то у меня на что?

— На добрый конец убежишь, а мне, старухе, все же быть за тебя в ответе!

— Это зачем?

— Да как же: увидят, что выскочил из нашего дома; доложат моему сотнику, а он все уж визнает, доберется до меня, грешной... Ох, ох, ох!

— Так вот что, бабуся, — сообразил Петрусь, — обряди меня бабой.

— Бабой?

— Нуда, чтобы никак уже, значит, не узнали. Ведь какая ни на есть завалящая, ненужная одежонка у тебя, верно, найдется?

— Ишь ты, ведь, выдумщик какой!

— Так найдется, бабуся?

— Найдись-то как не найдись.

— Давай же сюда поскорее; не то меня еще у тебя накроют.

— Упаси Бог и все праведники его! Ухватившись за поданную мысль, бабуся раскрыла свой сундук и не без сожаления, конечно, (что доказывали новые вздохи), достала оттуда ветхую юбку и старый-престарый шерстяной платок. Две минуты спустя наш казачок преобразился в такую же, как она, старушонку.

— Вот за это, бабуся, сугубое тебе спасибо, — сказал он. — Дай-ка, я тебя расцелую.

— Ну, ну, отстань, и меня-то еще сажей своей вымажешь! Ступай, ступай.

И она почти насильно выпроводила его на лестницу.

— Смотри же, касатик, не попадись им в лапы! — были ее последние слова. — Сама-то я на улицу уже не выйду. Храни тебя Господь.

На улице Петруся снова охватило снежной вьюгой. Плотнее закутавшись в свой дырявый платок, он перебрался на противополож-

ную сторону, чтобы прошмыгнуть незаметней. Тем не менее, когда он поравнялся с Биркинским жильем, стоявший там у калитки человек, без сомнения, один из молодцов Степана Марковича, оглянулся и окликнул воображаемую бабу:

— Куда торопишься, молодка?

Петрусь счел, однако, за лучшее на этот раз промолчать и, по-женски подобрав взвиваемую ветром юбку, пустился бегом.

Вот и городская стена, а вон и всход наверх. «Чем отыскивать еще амбар Биркиных, да пробираться потом в темноте этим подземным ходом, не прыгнуть ли прямо со стены?»

И он уж на стене.

— Куда тебя, дуру, нелегкая несет? Назад! — гаркнул расхаживавший по стене часовой.

Не отвечая, Петрусь подбежал к краю стены. Часовой — за ним и хватить за платок. Но платок остался у него в руках, а Петрусь совершил уже свое *salto mortale* с пятисаженной вышины.

— Господи, благослови!

Толстый слой снега несколько умерил си-

лу падения. Но одна нога мальчика запуталась в развеваемую ветром юбку и подвернулась. Он растянулся во всю длину. В тот же миг около самого уха у него прожужжала пуля, пущенная вслед ему часовым. Когда он тут приподнялся, то ощутил в ноге тупую боль.

«Не сломал, кажись, свихнул малость, и то слава Богу».

Он сорвал с себя последнюю принадлежность бабьего наряда — юбку, отслужившую свою службу, и, весело посвистывая, заковылял к мерцавшим в отдалении огням польского лагеря, предвкушая удовольствие, с которым станет рассказывать своему господину о своих молодецких похождениях.

Глава восьмая

КАК ДВОЕ ТОНУТ И ДРУГ ДРУГА ТОПЯТ

Тем временем Балцер Зидек рыскал по лагерью от костра к костру, балагурия и зубоскаля с гревшимся у огня воинством. Благодаря своему острому языку, он имел в лагере большую популярность: очень уж занятно ведь большинству людей послушать, как пробирают их ближних.

Вдруг со стороны траншеи послышались спорящие голоса; потом из темноты вынырнули три фигуры: двух пушкарей и прихрамывающего между ними мальчика без шапки, с разодранным воротом.

«Эге! Да это никак щур князя Курбского: на ловца и зверь бежит!»

— В чем провинился хлопчик, панове? — спросил Балцер Зидек пушкарей.

Зная, каким влиянием пользуется у гетмана его шут-любимец, те с готовностью объяснили, что хлопчик попался им в руки, когда перелезал вал траншеи.

— Верно, ясновельможный пан его велел ему оглядеть траншею, все ли у вас там в порядке. Так ведь? — обратился шут к Петрусью.

— Так, — поддакнул казачок, обрадованный такой неожиданной поддержкой. — Они же, вишь, мне и ворот оборвали...

— А зачем, брат, пошел наутек? — заметил один из пушкарей. — Влез-то ведь он в траншею не отселе, а оттоле — от крепости; значит, был в крепости у москалей.

— Вовсе еще не значит, — притворно вступился за хлопчика Балцер Зидек, — когда он перелезал на ту сторону траншеи, вы его проспали; ну, а будучи на той стороне, он должен же был перебраться обратно. Ведь вы ничего, конечно, не нашли на нем?

Пушкарь замаялся и переглянулся с товарищем.

— Да мы его еще не обыскивали, — признался он.

— И не к чему: все равно ничего не нашли бы. Но сам хлопчик сейчас вывернет свои карманы, чтобы вы не думали...

— А пускай их думают, что хотят! — уперся тут Петрусь. — Надо мной волен один госпо-

дин мой — князь Курбский; к нему меня и отведите.

— Очень нужно нам из-за таких пустяков беспокоить его княжескую милость! — сказал Балцер Зидек. — Не сам же князь своими белыми руками станет рыться по твоим грязным карманам! Или, может, у тебя там какие диковины, что и показать нам жаль?

Говорилось все это с усмешечкой, даже как будто без обычного ехидства; только в бегавших по сторонам, рысьих глазках потешника блистал какой-то зловещий огонек.

— Верно, что диковины! Обшарить бы его! — со смехом подхватили лежавшие вокруг костра ратники: они были рады какому бы то ни было развлечению в своей серой походной жизни.

— Глас народа — глас Божий; ну, что ж, панове, — отнесся Балцер Зидек к двум пушкарям, — обшарьте, стало быть.

Те только ждали этого, и как ни барахтался в их руках Петрусь, как ни брыкался, наружные карманы его были выворочены. К немалому разочарованию зрителей там не нашлось, однако, ничего, кроме медной мело-

чи да хлебных крох.

— Что же я говорил? Он чист, как голубь, — заметил Балцер Зидек, — крошками одними питается, голубочек! Конечно, и за пазухой у него ничего не найдется.

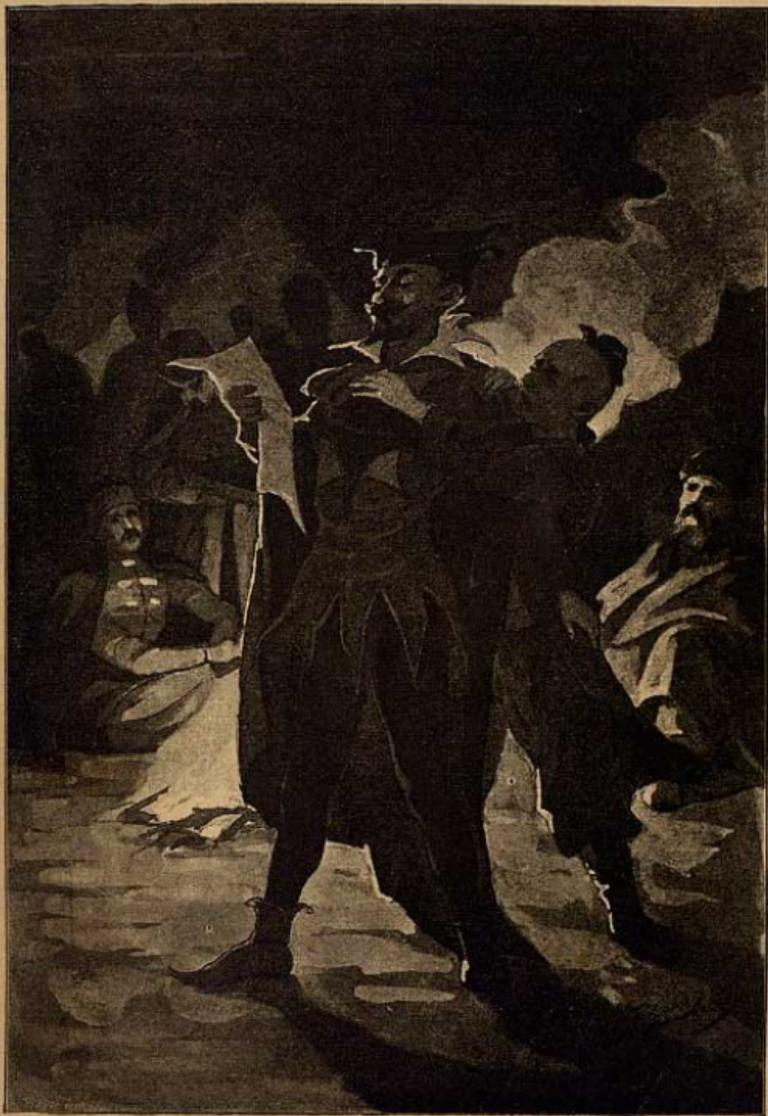
И он уже собственноручно залез за пазуху мальчика. Тот рванулся назад, но достиг только того, что у него отскочила верхняя пуговица жупана, и что пушкари еще крепче схватили его за локти. Рука Бацлера Зидека змеей проскользнула во внутренний кармашек его жупана и извлекла оттуда письмо Маруси Биркиной

— Эге-ге! Цидулочка какая-то...

— Отдайте мне ее назад, Балцер! Сейчас отдайте! — вне себя крикнул Петрусь, тщетно вырываясь из державших его жилистых рук. — Письмо это не к вам...

— А я так думаю, что именно ко мне. Повернувшись к огню костра и лукаво прищурясь одним глазом, Балцер Зидек начал разбирать нечеткую, очевидно, наскоро сделанную русскую надпись:

— «Его милости князю Михаиле Андреевичу Курбскому...»



Но в это время Петрусю удалось оттолкнуть от себя одного из пушкарей. Не успел шут уберечься, как письмоцо было выхвачено у него из рук и полетело в самую середину пылающего костра, где в то же мгновение превратилось так же в огонь и дым. Балцер Зидек точно вырос вдруг на целую голову, а насмешливые черты его исказились сатанинской злобой.

— А! Попался, изменник, — прошипел он, с торжествующим видом озираясь на окружающих. — Вы все ведь, Панове, слышали сейчас, что письмо это было к его милости князю Михайле Андреевичу Курбскому?

— Слышали, как не слышать, — был единодушный ответ.

— А откуда шло к нему письмо? Из крепости от москалей. Что из того следует? Что его княжеская милость, без ведома пана гетмана, переписывается с москалями. А кто переносит их письма взад и вперед? Этот вот голубочек. Так голубочек ли он, полно? Нет, он — гнусный клоп! А что делают, скажите, с клопами?

— Их давят! Жгут! Веревки на него жалко!

В огонь клопа! — раздались кругом негодующие голоса.

Два пушкаря были, казалось, непрочь и на этот раз послушаться «гласа народного»; но Балцер повелительным жестом предупредил скороспешную экзекуцию:

— Стой! Не будет щура, так и господин от всего, пожалуй, отопрется. А в господине вся сила: птица крупного полета! Клопа же раздавить всегда успеем. Отведите-ка его к пану Тарло; а уж тот доложит пану гетману.

Приказывал это уже не потешник, а приближенный пана гетмана, и пушкарям нельзя было не исполнить приказа.

Недолго погодя в комнату к Курбскому вошел пан Тарло с приглашением пожаловать к пану гетману. Хотя ему при этом и не было сказано, для чего его требуют, но уже по тому надменному презрению и чувству удовлетворения, которые слышались в звуках голоса, светились в черных глазах его недруга, Курбскому нетрудно было догадаться, что его ждет что-то очень неприятное. То настроение, в котором он застал затем гетмана и находившихся уже в его кабинете царевича и шута, точно

также не предвещало ничего доброго. У старика Мнишека, встречавшего Курбского всегда очень приветливо, на этот раз вид был какой-то насупленный, а у Димитрия — крайне озабоченный и печальный. Тем не менее, царевич постарался придать своему голосу возможное дружелюбие, когда обратился к входящему с такими словами:

— Ты был мне всегда самым верным другом, Михайло Андреич; и теперь я не потерял еще в тебя веру. Но потому-то я и не хотел допрашивать тебя с глазу на глаз: да не помыслят, что я тебя подучил, — как отвечать.

Курбский смотрел на него без всякого замешательства, с недоумением человека, не знающего за собой никакой вины.

— Прости, государь, — сказал он, — но по словам твоим выходит, будто бы я должен в чем ответ держать...

— К чистому никакая грязь не пристанет, — заговорил тут Мнишек, проводя ладонью по своему голому, лоснящемуся темени, — что служило у него всегда знаком сильного душевного волнения. — Двумя словами, любезный князь, вы можете рассеять тяготе-

ющее над вами обвинение. Скажите: в каких сношениях вы находитесь с Басмановым?

Курбский выпрямился во весь свой внушительный рост, и глаза его засверкали благородным негодованием.

— Я с Басмановым? — переспросил он, оглядывая всех присутствующих. — Да кто посмел взвести на меня такой поклеп? Уж не вы ли, Балцер? — сообразил он по ядовитой усмешке, искривившей тонкие губы шута.

— О, ваша княжеская милость! — отозвался тот с откровенным нахальством. — Коли у вас есть на то свой близкий человек, так дерзнули ли я непрошено оказывать вам услуги.

«Петрусь был в замке у Биркиных и на обратном пути попал в руки поляков».

От этой мысли Курбскому нельзя было уже не смутиться. Мертвенная бледность, покрывшая вдруг его лицо, не ускользнула от внимания Мнишека. Он кивнул своему адъютанту:

— Введите-ка сюда арестанта.

«Если арестант этот — мой Петрусь, то про Марусю я не дам ему сказать ни слова», — решил про себя Курбский.

Арестантом, в самом деле, оказался Пет-

русь, и когда глаза последнего, как бы вопрошая, прежде всего остановились на его господине, этот покачал отрицательно головой: «молчи, дескать, не проболтайся».

— Пожалуйста, князь, без тайных знаков! — сухо заметил гетман; затем обернулся к хлопцу. — У тебя при обыске нашли письмо. Ты не хотел отдать его в чужие руки и бросил в огонь. Очевидцами этого были Балцер Зидек и все ратники у костра. Стало быть, отпираться от этого тебе было бы напрасно.

— Я и не отпираюсь, — отвечал Петрусь, смело глядя в глаза допросчику.

— А к кому было письмо?

— Почем мне знать? Я неграмотный.

— Да я-то грамотный! — подхватил тут Балцер Зидек. — На затыле письма стояло: «Его милости князю Михайле Курбскому». Аль не слышал, как я читал?

— Слышал; да мало ли что ты прочитаешь, чего вовсе и не написано! Сбрехнуть на добрых людей такому злоке ничего не стоит.

Что тот, действительно, был «злюкой», доказал поток отборной брани, излившейся теперь из уст его на казачка. Но старик-гетман

властно предложил шуту не забываться, а потом обратился снова к допрашиваемому:

— Да кто-нибудь же передал тебе то письмо?

— Никто не передавал.

— Откуда же ты взял его?

— В поле поднял.

— В каком месте?

— В каком месте?.. Да около траншеи. Э! Думаю, кто-нибудь обронил. Покажу-ка своему князю...

— Прекрасно. Но для чего же ты в таком случае бросил его в костер?

— Чтобы оно этому аспиду не досталось. Находка — моя; а он ее силой, вишь, у меня отбирает. Так вот, небось, у него и оставлю! Не мне, так и не ему!

— Ловок ты, я вижу, на всякие увертки, — сказал Мнишек. — Но это тебе, любезный, ни к чему не послужит.

— Да отсохни у меня язык.

— Не гневи Бога! Как раз отсохнет. Мы и без тебя все доподлинно уже знаем...

— А знаете, так чего вам еще от меня? Вызывающий тон мальчика взорвал, наконец,

гетмана.

— Под нагайкой ты, авось, запоешь другую песню! — сказал он. — Пане Тарло! Сдайте-ка его моим гайдукам.

— Погодите, пане Тарло, — вступился тут Димитрий. — Я думаю, что мы обойдемся и так. Ты, хлопец, ведь из казаков.

— Из запорожских, государь, — отвечал тот по-прежнему бойко, но без прежнего задора.

— И видел, конечно, как допрашивают нагайкой?

— Безвинных? Не случилось.

— А виновных?

— Видел, государь.

— Так иной допрос стоит иного наказания.

Подумай-ка хорошенько...

— Я уже подумал. Ты, княже, не крушись обо мне, — отнесся мальчик к своему господину, — шкуры ведь не сдерут, а потерпеть за тебя для меня в удовольствие.

Курбский готов был прижать своего верного казачка к сердцу. Но избавить его от страстного допроса было всего одно средство — открыться всем присутствующим в

своих чувствах к Марусе; а против этого все в нем возмущалось: и себе-то ведь он боялся еще признаться в тех чувствах... Да и дали бы ему еще веру? При перекрестном допросе вывели бы, пожалуй, от него или от Петруся про Биркинскую лазейку в крепость, потребовали бы, чтобы показать им эту лазейку...

«Нет, лучше обо всем молчать!»

А пока он так колебался, гетман повторил адъютанту свое приказание вывести арестанта. Пан Тарло толкнул последнего кулаком в шею.

— Ну, чего стоишь? Марш!

И дверь затворилась за обоими. Мнишек наклонился к Димитрию и стал с ним шептаться.

— Обождем, — произнес со вздохом царевич, пожимая плечами.

До возвращения пава Тарло прошло едва ли более десяти минут; но Курбскому, болевшему душой за своего хлопца, они показались столькими же часами.

— Ну, что, сознался? — был первый вопрос Мнишека входящему адъютанту.

Разгоряченное и хмурое лицо пана Тарло

еще более омрачилось...

— Нет, не сознался, — пробурчал он сквозь зубы. — Преупрямый мальчишка!

— Вы обошлись с ним, может быть, чересчур мягко?

— Какое мягко! Рука у меня устала.

— Так вы допытывали сами?

— Сам: все вернее. А он как воды в рот набрал, хоть бы пикнул!

— Так поджечь бы ему чуточку пятки, — предложил со своей стороны Балцер Зидек, — радикальное средство, испытанное с большим успехом инквизицией. И если бы пан гетман мне дозволил...

— Покамест об этом не может быть и речи, — прервал пан Тарло, — надо ему еще почувствоваться.

— Гм, — промычал Мнишек, — так он, значит, без памяти?

— Да. Слабосильная натура!

— Или же рука у вас, пане, не в меру тяжелая. Что же нам теперь делать? Вы поймите, князь, что в избежание всяких кривотолков, впредь до разьяснения этого темного дела, неудобно оставить вас на свободе; до поры до

времени вам придется посидеть также под арестом.

Курбский молча поклонился.

— Под домашним, конечно, — добавил от себя Димитрий, избегая, однако, взглянуть на своего друга. — Я за тебя, Михайло Андреич, ручаюсь перед паном гетманом.

— И на том спасибо, государь! — не без горечи поблагодарил Курбский. — Мне можно, стало быть, идти?

Глава девятая

ГОРДИЕВ УЗЕЛ

Второй день уже Курбский отбивал свой домашний арест. Кушанья ему присылались с гетманского стола на серебряных тарелках; не забывались даже обычные «заедки»: цукаты, марципаны, шептала, имбирь в патоке... Но Курбский едва к чему прикасался.

Снова наступил вечер, и Курбский, засветив свечу, раскрыл Евангелие, с которым не разлучался даже в походе. Не раз уже в святых поучениях нашего Искупителя находил он душевное успокоение и утешение. Теперь же мысли его с большим трудом следовали за тем, что читали глаза, и стоило ему закрыть глаза, как перед ним, точно наяву, являлось милое девичье личико, но бледное, скорбное и орошенное слезами. Он насильно отгонял от себя дорогой ему образ и принимался опять читать, принуждая себя всей силой воли вникать в деяния и слова Христовы. Как всегда, и на этот раз они постепенно оказали на него благотворное действие. Он, наконец,

до того отвлекся от действительности, что не расслышал, как открылась за ним дверь, не заметил, как кто-то приблизился к нему тихой, кошачьей поступью. Только когда вошедший слегка тронул его за плечо, он вздрогнул и приподнял голову. Перед ним стоял старший из двух духовных советчиков царевича, патер Николай Сераковский.

— Сидите, сидите, сын мой, — заговорил патер ласково-грустным тоном, пододвигая себе другой стул. — Вы, я вижу, ищете последнее *refugium* (убежище) в Святом Писании? Ах, да! Земное счастье — неверный друг, несчастье же — честный враг, благодаря коему сколько заблудших обращается на путь истины!

Курбский давно убедился в двуличности этого, как он знал, тайного иезуита, а потому холодно прервал его вопросом, чему он обязан честью его посещения.

— Но без глубокой веры все-таки несть спасения, — продолжал Сераковский, точно не слыша его вопроса. — Ведь и вы, сыны греческой церкви, веруете в того же Всевышнего Бога, в того же Христа Спасителя, что и мы,

приверженцы святого папского престола; для вас не менее, чем для нас, дорого слово Божье, особенно когда смертный час близок. Умирать и старикам-то тяжело, а в такие цветущие годы, когда жизнь еще улыбается, — о!..

Сердце в груди у Курбского сжалось, дыхание сперло.

— Что вы хотите этим сказать, преподобный отец? — спросил он. — Что и мой смертный час близок?

Патер устремил на него соболезнующий взор, но уклонился опять от прямого ответа: ему надо было подготовить почву для окончательного удара.

— Не все ли мы под Богом ходим? — сказал он. — Еще Сенека, мудрец седой древности, говорил: «Ты неизбежно умрешь, ибо родился», иными словами: всякий смертный с момента рождения приговорен к смерти. А в военное время приговор этот висит над каждым из нас Дамокловым мечом. Война — увенчанная лаврами фурия: а чего, скажите, ждать от фурии?

— Не мучьте меня, сделайте милость! — терпя терпение, вскричал Курбский. — Скажите

просто: по решению военного суда я должен умереть?

Иезуит со вздохом утвердительно преклонил голову.

— Военное время! — повторил он, как бы в оправдание суровости приговора. — От измены, как от острой заразы, не может быть слабых средств. *Quae medicamenta pop sanat, ferrum sanat; quae ferrum pop sanat, ignis sanat* (чего не излечит лекарство, то излечит железо, чего не излечит железо, то излечит огонь).

— Но я не изменник!

— Об этом не мне судить; это — дело военного совета. В совет были приглашены все региментары (полковые командиры), и декрет состоялся единогласно: *roena colli* (смертная казнь).

— Единогласно! Но неужели и сам царевич тоже...

— Покровитель ваш, царевич Димитрий, и на сей раз выступил вашим речником (защитником); он требовал по крайней мере вашей интерпелляции (вызова для объяснения). Но — один в поле не воин, говорит ваша русская пословица; в конце концов и ему,

увы! пришлось подчиниться общему постановлению.

Курбскому сдавалось, что перед ним разверзлась бездна, в которую его сейчас вот толкнут. В глазах у него потемнело, по телу пробежали мурашки. Но выказать упадок духа перед этим иезуитом, — ни за что! Он стиснул зубы и, немного помолчав, произнес уже довольно спокойно:

— Ну, что ж, значит, воля Божья! Меньше жить — меньше грешить. И когда же все кончится? Отсрочки никакой уже не будет?

— На походе дилиция (судебная отсрочка) не применима. Если бы вы вышли теперь на улицу, то услышали бы за лагерем стук топоров.

Курбский вскочил со стула.

— Как! — вскричал он. — Меня хотят повесить? И царевич не мог выговорить для меня даже честную пулю?

— В этом отношении вам нечего беспокоиться, сын мой, — отвечал не без иронии пater, — вы — воин, и потому, согласно регламенту, умрете воинской смертью, но приговор вам все-таки прочтут у пренгира (позор-

ного столба), сооружаемого рядом с виселицей.

— О, Боже праведный! Но виселица для кого же?

— А для вашего хлопца, который, правду сказать, обязан этим только вам.

— Но это ужасно, это такая вопиющая несправедливость!..

Курбский заметался по комнате, ломая руки.

— Вся вина его ведь в том, что он, по своему усердию, не по разуму перемудрил. Не его карай, Господи, а меня одного.

Патер Сераковский следил за своей жертвой глазами хищного зверя; но когда он теперь заговорил, то в медовом голосе его звучало как бы искреннее сочувствие:

— И мне беднягу этого сердечно жаль... Виноват ли он, что еще так молод, что послушен вам так рабски? Я охотно избавил бы его от петли. Но петля эта — в своем роде Гордиев узел: затянуть ее очень просто, развязать же — задача неразрешимая. Есть, правда, одно последнее средство...

Курбский быстро повернулся и подошел к

иезуиту.

— Какое средство, преподобный отец? Говорите!

— Средство, признаться, довольно-таки решительное...

— Все равно, говорите, говорите.

— Он — схизматик.

— Да, как и я, он исповедует православную веру.

— По нашему же — схизму. Отрекись он от православия, перейди в лоно единой истинной, апостольской церкви...

— Этого он не сделает! — горячо прервал Курбский.

— Сам от себя, пожалуй, и нет: для этого он слишком еще глуп.

— Так через кого же?

— Через своего господина.

— Через меня? И вы можете думать, что я стану другого уговаривать отказаться от моей же родной веры?

— Зачем уговаривать? Покажите ему пример: пример ваш был бы для него законом; и спасли бы вы как вашего слугу, так и себя самого.

— Чтобы я по доброй воле отказался от спасения души ради спасения жизни?!

— Никто этого от вас и не требует, сын мой.

— Да не сами ли вы сейчас?..

— Указывал вам средство к спасению вашей жизни, — да. Но то же средство должно спасти и вашу душу. Ведь сколько миллионов людей признают власть римского первосвященника, в том числе немало, конечно, людей столь же просвещенных, как и вы. Сам царевич Димитрий, как небыизвестно вам, признал эту духовную власть.

— С чем я доселе не могу примириться! — вставил опять Курбский.

— И напрасно: с неизбежным должно мириться. Не знаю, дошло ли уже до вас (в то время вы были ведь в отсутствии), но теперь, перед вечной разлукой вашей с земной жизнью, не скрою от вас: его царское величество, перейдя в латинство, с тем вместе дал тайный обет, закрепленный его подписью, не препятствовать нам, ратоборцам латинства, распространять наше учение по всей земле русской. Московские царедворцы, без сомне-

ния, не преминут тотчас же принять веру своего государя, и что же останется вам, его другу, как не сделать то же?

— Я-то ни в каком случае этого не сделаю! — воскликнул Курбский. — Но и насчет других русских вы сильно, думаю, ошибаетесь: русский народ свято чтит все старые обычаи предков, а тем более свою родную веру...

— Это, впрочем, еще далеко впереди, — перебил патер, — и будущее покажет, кто из нас был прав: вы или я. Как бы там ни было, к вам я зашел теперь с ведома самого царевича: ему очень, кажется, дорога ваша жизнь; но своею властью прибавить вам он не может и часу времени. Жизнь ваша, как видите, висит на волоске; к утру волосок оборвется...

— И пускай! Я умру, по крайней мере, с чистой совестью, в родной моей вере.

— А смерть хлопча ничуть не потревожит вашей совести?

Курбский на минутку задумался, но только на минутку.

— Хлопец мой не умрет, — сказал он убежденно. — С моей смертью он не будет уже ни-

чем связан, и вы узнаете от него всю истину.

— Если мы ему поверим! — возразил Сераковский.

— Не вы, так царевич поверит. Я оставляю ему на всякий случай еще письменное признание, а такому посмертному признанию он не может не поверить. Но времени для этого, простите, осталось у меня очень немного; а потом мне надо еще последние часы жизни побеседовать с Богом.

С этими словами Курбский приподнялся с места, давая тем понять, что считает разговор оконченным.

Патер не мог не видеть, что дальнейшие убеждения будут бесплодны.

— До сих пор, любезный князь, я уважал вас стойкостью воина, а теперь уважаю и стойкостью христианина, — произнес он с глубокой, по-видимому, искренностью, также вставая и протягивая Курбскому на прощанье руку. — Тем больнее мне, что вы не такой же христианин, как я сам. Быть может, вы пожелали бы все-таки несколько ближе ознакомиться с главными началами апостольской церкви? Со своей стороны я приложил бы все

старания, чтобы на сей конец исполнение приговора было на день, на два отсрочено...

— Благодарствуйте, — сдержанно поблагодарил Курбский. — Но мои ближайшие родственники: мать, брат и сестра — католики, а потому мне хорошо известно различие между их верой и моею, которую я один из всей нашей семьи исповедую после моего покойного родителя. В этой же вере я и умру.

— Вольному воля! Вы сами затягиваете свой Гордиев узел.

Иезуит был, очевидно, крайне раздосадован своей неудачей. От Курбского он прошел прямо к Димитрию, который уже ждал его и встретил словами:

— Ну, что, убедили?

— Увы! Все мои аргументы отскакивали от него, как от каменной стены.

— Я так и знал! А между тем он мне теперь нужен более, чем когда-либо прежде...

— На что, государь, смею спросить.

— Я собирался послать его в Москву...

— Не с эпископией ли к узурпатору вашего престола?

— Да, к Годунову: может быть, мне все же

удалось бы убедить его, что Божьим Промыслом я спасся от убийц в Угличе...

— От тех, которых он сам подослал? — с иронией добавил патер.

— Зачем колоть ему этим глаза? Если он в том повинен, то внутренний голос ему это и без того подскажет.

— Ну, знаете, ваше величество, полагаться на чужой внутренний голос — в наши времена довольно трудно.

— Но я еще объявлю ему, что не сложу оружия, доколе не воссяду на престол моих предков; что благо русского народа столь же дорого, если не дороже, чем ему самому, но что в последней битве пало русских четыре тысячи человек, и кровь их вопиет к небу...

— Все это так, да тронет ли его черствое сердце?

— Оно не черство, *clarissime*: о народе своем он печется всеми мерами.

— Печется затем, чтобы народ его ценил и не вырвал скипетра у него из рук. Кто извдал раз прелесть власти, тот, поверьте мне, отказаться от нее уже не в силах.

— Быть может, вы и правы... — проговорил

задумчиво Димитрий. — Во всяком случае, я хотел бы испытать еще этот миролюбивый путь, чтобы упредить новые потоки крови. И вот для этого-то дела мне нужен такой преданный человек, как Курбский.

— Ваше величество по-прежнему еще верите в его преданность?

— Сердцем все еще верю, clarissime, наперекор даже уму.

— Но ум все-таки заставляет вас сомневаться в нем? Если же так, то не безрассудно ли, согласитесь, давать ему столь важное поручение? И будто у нас здесь не имеется для того других людей, вполне уже верных и вдвое опытнее?

— Кто, например?

— Да хоть бы коллега мой, патер Лович. За него-то я отвечаю, как за самого себя. Кстати же на него можно было бы возложить тогда и другое поручение, еще более ответственное, на случай, что первое не увенчалось бы желанным успехом.

— Да что может быть еще ответственнее?

— А изволите ли видеть...

Иезуит опасно оглянулся кругом и подо-

шел к двери, чтобы удостовериться, плотно ли она притворена.

— Дело вот в чем, — продолжал он, таинственно понижая голос. — Легат вашего величества, прибыв в Москву, был бы принят, конечно, в царском дворце. Между придворными чинами найдутся, без сомнения, и такие, которые не глухи к разумному слову и... звону золота. Ну, а если вскоре затем царь Борис волею Божьей внезапно захворает и отойдет в лучший мир (все мы смертны!), то цель наша будет достигнута сразу без пролития единой капли крови, и народ московский с радостью призовет к себе своего законного царя Димитрия.

В чертах Димитрия изобразились ужас и отвращение.

— Я не желаю понять вас! — сказал он. — Если Провидению угодно, чтобы я царствовал на Москве, то оно поведет меня туда своими путями без всякого насилия. Что тебе нужно? — обратился он к появившемуся в дверях гайдуку.

Тот доложил, что какая-то женщина Христом-Богом молит допустить ее к его царским

очам.

— Женщина в нашем лагере! Да как ее вообще пропустили сюда?

— Не могу знать, государь. За темнотою, знать, проглядели.

— И откуда она?

— Господь ее ведает: имени своего не называет, сама платочком закрывается, чтобы не показать лица.

— Отведи-ка ее к пану Тарло: пусть ее допросит.

— Слушаю-с.

Но как только гайдук открыл дверь, чтобы удалиться, мимо него ворвалась в комнату сама просительница и упала к ногам царевича. При этом прикрывавший ее голову платок скатился на плечи, и оба: царевич и иезуит узнали в ней любимую фрейлину панны Марины Мнишек, Мусю Биркину. Димитрий был так поражен, что забыл даже о полном разрыве между двумя подругами. Первой мыслью его было, что фрейлина прислана к нему от его невесты с какою-нибудь ужасной вестью; а потому, выслав из комнаты гайдука, он поднял молодую девушку с пола и спросил ее, не

из Самбора ли она.

— Нет, ближе, государь, — отвечала Маруся, устремляя на него умоляющий, полный отчаянья взор. — До меня дошел слух, что князь Михайло Андреич Курбский должен умереть, и вот... в Польше, я знаю... прощают даже самого закоренелого преступника, если найдется девушка, которая... которая согласна венчаться с ним.

— Правда, clarissime? — спросил Димитрий иезуита.

— У поляков, точно, есть старый закон такого рода, — подтвердил Сераковский. — Когда инкультата ведут на казнь, и из толпы какая-нибудь девушка бросит ему полотенце, то провожающий его ксендз ведет обоих прямо к алтарю...

— И инкультат возвращается к новой жизни — семейной! — подхватил царевич с просиявшим лицом. — Так вы, пани, хотите возвратить моего друга к этой новой жизни?

— Да... ежели он сам только согласится... — пролепетала Маруся, вспыхнув мимолетным румянцем и потупляясь.

— А вот мы сейчас вызовем его сюда и

спросим.

— Погодите, государь, — вмешался тут па-тер. — Вы упускаете из виду, что закон этот старый польский.

— Так что же? Мы в польском лагере...

— Но закон-то писан собственно для поляков, то есть для католиков; а вы, пани Мария, ведь схизматичка?

— Да, православная.

— И князь Курбский точно также. Поэтому воспользоваться вам обоим нашим законом можно не ранее, как перейдя в лоно нашей святой римской церкви.

— Но это невозможно! И князь Михайло Андреич наверно тоже не пойдет на это...

— Почему же нет? Он не останется глух к убеждениям своей прекрасной спасительницы, тем более, что и царственный друг его принял уже латинство...

Если иезуит последним своим доводом рассчитывал понудить царевича оказать и со своей стороны давление на решение Маруси, то ошибся в расчете. Димитрий нахмурился и отозвался отрывисто и решительно:

— Вера — дело совести каждого, житей-

ские же законы для всех одинаковы. Поэтому и тот старый польский закон, о котором у нас речь, пригоден в польском лагере как для католиков, так и для православных.

Все дело в том, откуда взять нам сейчас православного священника...

— Сейчас, государь, нам и без того нельзя было бы венчаться, — заметила скороговоркой Маруся, снова краснея, — до Крещенья у нас, православных, свадеб быть не может.

— И то правда... Этакая ведь досада! А к Крещенью Михайло Андреич должен бы быть уже в Москве.

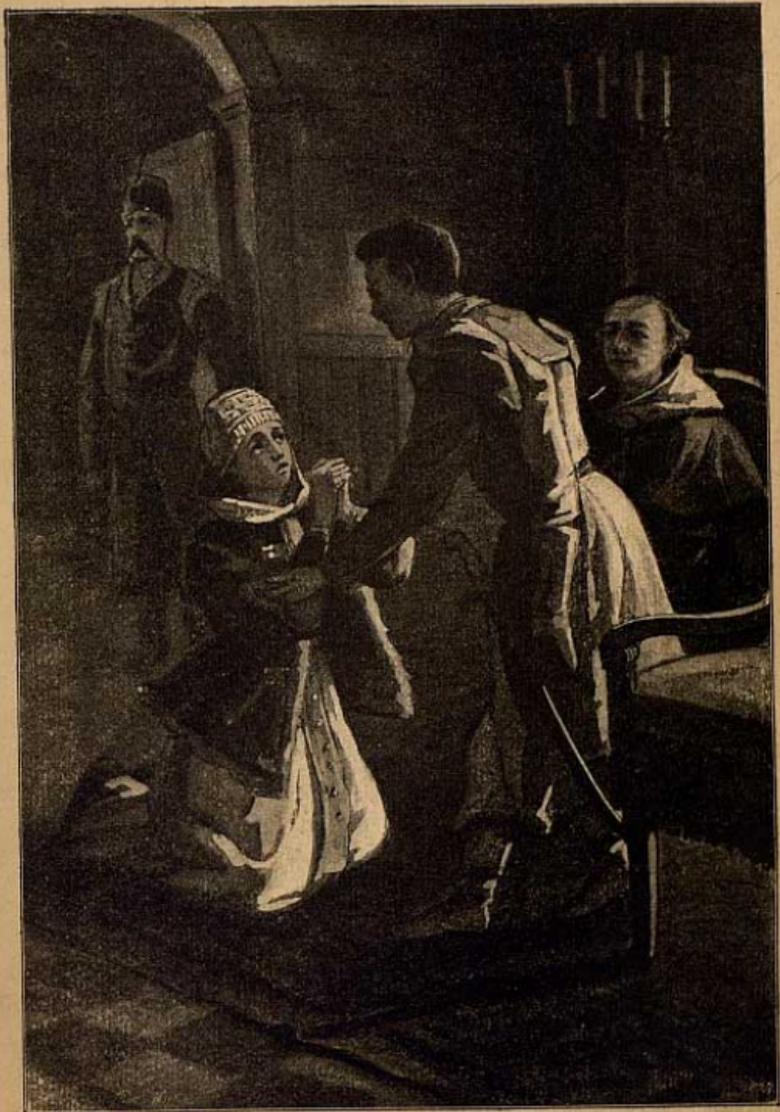
— В Москве? — подхватила, вся встрепетавшись, Маруся. — Ты, государь, посылаешь его в Москву?

— Да, с грамотой к царю Борису. Он ранен и для ратного дела пока все равно не способен.

— А мы с дядей тоже собираемся в Москву: дядя давно уже надумал перебраться туда к своему старшему брату...

— Вот и прекрасно! Там, значит, и повенчаются с князем по православному обряду.

— *Summum jus — summa injuria!* (высшая



справедливость — высшая несправедливость!) — пробормотал Сераковский, которого должна была крайне огорчить такая неудача его замысла. — Мелких предателей вешают, а крупных награждают.

— Князь Михайло Андреич никогда не был предателем! — возразила Маруся с необычной у нее запальчивостью.

— Вы, пани, видно, не знаете, что он уличен в тайной переписке с Басмановым.

— С Басмановым? И вы сами читали эти письма?

— Перехвачено было только одно письмо Басманова на имя князя; но и то не могло быть прочтено, потому что переносчик успел бросить его в костер.

— И переносчик этот был хлопец князя, Петрусь Коваль?

— Да, Коваль.

— Так письмо это было вовсе не от Басманова, а от меня! Я писала князю, что мы с дядей собираемся в Москву, но не знаем, как пробраться через ваш польский лагерь. Коваль же был у нас в замке даже без ведома своего господина...

— Слава Богу! — с облегчением воскликнул царевич. — Стало быть, никакого предательства со стороны князя не могло быть.

— Никакого, конечно. Да и сам Коваль был у меня только по моему же делу.

— В таком случае и его казнить нет законной причины.

— Но ведь все это слова, ваше величество, одни слова, — возразил патер. — Надо их еще формально проверить...

— Полноте, *clarissime*. Кому, как не вам, сердцеведу, с одного взгляда проникать в человеческую душу. Взгляните же на эту молодую панну: ну, может ли этот чистый, ясный взор лгать и притворяться? Дорогой ей человек приговорен к смерти, — и она одна, в темноте, идет во вражеский стан, чтобы спасти безвинного. Все мы — сам пан гетман и весь военный совет — должны бы преклониться перед таким истинным геройством.

— Преклоняюсь и я, пани, — произнес патер с легким поклоном. — Но, сказав нам, что письмо к князю Курбскому было от вас, вы, надеюсь, не откажете удовлетворить наше любопытство и на счет того, каким путем вы

пробрались сквозь нашу воинскую цепь?

— Этого, извините, я вам уже не скажу! — наотрез отказалась Маруся. — Но у меня, государь, была бы к тебе еще великая просьба...

— Повидать Михайлу Андреича?

— Да...

— Еще бы невесте не повидать жениха! А он то, я чай, как будет счастлив!

Появление царевича в сопровождении Маруси Биркиной не столько, впрочем, осчастливило Курбского, сколько ошеломило.

— Ну, что, Михайло Андреич, не ожидал? — заметил Димитрий, с улыбкой глядя на своего совершенно остолбеневшего друга. — Не хочу вам мешать, мои милые, наговориться.

И он оставил их одних. Опустившись на предложенный ей Курбским стул, Маруся, запинаясь, принялась рассказывать о том, как Петрусь Коваль был вчера у нее в замке и спасся каким-то чудом от погони; как нынче вечером Трошка принес из польского лагеря весть о готовящейся казни их обоих: господина и хлопца, и как она, Маруся, тем же потайным ходом тотчас прошла также сюда, в

польский лагерь, чтобы избавить их от позорной смерти.

— И вот, слава Всевышнему, избавила... — закончила она свой рассказ, осеняя себя крестом, и слезы заглушили ее прерывающийся голос.

Курбский слушал ее все время молча, строго сжав губы и не поднимая глаз с полу.

— Ты плачешь, Марья Гордеевна, — заметил он теперь, — значит, что-нибудь верно не так. Ты не скрыла от них ничего?

— Ничего. Промолчала только про твой образок... Зачем им знать?

— Еще бы. А про письмо твое ко мне говорила?

— Говорила...

— И тогда они всему так и поверили?

— Не сейчас... Я сказала им еще... Не гневись, князь Михайло Андреич! Но без этого все было бы напрасно...

Она опять замялась, задыхаясь от стыдливого волнения.

— Да что же ты сказала им еще?

— Что ты... что я будто бы сговорена с тобой...

— Но как ты могла сказать им это! — возмутился Курбский. — Ведь ты хорошо знаешь, что я давно женат?

— Да они-то этого не знают. А есть такой старый польский закон, что даже приговоренного к смерти прощают, если какая-нибудь девушка готова идти с ним сейчас под венец.

— Но мне-то ведь нельзя опять жениться от живой жены!

— Да и не нужно. До Крещенья все равно не венчают; а царевич до тех пор посылает тебя с грамотой в Москву; я с дядей еду туда же, будто бы затем, чтобы там с тобой венчаться.

— А на самом деле?..

— На самом деле, чтобы постричься в монахи. Так лучше, князь, поверь, гораздо лучше! А теперь прощай...

И прежде, чем смущенный ее великодушием Курбский нашелся, что сказать, дверь хлопнулась за нею.

Так Гордиев узел, который не удалось развязать хитроумному иезуиту, разрубила одним ловким ударом слабая девичья рука.

Глава десятая

ДВЕ, ОДНА И НИ ОДНОЙ

Дней десять спустя по большой дороге от Брянска на Калугу мчались две лихие тройки, за которыми едва поспевали парные пошевни, нагруженные разной дорожной кладью. В первых санях сидел Курбский со своим верным казачком, во вторых — Степан Маркович Биркин с племянницей. Последние дни морозило так сильно, а постоялые дворы были так редки, что наши путешественники не раз вылезали из саней и бежали пешком, чтобы отогреть окоченевшие члены. Делать привал в попадавшихся там и сям жалких деревеньках они вскоре закаялись: крайняя неопрятность жилья и людей с мириадами насекомых — этими неизбежными спутниками голой нищеты после нескольких неурожая, — все равно не давала бы спать, а отнимать у голодающих последний кусок хлеба духу не хватало. Из лесной чащи, с наступлением темноты, иногда сверкали огни жадных волчьих глаз. Голодали волки, конечно, не

менее людей: но задорный звон колокольчиков, а еще более, пожалуй, запах пороха, который волки, как известно, чуют уже издали (пистолы у Курбского были заряжены), удерживали лесных хищников на расстоянии. Раз два-три путников останавливали у царских застав; но, по предъявлении ими открытых листов, свидетельствовавших, что они сами — царские люди и едут в Москву по государеву приказу, их пропускали беспрепятственно.

Уже завечерело, когда они добрались опять до постоянного двора, где можно было покормиться и хорошенько погреться. Первым в «чистую» горницу, освещенную горящим в светце пучком лучины, ввалился Степан Маркович. Сбрасывая с себя свою медвежью шубу, он властно гаркнул хозяйке:

— Ну-ка, тетка, что есть в печи, все на стол мечи!

За полторы недели совместного странствия с Курбским, который обращался с ним, как и вообще со всеми, приветливо и просто, Биркин совершенно свыкся с мыслью, что это — будущий муж его племянницы. Со сво-

ей стороны, чтобы не ударить перед ним в грязь лицом, он выговорил себе право продовать его вплоть до Москвы. И вот, из кухни вскоре потянуло заманчивым духом чего-то жареного с луком; а между тем на столе, накрытом скатертью грубого домашнего тканья, появились миска горячих ленивых щей, толокно, пирог с кашей и грибами, разные соленья и моченые яблоки, деревянные жбаны с брагой и имбирным медом.

Степан Маркович, однако, предварительно укрепился из своей дорожной сулеи (фляги) «забористой романеей» и затем уже принялся, как следует, за еду. Смачно чавкая, он даже распоясался, чтобы дать больший простор своему тучному чреву.

— Что же вы, детки мои, не кушаете? — спросил он, видя, что ни Курбский, ни Маруся не торопятся утолить голод. — И оба, гляди-ка, скучные какие! Повздорили меж собой, что ли?

— О, нет! Когда же нам было? — отозвался Курбский.

— И из-за чего? — добавила Маруся; но в голосе ее звучала такая тоскливая нота, что

Биркин внимательно всмотрелся в ее потухшие глаза и головой покачал.

— Не нравишься ты мне, Машенька! Ох, не нравишься! Чего тебе еще, кажись? Из купецких дочерей да прямо в княгини, эго на!

— Сразу не оправившись, Степан Маркыч, — сказал Курбский. — Ведь чего ей намедни натерпеться пришлось! Никогда не прощу я себе...

— А я-то из-за нее мало, что ль, страху натерпелся? — подхватил Степан Маркович. — Ведь я, как никак, должен за нее Богу ответ дать. Как запропала она тогда ввечеру, я туда-сюда: где моя девонька? А она, поди-ко-сь, какое коленце выкинула: к врагам ушла! И откуда ты, матушка, такой смелости набралась? А я из-за тебя всю ночь, почитай, в сокрушении сердечном глаз не сомкнул.

— Прости уж, дяденька, — извинилась Маруся. — Но одной мне темной ночью возвращаться оттуда совсем неспособно было; дали бы мне провожатого из поляков, а тот подглядел бы наш потайной ход. На хуторе же у гетмана пан Бучинский мне до утра свою собственную горницу в верхнем жилье уступил.

— Знаю, родная моя, знаю; спасибо ему за то: обязательный парень, что говорить. Да в те поры-то мне невдомек. Зовут меня, это, поутру на замковую стену: «сам Басманов, мол, требует!» Никола многомилостивый! Что ему от меня? Бегу; у самого поджилки трясутся. Глядь: на стене Басманов со стрельцами, а внизу, под стеной, моя Машенька с этим секретаришком Бучинским, оба платками машут. Что за притча такая?

— Правду сказать, Степан Маркыч, — заметил Курбский, — не надеялся я, что тебе удастся так скоро получить от Басманова открытый лист до Москвы.

— А спроси-ка, милый человек: почему?

— Почему?

Биркин опасливо огляделся на хозяйку, возившуюся до тех пор за своей стойкой. Но та скрылась между тем в кухню, и он продолжал, на всякий случай все-таки понизив голос:

— Теперичи уже не для чего таить от тебя. Скажу, так и быть, твоя милость везет царю Борису Федорычу грамотку от своего царевича; ну, а мы возем ему свою от Басманова...

Однако, кой прах! Когда ж они подадут нам жаркое? Пойти самому на кухню.

Как только он вышел вон, Курбский обратился к Марусе:

— Ну, Марья Гордеевна, здесь нам и проститься. Молодая девушка, изо дня в день ожидавшая этой решительной минуты, тем не менее изменилась в лице.

— Как! Уже? — пролепетала она, и на ресницах ее выступили слезы.

— Что делать! Чем скорее, тем лучше, коли уж тому быть. Отсюда поворот к Мосальским; а сама же ты пожелала, чтобы я примирился с этой...

— Постылой женой твоей? Да, да... Хоть и повенчан ты с нею против твоей воли, а все же ты муж ей перед людьми и перед Богом... Ч-ш-ш: дядя!

Когда Биркин узнал тут о намерении Курбского, по порученью будто бы царевича, завернуть на день, на два к князю Рубцу-Мосальскому, то выразил даже удовольствие.

— Поспеем хошь к приезду твоему все в доме приубрать, приготовить.

— Да ведь ты, Степан Маркыч, не имеешь

еще в Москве своего собственного дома? — сказал Курбский.

— А на что же у меня там старший брат, Иван Маркыч? У него как для меня с Машенькой, так и для тебя найдется всегда теплый уголок.

— Но я-то Ивану Маркычу совсем чужой.

— Вот на! Такой же, я чай, племянничек, как и мне. Коли ты не остановишься у брата Ивана, то его просто до смерти избидишь. Да и супружницу его, Платониду Кузьминишну. Такая она у него, я тебе скажу, добрая душа, хлебосолка... Ни, ни, ни! И думать не моги! — остановил Степан Маркович Курбского, собиравшегося еще что-то возразить. — Смотри только, не заживайся у Мосальского.

И вот настал час разлуки. Не раз уже до этого дня посмеивался Биркин над крайнею сдержанностью обрученных, которые никогда при нем не миловались и даже не называли друг друга ласкательными именами. И теперь прощаясь с женихом, Маруся отвернулась и, точно нехотя, протянула ему руку. Но вдруг она пошатнулась и закатила глаза: Курбский едва лишь успел подхватить ее.

Пришлось sprыснуть бедняжку водой.

— Ага! — сказал Степан Маркович, когда племянница открыла опять глаза. — Как, матушка, не крепись, а сердце скажется, квашни крышкой не прикроешь.

От этих слов дяди молодая девушка окончательно пришла в себя. Она вырвалась из рук «жениха» и заторопила:

— Едем же, дяденька, поскорее, поскорее...

Пять минут спустя сани с дядей и племянницей, а за санями и пошевни с поклажей, двинулись с постоянного двора по калужской дороге. В сгустившихся сумерках скоро не стало их видно; а Курбский с непокрытой головой все еще глядел им вслед с крыльца.

— Вместо двух, одна, да какая! — пробормотал он про себя, но настолько громко и с такой странной, безнадежной усмешкой, что стоявший около него Петрусь его расслышал и, недоумевая, переспросил:

— Вместо каких двух, княже?

— Ах, и ты тут? — сказал Курбский, который теперь только заметил его присутствие.

Ответа на свой вопрос Петрусь так и не дождался. Возвратившись в «чистую» горницу,

Курбский подозвал к себе словоохотливую хозяйку и стал ее расспрашивать о Мосальских. Оказалось, что до поместья их было верст шестьдесят, а может и семьдесят, при том все проселочной дорогой, занесенной теперь снегом.

Таким образом добраться туда в потемках нечего было и думать: того гляди, с пути собьешься. Что же до самих Мосальских, то старик князь года полтора уже назад Богу душу отдал, а молодой князь был в походе с царской дружиной против супостатов-поляков. К удивлению хозяйки, Курбский как будто был даже этим доволен.

— Превосходно, — сказал он. — А отец Смарагд еще там?

— Попик-то? Жив старичок, жив; Господу, знать, еще угоден.

На другое утро, чем свет, Курбский сидел опять в своих санях. Тройку, из-за проселка по дремучему бору, пришлось запрячь гуськом; тем не менее, лошади то и дело увязали в снегу, а сани подбрасывало, качало на сугробах, как утлый челнок на бурном море. Было уже далеко за полдень, когда из-за прилес-

ка показала церковная колокольня. Около церкви, среди нависших под снегом деревьев, ютился скромный домик священника. Далее, по косогору, раскинулось целое село, а над селом угрюмо и строго высился, за высоким тыном, старый княжеский терем с двойной кровлей и остроконечным верхом. Как все это было знакомо Курбскому и памятно — памятно не радостями, о, нет, а самыми горькими испытаниями!..

— К батюшке! — приказал он, и сани остановились перед низеньким крылечком священнического дома.

Отец Смарагд, сухенький, но подвижный старичок, с ясными, зоркими глазами, вышел ему навстречу в прихожую. Когда же Курбский, приняв от него пастырское благословение, поднял голову, то заметил, что батюшка пристально и вдумчиво вглядывается в его черты, словно припоминая, где-то он его уже видел.

— Память на старости лет слабеть стала! — промолвил старичок со вздохом и пригласил гостя за собой в свою «убогую хатину».

«Хатина», действительно, могла быть на-

звана «убогой». Единственным ее украшением был киот с многочисленными старинного письма, образами. Даже деревянная лавка, на которую уселись теперь оба, ничем не была покрыта. Отец Смарагд начал с вопроса гостю, из дальних ли он мест.

— Из дальних, батюшка, — отвечал Курбский, — еду я из Северной земли, а путь держу на Москву; сюда же завернул нарочно по одному важному для меня делу...

— Так, так. Зима зело студеная, и снега великие; не убоялся — значит, дело важное. Смею спросить, как величать?

Курбский назвал, потом назвал и покойного отца своего но для захолустного пастыря Божьего фамилия знаменитого сподвижника Грозного царя была пустым звуком.

— Курбский... Курбский... — повторил он, внимательно всматриваясь в своего молодого собеседника. — К нашему князю на моей памяти из князей Курбских никто, кажись, не жаловал. А все ж таки твою милость я словно бы однажды видел.

— И не однажды, но в ином обличье — в холопском.

— Михайло Безродный! — узнал его вдруг отец Смарагд. — Да нет, статочное ли дело?

— Верно, батюшка, Михайло Безродный: в ту пору иного имени давать себе я не смел и был тут, у Мосальских, за простого холопа. Сам же ты ведь окрутил, повенчал меня по приказу старого князя с той... с Раисой.

Светлый взор старичка затуманился, и седая голова его скорбно склонилась.

— Не прогнеvisь, сын мой, — сказал он, — и мы, служители Царя Небесного, перед земными барами своими — те же рабы, безвольные исполнители барской воли. Воспротивься тогда приказу старого князя, тебя бы я все равно не вызволил из беды, а сам бы благоприятства княжеского лишился. Передал я все руце Божией. И вот Божиим же изволением ты свободен ныне от тех насильственных уз.

— Как свободен?

— Да ужли же до тебя не дошло еще, что жены твоей Раисы (царство ей небесное!) второй год уже нет в живых?

Курбский осенился крестом и глубоко перевел дух, точно у него гора скатилась с плеч.

— Упокой, Господи, ее душу! — прошептал он. — Но от чего это с нею приключилось?

Отцу Смарагду доставляло, видимо, большое утешение обстоятельно поведать молодому князю о последних покаянных минутах Раисы. Еще два года назад ее свалил «недуг огненный» (горячка), и тем недугом до того ослабило «весь телесный ее состав», что ей не суждено было уже подняться. Таяла она «яко свеча восковая», а перед смертным часом, «яко лебедь поет последнее пение свое при издыхании», покаялась отцу Смарагду на духу во всех своих прегрешениях и поручила ему, буде судьба сведет его раз с ее мужем Михайлой, испросить для нее полное прощение.

— Несть бо человека без греха, токмо один Бог, — заключил свой рассказ старик. — Грех сладок, а человек падок. Но воссияют лучи солнечные и на лукавых, и на благих; да не зайдет же солнце в гнев своем без прощения, сын мой.

Потрясенный до слез, Курбский выразил желание посетить могилу покойной. Но батюшка объяснил ему, что и летом-то, пожалуй, не сразу отыскать ее могилу: такой же на

ней, как и на других, простой, деревянный крест без всякой надписи; теперь же, в зимнюю пору, под снегом и крестов-то, поди, не видать. Тогда Курбский вручил старичку довольно крупную сумму на поминование души «рабы Божией Раисы» и готов был сейчас же пуститься в обратный путь. Только наступившие уже сумерки принудили его отложить свой отъезд до другого утра.

Зато, на следующий день, выехав с проселка снова на большую калужскую дорогу, он мчался вперед на Москву день и ночь. Его наполняло давно неиспытанное чувство полной свободы, точно у него крылья опять отросли, и он может лететь, куда хочет. Да правда ли: между ним и Марусей не стоит уже эта вечная черная тень? Ему почти не верилось в такое счастье. Но сама Маруся ничего еще не знает; что, если она не выждет его приезда и примет схиму? И его, бесстрашного в смертельном бою с врагами, от одной этой мысли кидало в жар, охватывал безумный страх. Но как ни спешил он нагнать Биркиных, при всякой перемене лошадей на вопрос его: давно ли проезжал тут толстяк-купец с молодой

девушкой, был один ответ: что проехали они еще накануне. Очевидно, и Маруся со своей стороны торопила дядю, чтобы возможно скорее оборвать последнюю нить с прошлым.

Наконец-то он и под Москвой. Но когда он подъехал к заставе, пробило уже 10 часов, и его задержали. Дело в том, что ровно в 10 часов вечера с городских башен набат оповещал москвичей об «указанном» часе для отдохновения от дневных трудов, и все большие улицы затворялись решетками[2]. Такой же набат за час до рассвета будил жителей и растворял решетки. Поневоле Курбскому пришлось заночевать опять на подворье у заставы. Однако и на утро его не пропустили еще в город: предъявленный им на заставе царскому приставу «пропускной лист», выданный ему царевичем Димитрием, возбудил небезосновательные подозрения. Отобрав сомнительный документ и подвергнув владельца его обстоятельному допросу, — кто такой, за каким делом и у кого остановится в Москве, — пристав отправился куда-то по начальству и заставил ждать себя довольно-таки долго. Возвратись, наконец, в сопровожде-

нии двух конных стражников, он хотя и пропустил Курбского в город, но под конвоем этих стражников.

Жил Иван Маркович Биркин довольно далеко от Калужской заставы, — на Успенском Вражке, и потому у Курбского было полное время удовлетворить свое любопытство относительно общего вида Москвы, где он был теперь впервые.

Москва начала XVII века, имевшая в окружности уже до сорока пяти верст, на левом берегу Москвы-реки состояла из четырех частей: двух центральных — Кремля и Китая, окружавшего их до реки полукольцом Белого города и обхватившего сей последний таким же кольцом Земляного города. Собственно городом считались Кремль, Китай и Белый город, отделенные каждый от соседних частей высокими каменными стенами. Земляной город (называвшийся также Деревянным и Скородомом) был не более, как пригород, состоявший из нескольких слобод. Точно так же и все Замоскворечье (правый берег Москвы-реки) было занято большой слободой — Стрелецкой.

Курбский, побывавший уже в столице польской, Кракове, и наслышавшийся столько о русской «Белокаменной», был несколько разочарован. Наименование «Белокаменной» было присвоено Москве, надо думать, главным образом, благодаря возведенным из кирпича и камня высоким городским стенам и башням, многим каменным же церквам и каменным строениям. Что же до обывательских домов, то не только в слободах, а и в самом «городе» большая часть их состояла из обыкновенных деревенских изб, там и сям даже так называемых «курных», крытых тесом и дранью, по окраинам же города просто соломой. Стекланных окон в то время у москвичей, конечно, не было еще и в помине; в редких окнах была вставлена даже слюда; в большинстве же ее заменял бычачий пузырь или намазанный маслом холст. Немногие каменные «палаты» вельмож и богачей с разнообразными «службами», а также деревянные, в два-три жилья, дома зажиточных горожан укрывались в глубине обширных дворов и садов за деревянными заборами и с улицы почти не были видны.

«Деревня, совсем деревня!» — бормотал про себя Курбский, проезжая по закривленным улицам и переулкам, то без нужды широким, то чрезмерно узким, с бревенчатыми домишкам и бесконечными между ними заборами или огородами, лугами, прудами, пустырями.

Хотя, по мере приближения к центру города, дома принимали все более городской вид, и все чаще и чаще (чуть не через каждый пятый дом) попадались либо церкви с золотыми маковками, либо часовни, но в той же мере возрастало нетерпение и беспокойство Курбского; ему было уже не до того, чтобы любоваться чем бы то ни было.

Наконец-то вот и Успенский Вражек. Один из конвойных обогнал сани Курбского, поднимавшиеся шагом по пологому откосу, и остановил коня перед высокими воротами.

— Дом Биркиных? — спросил, подъезжая, Курбский.

— Точно так.

Ворота были крепкие, дубовые, с двускатной кровлей; под кровлей — старинная икона с неугасимой лампадой. Курбскому сейчас

вспомнилось, что жена старшего Биркина, Платонида Кузьминишна, по словам Степана Марковича, была женщина куда благочестивая и богомольная.

«А что, как она уже пристроила Марусю в какой-нибудь монастырь...»

От одной этой мысли сердце у Курбского сжалось. Не выжидая, пока отворят ворота, он вошел в калитку. Главный фасад дома был обращен во двор, и на крыльце там стоял уже, в ожидании гостя, малец, чтобы провести его в дом. Очевидно, его углядели еще ранее из окон выходявшего на улицу бокового флигеля.

— Все ли в добром здоровье? — был первый вопрос Курбского, когда он поднялся на крыльцо.

— «Самому» не так-то можется, — отвечал малец. — Объялся вечер осетрины...

— Значит, он дома?

— Дома, и «сама» тоже.

— А Степан Маркыч? — продолжал допрашивать Курбский, нарочно отдаляя вопрос свой о Марусе.

— Степан Маркыч с утра еще отлучился за

Марьей Гордеевной.

— Как! А она где же?

— Бог ее ведает! Ночью еще скрылась, не сказавшись.

— За мной, Петрусь! — крикнул Курбский своему казачку, только что отпиравшему ворота.

На улице, однако, конные стражники загродили ему дорогу.

— Назад, боярин! До нового приказа не велено пускать тебя за ворота.

Курбскому ничего не оставалось, как возвратиться в дом.

Здесь из «светлицы» (гостиной) выплыла к нему навстречу с низкими поклонами «сама», женщина полная и рыхлая, в нарядном шелковом повойнике, который, однако, в спешке, видно, насажен был набекрень.

— Просим, — указала она ему с глубоким вздохом на лавку в красном углу под великолепной божницей, так и блиставшей золотыми окладами икон и подвешенными внизу пасхальными яичками, и сама же первая грузно опустилась на эту лавку, устланную богатым персидским ковром. — Горе наше, го-

ре!

И новый вздох. Курбский попросил ее рассказать, как все случилось.

— Как случилось? — повторила Платонида Кузьминишна, утирая себе платочком заплавленные жиром глаза. — Степан Маркыч не даром, вишь, сказывал, что иноческая келья давным-давно уже грезилась Машеньке и во сне и наяву, как некая тихая пристань от бурь житейских. Ну, а как засядет тебе этакая мысль гвоздем в голове...

— А странницы твои, матушка, молотком вбили ей еще этот гвоздь! — донесся тут из соседней горницы в полуотворенную дверь сильный мужской голос. — Здорово, князь! Эки дела-то!

— Здравствуй, Иван Маркыч, — отозвался Курбский, догадавшийся, что это «сам». — Про каких таких странниц говоришь ты?

— Да благоверная моя, изволишь видеть, не по разуму жалостлива, принимает в дом всяких побирушек и убогих...

— Ан и неправда! — запротестовала «благоверная». — Этих-то несчастненьких я только милостыней одежаю...

— И одеваешь, обучаешь.

— Да коли кто гол, как сокол? Не сам ли Спаситель наш велел отдавать ближнему последнюю рубаху! А богомольцев, странствующих людей Божьих, как у себя не приютить?

— Ну, вот и приютила этих двух бродяжек, которых николи допрежь и в глаза не видала!

— Да ведь уверяли ж меня, что идут прямо-хонько из святых мест, от гроба Господня.

— Верь больше! И оставила, вишь, целый вечер их одних с Машенькой!

— До них ли мне было, Иван Маркыч, сам посуди? Ведь надо ж мне было все приуготовить в доме для дорогого гостя. Кому в голову упадет, что они, бессовестные, тем часом уговорятся с Машенькой!

— Так она ушла вместе с ними? — спросил Курбский.

— Вместе, батюшка, вместе, тихомолочком, так что мы и ахнуть не успели. Толкнулась нонече поутру горничная девушка сперва к Машеньке, потом к странницам: что-то долго не встают? Ан пташка наша с теми воронами залетными вместе вылетела!

— Но куда? Не оставила ли она хоть запи-

сочки прощальной?

— Как же, как же, оставила: на столе у нее нашли. У тебя она ведь, Иван Маркыч?

— У меня; а то у кого же?

— Так дай-ка сюда, — показать.

— На.

В дверь просунулась мясистая рука с запиской. Когда Курбский принял последнюю, то увидел на один миг и самого владельца руки. Ростом Иван Маркович был, пожалуй, пониже своего меньшого брата, зато туловищем вдвое его толще, причем тучность его поражала тем более, что он был в затрапезном кафтане нараспашку. Курбскому было, однако, не до толстяка. Он читал и перечитывал записку его племянницы.

«Не кляните меня, мои дорогие! — писала бедная девушка. — Мне один конец — уйти от мира. Буду молиться обо всех вас, а где — и не ищите. Князю Михайле Андреевичу скажите, чтобы забыл меня, горемычную; авось еще найдет свое счастье. Спасибо вам, родные мои, за все, за все...»

— Ну, что, батюшка? — спросила Платонида Кузь-минишна. — Ничего тоже не вычи-

тал?

— Нет... Пишет только, что ей «один конец — уйти от мира». А куда уйти человеку от мира, как не в монастырскую обитель?

— Вот и я тоже говорю. Ума только не приложу, как это они выбрались отсюда ночью промеж уличных решеток?

— Экая мудрость! — подал опять голос из-за двери Иван Маркович. — В Кремле да в Китае, на глазах царя, решетки, знамо, чинятся и замки в порядке. А к нам, в Белый город, кто из царедворцев заглянет?

— Но меня ввечер от заставы и сюда не пропустили, — заметил Курбский.

— Еще бы: положение строгое — держать все улицы на запоре. А толкни-ка такую решетку у нас хорошенько — сама собой отпрется, али совсем повалится.

— Но ведь кто-нибудь же должен быть за то в ответе? Ведь отпускаются же на то и деньги из казны?

— Э, батенька! Казна не плачет, а карманы у подьячих наших — прорва бездонная...

— Да, грехи, грехи! — заныла опять Платонида Кузьминишна. — А я-то как уж радова-

лась нашей богоданной дочке, и сказать не могу! Будет она мне, думаю, писания святых отцов читать, будем вместе и к заутрене ходить и к вечерне...

На этом иеремиада ее была прервана Степаном Марковичем, вошедшим к ним из прихожей, еще в шубе и меховой шапке.

— А, князь Михайло Андреич! — приветствовал он Курбского и, тяжело отдуваясь, опустился на ближайшую скамью. — Жаль мне тебя, сердечный, жаль!.. Во всех наших женских обителях перебивал, самих настоятельницам выспрашивал...

— И ни к чему?

— Везде один ответ, словно стоворились: «кабы и была к нам принята, так не выдали б: отрешилась, стало, на веки от мира и родных».

У Курбского, питавшего еще слабую надежду на поиски Степана Марковича, и руки опустились.

— Если б она только знала... — пробормотал он в полном отчаянии. — Но она еще не успела принять схиму... Если меня завтра же не выпустят из дому, я вырвусь отсюда на-

сильно и разыщу ее во что бы то ни стало!

Глава одиннадцатая ПЕРЕД ЦАРЕМ БОРИСОМ ГОДУНОВЫМ

Под гостеприимным кровом Биркиных, на мягких пуховиках, взбитых при личном участии заботливой хозяйки, спалось Курбскому куда покойнее и слаще, чем на постоянных дворах или просто в санях; а потому, несмотря на свою сердечную кручину, он с дальней дороги заспался до позднего утра. Когда он кончал уже одеваться, к нему постучались в дверь.

— Кто там? — спросил Курбский.

— Скоро ли ты выйдешь, князь? — слышался в ответ голос Ивана Марковича

— А что?

— К тебе боярин от самого царя.

— Так я и ждал! Сейчас, скажи, выйду.

— Да ты с ним не больно-то того... Ведь знаешь ли, кто этот боярин?

— Кто?

— Сам князь Шуйский Василий Иванович!

«М-да! С этим держи ухо востро. Он и у

Грозного царя, слышь, был в большой милости, у царя Федора же хоть и попал в опалу, да у Годунова опять укрепился. Он же, ведь, делал на месте в Угличе розыск об убиении царевича Димитрия; ему, значит, ближе, чем кому-либо другому, ведомо, что убийцы второпях, заместо царевича, закололи одного из его жильцов (пажей); но раз Димитрий скрылся, надо было замести и след, — и хитрец его замел. Посмотрим, каков-то он, как себя теперь поведет?»

В воображении Курбского рисовался высокий старик с колючими глазами, но с вкрадчивой улыбкой. И что же? Навстречу ему поднялся с лавки приземистый, полный мужчина средних еще лет, сурового вида и куда невзрачный. Только богатая «турская» шуба и высокая «горлатная» шапка (из меха горла пушных зверей), которых тот так и не снял, свидетельствовали о его знатном происхождении, а в его подслеповатых, с кровяными жилками, глазах лишь изредка, как бы невзначай, вспыхивал скрытый огонек, выдававший сильный ум, сильную энергию.

Чуть-чуть кивнув головой в ответ на веж-

ливый поклон Курбского, Шуйский прямо заявил, что прислан он от всемилостивейшего государя своего, чтобы принять грамоту того человека, что облыжно именуется царевичем Димитрием.

Курбскому стоило немало самообладания, чтобы ответить с должной сдержанностью:

— Не взыщи, боярин, но такова воля царевича Димитрия Ивановича, чтобы грамоту его я передал из рук в руки самому царю Борису Федоровичу.

— То воля твоего царевича, но воля моего царя иная, а у нас на Москве никакой иной воли, помимо царской, не положено.

— Для подданных царя Бориса, точно; но для полномочных послов еще выше воля их монархов.

— Хотя бы таковой монарх и был из беглых монахов?

Но едва лишь Шуйский произнес это, как весь съежился и помертвел, потому что стоявший передним молодой исполин, превышавший его двумя головами, прикрикнул на него громовым голосом:

— Ой, берегись, боярин! Сдержи свой дерзкий язык! Коли не ты, так царь твой Борис хорошо знает, что мой царевич — не беглый монах, а истинный сын царя Ивана Васильевича, спасенный Всеблагим Промыслом от наемных убийц. Это столь же верно, как и то, что я — князь Курбский, сын первого сподвижника его родителя. И горе тебе, боярин, когда царевич мой воссядет на прародительский престол! А раньше ли, позже ли это, верь мне, совершится, и сам ты тогда, как червь, приползешь к его стопам.

Опытный царедворец успел уже оправиться и, не возвышая голоса, отвечал холодно и с достоинством:

— Что ты сын Андрея Михайловича Курбского — я охотно тебе верю. Некогда я не только знал его, но и дружил с ним, пока он не пошел своей дорогой, и в память этой-то дружбы, а также ради твоей юности, — прости тебя Бог. Твоих горячих слов я словно бы и не слышал. Так что же, грамоты к царю Борису Федоровичу ты мне так и не отдашь?

— Не могу отдать, боярин, прости, хоть бы и рад был.

— Твое дело. А допустит ли еще государь тебя до своих очей — зело сумнительно. И придется тебе, чего доброго, отъехать вспять ни с чем.

— Не допустит до себя, так на свою же голову! — воскликнул Курбский.

— Тише, тише, князь! Ты все, поди, забываешь, что мы здесь не в Кракове у ляхов, а в первопрестольном граде русского царя. Доложу я государю о твоём отказе; что он порешит — о том тебя в свое время оповестят. А дотоле не изволь-ка выходить за порог дома.

— Но мне по собственному делу неотложно нужно!..

— Мало ли что кому нужно! Да коли таков приказ царский? Его же не перейти.

Старший Биркин, в качестве хозяина, выжидал выхода именитого посетителя в прихожей и с униженными поклонами проводил его до возка, а проводив, влетел в светлицу к Курбскому.

— Помилуй, князь, что ты с нами делаешь? Мы тебя приютили, пригрели, а ты этакому-то вельможе у нас же в доме согрубил! Из-за двери мы с братом все ведь слышали.

— Да, милый князь, не ждали мы от тебя, не ждали! — поддержал вошедший вслед за братом Степан Маркович. — Теперича нас, того и гляди, спровадят из Москвы куда Макара телят не гонял.

— А добро наше в казну отберут, — подхватил опять Иван Маркович, и напустился вдруг на младшего брата. — А все ты, брат Степан, все ты: «породнимся, мол, с родовитым князем, — самих нас за собой в дворянство вытянет». Вот тебе и породнились! Вот тебе и дворянство!

Разгоряченного крупным разговором с царским посланцем Курбского как холодной водой окатило. Оба дяди Маруси, очевидно, оказывали ему до сих пор такое расположение не столько даже из-за своей племянницы, сколько из-за своих личных, честолюбивых расчетов. Но, ради Маруси, он готов был все это забыть.

— Мне самому крайне прискорбно, что через меня тебе, Иван Маркыч, столько беспокойства, — сказал он. — Но не тревожь себя попусту. И тебя и Степана Маркыча я во всем обелю. Шуйский — человек большого ума и

должен понять, что с царевичем моим не шутики шутить. Не нынче, так завтра, помяни мое слово, он опять пожалует звать меня прямо во дворец.

Говорил это Курбский так уверенно, что оба Биркина снова приободрились. Когда он тут еще заявил, что, как только ему будет дозволено выйти за ворота, он первым делом поищет себе другого пристанища, радушного вообще хозяина как будто и совесть зазрела.

— Ну, что ж, поживешь у нас еще день другой — не беда, — сказал он. — Семь бед — один ответ.

— Да и беды, даст Бог, никакой не будет, — подхватил младший брат. — А примут тебя во дворце как заправского посла, так наша взяла.

— И самому тебе, послу, будет тогда посольский почет, — добавил Иван Маркович. — Помнишь ли еще, брат Степан, как при царе Федоре Ивановиче прибыло к нам в Москву посольство из неметчины?

И оба брата принялись с одушевлением, наперерыв, вспоминать о въезде немецкого посольства: навстречу послам выехали-де за

город два пристава со стрельцами и за двадцать шагов вышли из саней и сняли шапки; то же самое сделали оба посла и выслушали, с непокрытой на морозе головой, приветствия сперва одного пристава, потом другого и, наконец, царского конюшего. Этот предложил послам двух бесподобных белых коней с богатейшей сбруей, а чинам посольства двенадцать других коней; после чего все двинулись в город чинным порядком: впереди двадцать четыре конных стрельца, за ними посольские чины, по три в ряд, за этими трубачи с серебряными трубами, а за трубачами оба посла и по обе руки их — пристава. От самых городских ворот до посольского дома по всем улицам были выстроены два ряда стрельцов. А народу-то, ротозеев, видимо-невидимо... Вот почет, так почет!

Хотя розовые надежды братьев Биркиных и не оправдались, но ожидание не совсем-таки обмануло Курбского. На следующее утро за ним были присланы придворные сани; упряжные кони были рослые, в богатой сбруе, полость была пышная, медвежья, а впереди бежали два скорохода, но тем и ограничился

весь почет. Звать Курбского во дворец прибыл теперь уже не боярин, а молоденький боярский сын, Андрей Васильевич Бутурлин. Выказывая такое пренебрежение к посланцу названного царевича Димитрия, Годунов не принял одного в расчет — молодости Бутурлина. Юноша невольно поддался обаянию светлой личности Курбского. Когда кони понесли их по направлению к Кремлю, Бутурлин, чтобы изгладить перед приезжим первое невыгодное впечатление от Москвы, принялся с особенным усердием выхвалять ему все достопримечательности Белокаменной. И вдруг, совершенно неожиданно, спросил его, понижая голос, чтобы кучер не слышал:

— А что, князь, прости за спрос, ты никогда еще не видал нашего царя?

— Нет, не довелось, — отвечал Курбский, — но много об нем наслышан.

— Что же ты слышал?

— Слышал, что муж он многомудрый, радуется о державе своей, о народе.

— Вот, вот! — радостно подхватил Бутурлин. — Сколько дивного творил он для про-

славления Руси, сколько добра для народа!

— А все не в прок, — возразил Курбский, — народ все-таки ропщет, клянет Годунова...

— Потому что меж бояр есть у него недруги-завистники, что мутят народ.

— А чем он нажил себе этих недругов? Тем, что ко властолюбию ненасытен, сердцем черств, безжалостен...

— О, нет! Для добрых он и доселе добр; а уж в детях своих: царевиче Федоре да царевне Ксении, просто души не чаает; сам обучает их, особливо царевича, всякой книжной премудрости, чтобы было на кого оставить престол свой.

— Ну, этому никогда не бывать! — прервал Курбский. — Этого Господь не попустит!

Бутурлин испуганно взглянул на него со стороны; но, встретив его открытый, честный взгляд, заметил:

— Ты, князь, я вижу, крепко любишь того, от кого прислан; а я еще крепче, может, люблю царя Бориса. О, кабы и тебе его так полюбить, утвердиться при нем!

— Об этом, Андрей Васильич, и разговору быть не может; ты поймешь, разумеется...

— Понимаю, князь, отлично понимаю, а все-таки так, право, жаль... И боюсь я за тебя!

— Да слишком уж ты прямодушен, всякому в лицо правду режешь. Как раз накличешь еще на себя немилость царскую. Козни боярские, нечего таить, ожесточили царя; чаёт он измену везде, даже там, где ее нет. Остерегись же, Бога ради, в речах своих, не перечь ему!

— Хорошо, хорошо, остерегусь, — улыбнулся в ответ Курбский, которого не могло не тронуть такое теплое участие к нему юноши, видевшего его первый раз в жизни.

И вот они во дворце, и рядом палат проходят в престольную палату. Несмотря на свою возбужденность при входе в эту палату, Курбский вскользь не мог не заметить ее богатого убранства: стены были затейливо расписаны, а пол устлан дорогими коврами. В глубине палаты, под образом Богоматери, сделанным мозаикой из самоцветных камней, на возвышении в несколько ступеней, обитом алым бархатом, восседал на троне, в порфире и мономаховом венце, со скипетром в руке, сам царь Борис. Около трона, слева, виднелись на серебряном решетчатом столике держава с

крестом, а на столике поменьше — золотая умывальница с расшитым полотенцем. По сторонам трона стояли четыре (по два с каждой стороны) молодых рынд (телохранителей) в белых бархатных кафтанах с горностаевой опушкой, в высоких рысьих шапках, с нагрудными золотыми цепями и с серебряными секирами на плече. Хотя Годунову, как знал Курбский, было уже пятьдесят три года, но на вид он был еще очень бодр, сановит и красив, а торжественная обстановка придавала ему еще большую величавость и мужественную красоту.

Рядом с царем сидел такой же красивый, белолицый и черноглазый, полного сложения отрок в парчовой одежде с непокрытой головой: по семейному сходству с Борисом, в нем нельзя было не признать его сына, царевича Федора[3]; по стенам же кругом, также на уступах, но пониже, сидели на скамьях бояре и окольничие в роскошной одежде из золотой и персидской ткани.

При появлении Курбского, взоры всех присутствующих разом обратились на входящего. Один царь только, казалось, не заметил

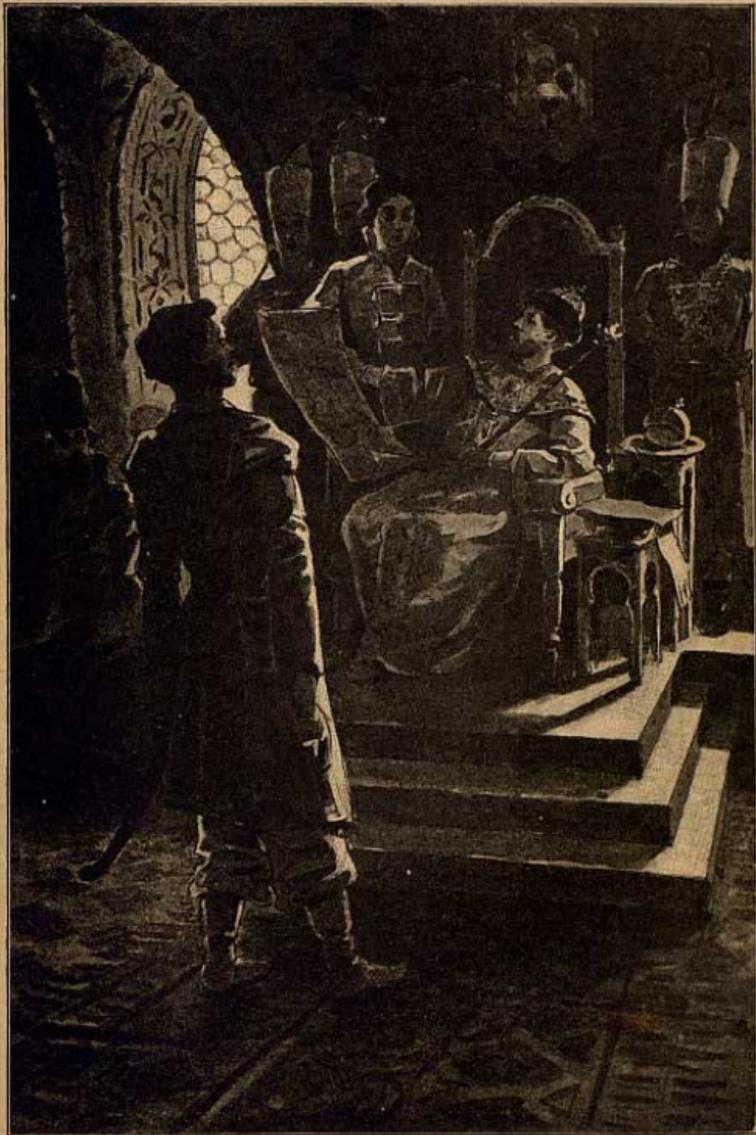
его и протянул руку к сыну, чтобы взять у него из рук какой-то большой лист. Водя по листу перстом, Годунов начал задавать царевичу вопросы. По долетавшим до Курбского отдельным названиям: «Мурманское море», «Великий Новгород», «Литва», он догадался, что то была географическая карта.

— И все это, сын мой, ты сам начертал? — явственно донесся теперь голос царя.

— Сам, царь-батюшка, — прозвенел ответ царственного отрока.

— Теперь я, стало быть, могу умереть спокойно; у меня есть преемник, знающий свой край[4].

«Он хочет принизить во мне моего царевича перед всеми Царедворцами!» — ударило в голову Курбского, и, забыв уже о придворных обрядностях, которыми обставлен всякий подобный прием, он без приглашения сделал несколько шагов вперед. Такая бестактная смелость видимо озадачила самого Годунова. Он окинул смельчака хмурым, огненным взглядом. Этот его орлиный взгляд и поистине царственная осанка, вместе со всем окружающим величием царского сана, смути-



ли Курбского. Отвесив поклон, он с ненужной торопливостью, захватывавшею дух, произнес обычную формулу приветствия от имени своего царевича; после чего, подойдя к самому трону, с новым поклоном хотел вручить Годунову грамоту царевича — большой пергаментный свиток, завязанный шелковым шнуром и припечатанный сургучной печатью. Никто раньше не догадался предупредить его, что самому царю на Руси из рук в руки даже признанные иноземные послы ничего передавать не в праве, а потому Курбский счел опять знаком пренебрежения со стороны царя что тот обратился к сидевшему с краю старшему боярину:

— Прими-ка, князь Василий Иванович, и прочитай нам.

То был вчерашний посетитель Курбского, князь Василий Иванович Шуйский. Приняв свиток, Шуйский не спеша снял печать, развязал шнур, развернул свиток и стал затем читать его, читать громко, внятно и бесстрастно. Но вот и его голос, вполне, казалось, ему послушный, заметно дрогнул. Да и было от чего! Его устами, великому государю его,

Борису Федоровичу, в присутствии всей боярской думы, во всеуслышанье говорились такие продерзостные речи:

«... Жаль нам, что ты душу свою, по образу Божию сотворенную, так осквернил, и в упорстве своем гибель ей готовишь; разве не знаешь, что ты смертный человек? Надобно было тебе, Борис, удовольствоваться тем, что Господь Бог дал; но ты, в противность воле Божией, будучи нашим подданным, украл у нас государство с дьявольской помощью...»

Далее перечислялись преследования, которым со стороны Годунова подверглись все приверженцы прежнего царского рода, а потом описывалось, как он «начал острить нож» и на младенца-царевича Димитрия, и как тот был спасен «по старанию» приставленного к нему врача Симеона.

Заканчивалось послание новым увещанием:

«Опомнись и злостью своей не побуждай нас к большему гневу. Отдай нам наше, и мы тебе, для Бога, отпустим

все твои вины и место тебе спокойное назначим. Лучше тебе на этом свете что-нибудь претерпеть, чем в аду вечно гореть за столько душ, тобой погубленных»[5].

По мере чтения Шуйским этой жестокой отповеди, облако на челе Годунова все более сгущалось, а взоры его, прикованные к губам чтеца, метали молнии. Но всякий раз, когда Шуйский запинаясь и вопросительно взглядывал на него, царь кивал головой, чтобы он продолжал.

«Хочет ли он до дна испить горькую чашу, — говорил себе, наблюдая за ним, Курбский, — или же, в безграничной гордыне своей, хочет показать и мне, и своим боярам, что он непоколебим, как утес среди всяких бурь?»

— Все? — спросил Годунов, когда чтец умолк. — Подай сюда.

И, взяв у него грамоту, он изорвал ее вдоль и поперек, обрывки же смял в комок и комком бросил к ногам Курбского.

— Вот мой ответ!

Вступая, перед тем, в престольную палату, Курбский повторил про себя благоразумное

предостережение Бутурлина — не раздражать царя, не перечить. Но теперь, когда грамота царевича Димитрия не только не возымела никакого успеха, но перед всей боярской думой подверглась такому поруганию, кровь хлынула ему в голову, и он вне себя крикнул:

— Государь! Это тебе так не пройдет...

Он прибавил бы, пожалуй, еще много неподобающего, не укажи на него Годунов своим телохранителям:

— Убрать его!

Те кинулись исполнить царскую волю. Курбский уже опомнился и без сопротивления отдался в их власть. Но тут, ко всеобщему изумлению, заговорил царевич Федор, этот безгласный в присутствии родителя, шестнадцатилетний отрок.

— Царь-батюшка! Коли он забылся, так от тяжкой обиды за того, кем прислан...

И, наклонясь еще ближе к отцу, царевич стал ему что-то нашептывать, умоляюще сложив руки. Борьба оскорбленного величия и нежного родительского чувства продолжалась недолго: последнее взяло верх.

— Оставьте его! — приказал Борис рындам,

а затем отнесся к Курбскому, — на сей раз, князь, так и быть, тебе это не зачтется. Правду молвил царевич, что твоими устами говорил не ты сам, а приславший тебя. Его же вина, что прислал он ко мне не зрелого мужа, а молодчика, у коего, что на душе, то и на языке. Иди с миром, и да послужит тебе это вперед наукой.

Сознавая сам, что в своей обиде за царевича он хватил через край, Курбский, как провинившийся мальчик, потупил глаза в пол.

— А ответной грамоты не будет? — спросил он.

Годунов переглянулся опять со своим сыном и наследником и, вместо прямого отказа, отозвался неопределенно:

— Первым делом отдохни от пути. Ведь в Москве у нас ты впервой?

— Впервой, государь.

— И на Иване Великом нашем еще не побывал?

— Нет.

— Так вот поднимись-ка туда: увидишь, какова наша Первопрестольная.

Прием, очевидно, был кончен. Курбский

откланялся уставным поклоном и, не чуя ног под собой, выбрался вон.

Глава двенадцатая

МЕДВЕЖЬЯ ЯМА

— Ну, князь Михайло Андреич, милостив же твой Бог! — тихонько заметил Курбскому молодой Бутурлин, когда они спустились с Красного крыльца. — Не вступишь царевич, по тебе бы хоть панихиду служи. А что, и впрямь, не подняться ли нам сейчас на Ивана Великого?

— А туда недалеко? — спросил Курбский.

— Да вон же он перед нами. Благо, мы раз в Кремле...

Не прошло десяти минут, как оба были уже на исполинской колокольне под самыми колоколами. На все четыре стороны открывался обширнейший кругозор. У Курбского просто глаза разбежались. Да! Отсюда, с высоты птичьего лета, Москва представлялась совсем иной, чем внизу, промеж домов и заборов. Все, что пряталось там за заборами, что заслонялось домами, раскинулось здесь воочию, как на ладони. Бесчисленным крышам и церковным куполам, среди опущенных

инеем густых садов, конца-края не видать; только зубчатые каменные стены с башнями отделяют разные части города одну от другой, да Москва-река широкой лентой извивается, охватывая полукругом Стрелецкую слободу.

Долго любовался Курбский молча, пока не выразил своего чувства в одном слове:

— Красота!

— Не правда ли? — оживленно подхватил его юный спутник. — Не даром государю люб этот Иванов столп: ведь по его же, государеву, велению выстроена эта громада в голодные годы, чтобы бедному люду была работа. Да теперь-то что! Зима — все в снегу. А вот посмотрел бы ты летом, когда все сады зелены, крыши красны, а золотые кресты да главы церковные на солнце как жар горят!

— Церквей и то ведь — считай — не сосчитаешь, — заметил Курбский, — есть где помолиться православным!

— Да ведь про Москву нашу так и слава идет, что церквей у нас сорок сороков. Будет ли столько — кто их считал? А близко, надо быть[6]. Вот хоть бы тут в Кремле...

И Бутурлин, войдя в свою роль проводни-

ка, начал перечислять кремлевские монастыри и соборы, с надлежащими комментариями, как например, что в Вознесенском монастыре погребаются царицы; а затем, кстати, указал и разные другие здания: дворы боярские (трех Годуновых: Симона, Димитрия и Григория, Мстиславского, Вельского, Шереметева, Сицкого, Клешнина), старый двор самого царя Бориса (того времени, когда он был еще правителем при царе Федоре), дворы: патриарший, оружейный и казенный (казнохранилище царево), посольский приказ, судебные приказы...

Между тем на вышке Ивана Великого, открытой всем ветрам, наших двух молодых собеседников зимнею стужей порядком-таки прохватило. У Курбского, давно закаленного против всякой непогоды, от морозной сиверки теперь только лицо разгорелось; словоохотливый же спутник его успел уже охрипеть и в заключение раскашлялся.

— Из-за меня ты, Андрей Васильич, чего доброго, еще простуду себе наживешь, — сказал Курбский. — Довольно мы тут нагледелись.

— Одного я тебе только не показал, — отвечал Бутурлин. — Вон, видишь ли, на Москве-реке снежная горка, где народ толпится?

— Вижу.

— Так там у нас медвежья яма. На последней охоте у Шереметева захватили, вишь, живьем медведицу с медвежатами. Шереметев прислал их во дворец для царского стола; а государь, чтобы народ позабавить, велел соорудить для них на льду логово, да кругом его, вроде как бы горки, завалить снегом. Ну, народ туда так валом и валит.

— Да ведь зимой медведи больше спят, — не добудишься.

— Медведица и то носу не кажет; в медвежатах же ее кровь молодая играет; а народ им еще покой не дает; и дразнит-то и бросает разное съестное. Знаешь что, князь: заедем-ка сейчас туда? Посмотришь тоже: потеха!

Курбский уже не возражал, и, спустившись с колокольни, они велели кучеру везти их на Москву-реку к медвежьей яме. Здесь, на вершине невысокого снежного холма, вокруг ямы, сучились живой стеной любопытные

обоего пола. Но то были одни простолюдины, которые, при виде наших двух боярских сыновей, тотчас почтительно расступились. Так оба, без всякого затруднения, подошли к самому краю ямы, огороженной деревянными перилами. Тут Курбский к удивлению своему увидел в числе зрителей и своего казачка, Петруся Ковалю.

— Как ты сюда попал?

Петрусь раньше у него не отпросился и потому слегка смешался.

— Уж очень много Биркинские люди наболтали мне про этих медвежат, — поспешил он оправдаться, — а я не чаял, что ты так скоро возвратишься из дворца... Не погневись, княже! Сейчас лечу домой...

— Ладно, — сказал Курбский. — Раз ты уже здесь, так оставайся.

Притихшая было кругом толпа, видя такое благодушие молодого князя, пришла опять в движение и принялась кидать в яму кусочки хлеба. На дне ямы копошилось четверо медвежат. Стоя на задних лапах, с поднятой кверху мордой, каждый из них норовил поймать добычу налету. Но это редко кому из них уда-

валось: остальные трое отмахивали лапой кусок перед самым носом у счастливица, и тогда все четверо, сердито ворча, валились кубарями друг на друга, — к немалому, конечно, удовольствию зрителей, раздражавшихся всякий раз дружным хохотом.

Особенно забавлялась этим одна толстуха, судя по холеному лицу — кровь с молоком, и по беличьей шубке — из купчих. В руках у нее был целый каравай ситного хлеба, от которого она отламывала для медвежат кусочек за кусочком.

— Да полно тебе, тетка, зря бросать-то! — укорил ее сосед, тщедушный мужичонка в рваном тулупе. — Дай взлезть которому-либо на колесо; ну, тогда и корми на здоровье: заработал.

Разумел же он колесо, утвержденное на вершине древесного ствола с обрубками ветвей, возвышавшегося из середины ямы до самых перил.

— Так вот для тебя, вохляка, и полезут! — окрысилась купчиха.

— Для меня-то и полезут: старые знакомые.

— Поздравляю! Где ж вы познакомились?

— В берлоге.

— О!

— Верно тебе говорю.

— В их собственной берлоге?

— А ты думала, в твоей?

Дешевая острота пришлась по вкусу серой толпе и даже самой купчихе. Что же до Курбского, то он (как припомнят, может быть, читавшие нашу повесть «Три венца») прожил простым полещуком более года в Полесье и не раз ходил также на медведя, а потому заинтересовался самим мужичком.

— Ты, любезный, что же, верно из Шереметевских? — спросил он.

Мужичок снял шапку и отвечал, что, точно, из Шереметевских.

— Медвежатник?

— Хошь и не медвежатник (много чести!), а все ж из загонщиков.

Говоря так, он приглаживал ладонью редкие волосы на макушке, которые раздувало порывистым ветром.

— Накройся-ка, — сказал ему Курбский, — ветер, вишь, какой холодный.

— Ничего, господин честной, и так постоим.

— Накройся, — еще настоятельнее повторил Курбский и начал затем расспрашивать о последней медвежьей охоте.

Поощренный таким вниманием, загонщик разговорился. Говорил он не очень-то складно и пустился в излишние еще подробности о том, как ночевали они, загонщики, в лесной сторожке с поленом под головой вместо подушки; как подкрепились чарочкой зелена вина да закусили корочкой хлебца; как под утро разыгралась вьюга и замела медвежий след; как увязли они по пояс в рыхлом снегу и как наконец-то уж добрались до берлоги зверя, где он залег крепко.

— Зверь? — переспросила купчиха. — Да ведь ты говорил все про медведицу с медвежатами?

Загонщик снисходительно усмехнулся.

— А медведица, по-твоему, нешто не зверь?

— Зверь — сам медведь...

— А жена его — звериха?

— Ну тебя, зубоскал! Да живьем-то вы как

ее взяли?

— Есть у нас один такой медвежатник, Вавилой звать, самого черта, поди, не испугается. Взял он, это, из костра головню — только искры сыплются — и полез к ней ползком в гости, в самую берлогу.

— Вот бесстрашный! Ну, а она что же?

— Старуха-то? Спит, знамо, своей зимней спячкой, во сне лапу сосет, а около жмутся ее ребятки-медвежата. Ткнул он ей тут горячей головней прямо в морду, — хошь не хошь, проснулась, да как заревет благим матом!

— Ай, страсти какие! Ну и что же? Накинулась на твоего Вавилу?

— Зубами-то сама на него щелкает, а чтобы тронуть — ни-ни! Он же долго тоже растабаривать с нею не стал, хватить за загривок одного медвежонка, да по-рачьи опять назад к выходу. Выполз здоров и невредим.

— Но она-то, мать родная, чего смотрела? Без бою, так и отдала свое детище?

— Да коли перед мордой тебе этакой головней машут, так, небось, не полезешь в драку.

— И совсем не вылезла из берлоги?

— Вылезла. Да мы-то, прочие, стояли уж

наготове, всей гурьбой на нее навалились, живой рукой связали. Одному, правда, изрядно тут от нее попало: вместе с шапкой ему и кожу с черепа сняла...

— Царица Небесная! Да я теперича со страху, хоть золотом меня осыпь, не пойду уже в лес!

— Пойди, тетка, сделай такую милость! Тебя там только и недоставало.

Новый взрыв хохота окружающих наградила остроумца, разобиженная же «тетка» плюнула и надулась.

— А тебе, князь, случалось тоже охотиться на медведя? — спросил Бутурлин Курбского.

— Сколько раз, — отвечал Курбский. — У нас ведь на Литве, в Полесье, красному зверю самый вод, и нашим панам нет лучше потехи, как этакая звериная облава, либо травля. Но самому-то мне, признаться, более по душе идти на медведя, да и на кабана, один на один.

— Но это ведь куда опасней?

— Вот потому-то мне и любо. Это не простая бойня, а настоящий бой, где можно помериться силами.

Бутурлин взглянул на говорящего с удив-

лением и восхищением.

— И с каким оружием ты шел в этакий бой? — спросил он. — Только с самопалом?

— Ходил и с самопалом, но чаще того с шибнем.

— А это что за штука?

— Шибень — короткое копьё о двух железных концах, а то и просто деревянная палица с обожженными концами.

— Шибнем-то что! — заметил тут загонщик с важностью бывалого охотника. — А вот, поди-ко-сь, возьми медведя, как наш брат, голыми руками!

Самохвальство слабосильного на вид мужичонки вызвало у Курбского только улыбку; Петрусь же счел долгом огрызнуться за своего господина.

— Храбер ты, братику, поколе самому ребер не поломали! И медвежонка-то, поди, не посмеешь пальцем тронуть!

— Я-то?

— Да, ты.

— Медвежонка?

— Медвежонка. А хочешь показать свою прыть, так полезай к ним сейчас в яму.

— Зачем я к ним полезу? — отозвался храбрец тоном значительно уже ниже, не без опаски заглядывая в глубину. — Медвежата — те же щенки; охота мне с ними возжаться!

— Есть там про тебя и мать-медведица; только спит, в снегу зарылась.

— Так чего ее, старуху, будить-то? Пущай дрыхнет! Бутурлина, не менее других, забавляли неудачные увертки загонщика.

— Экой ты сердобольный! — сказал он. — Даром лезть туда, понятно, кому охота. А вот, коли я дам тебе рублик заработать...

С этими словами юноша достал из кармана кошель, а из кошеля новенький серебряный рубль. Соблазн для бедняка-мужика был не малый; а насмешки окружающих еще более его подзадоривали.

— Ну, давай уж сюда! — решил он, наконец, и потянулся за рублем.

— Нет, любезный, сперва заработай.

— Правда! Когда ж за работу вперед платят? — раздались кругом одобрительные голоса.

— Вперед все вернее...

— А не веришь, так изволь: доставай

сам! — сказал Бутурлин и бросил монету в яму к медвежатам.

Те долго уже понапрасну ожидали новых подачек; теперь все четверо разом накинулись на монету, и одному из них, действительно, удалось схватить ее зубами. Но она не пришлась ему, видно, по вкусу: он тотчас выпустил ее изо рта. После этого и остальные, один за другим, обнюхали блестящий на снегу кружок, но, не менее разочарованные, оставили его также лежать.

— Ну, что же? — спросил Бутурлин хвастуна-мужичонку, который в раздумье почесывал в затылке.

— Эх, горе-богатырь! — снова поднял его на смех Петрусь. — Воевать тебе на печи с тараканами!

— Посмотрел бы я, как ты сам полез бы! — проворчал тот сквозь зубы.

— А что же ты думаешь: не полезу?

— Ну, и полезай!

— И полезу.

Прежде чем Курбский мог задержать не в меру шустрого казачка, этот махнул уже через перила к древесному стволу, возвышав-

шемуся, как сказано, из середины ямы. Схватившись сперва за верхушечное колесо, он по обрубкам ветвей спустился на самое дно ямы. Медвежата, совершенно неприготовленные к такому визиту, сами до того перепугались, что Петрусь мог преспокойно поднять с земли монету. Но ему, удалому сыну Запорожья, такой легкой победы было мало. Схватив двух медвежат за шиворот, он стукнул их головами, потом сделал то же с двумя другими и свалил их в одну кучу с первыми. Медвежата были до того ошеломлены и раззадорены, что, забыв уже про своего общего врага, сцепились меж собой и принялись тузить друг друга.

— Важно! — поощрил их Петрусь. — А где же ваша мама?

Тут только заметил он вход в самодельное логовище медведицы, откуда выставлялась мохнатая голова, уткнувшись мордой в передние лапы.

— Гай, гай, мамо! — сказал он. — Детки дерутся, ажио чубы трясутся, а она хоть бы что. Стыдися, стара, проснися!

Сопровождавший эти слова пинок был так

убедителен, что спящая сразу очнулась и угрожающе зарычала. Но озорник наш не стал дожидаться более убедительного ответа. Когда он теперь появился опять на верхушечном колесе и оттуда перемахнул обратно к перилам, то был встречен единодушными похвалами:

— Ну, уж хват! Мал, да удал! В одно ухо влезет, в другое выскочит!

Всем он угодил, одному лишь нет — мужичонке-загонщику: очень уж досадно тому было, что этакий молокосос осрамил его перед всем честным народом, да еще рубль в карман положил.

— Эка невидаль! — сказал он. — И мой же рубль еще себе забрал!

— Так чего ж ты сам-то зевал? — спросил Бутурлин. — Но коли тебе так уж жалко...

— Знамо, жалко!

— То я, так и быть, еще рубль брошу. Бросать, что ли?

— Бросай.

— Не будет ли, Андрей Васильич? — вмешался тут Курбский. — Не дай Бог, еще сорвется вниз...

— Я-то сорвусь? — вскинулся мужичонка. — Бросай! Второй такой же рубль упал в яму. Отдав свою шапку на сохранение соседу, загонщик, не без ловкости, перекинулся также через перила. До колеса же он не допрыгнул и полетел с вышины прямо к медвежатам.

Зрители ахнули и перегнулись через перила. В глубине разыгралась уже маленькая мелодрама: упавший сам хоть и не расшибся, потому что угодил как раз на одного из медвежат, но этот завизжал, как поросенок под ножом мясника. Для чадолюбивой же медведицы такой визг родного медвежонка то же самое, что детский плач для нежной мамыши. Не успел мужичок приподняться, как медведица его уже облапила, и сам он завопил пуще медвежонка:

— Спасите, родимые! Ослобоните!

Хотя, при движении левым плечом, Курбский ощущал еще некоторую боль и слабость в руке, раненой под Новгородом-Северском, но перед выездом своим во дворец все-таки снял с руки повязку. Теперь, в виду угрожавшей его ближнему смерти, он забыл уже о

своей руке. Шибня при нем хоть и не было, да за поясом был турецкий кинжал.

Сбросив с плеч шубу, он перешагнул через перила и, не пользуясь даже древесным стволом, соскочил прямо вниз. Мужичонке, несмотря на его овчинный тулуп, приходилось плохо: медведица сорвала с него эту кожаную броню и добралась до его собственной шкуры, когда подоспел Курбский. Пронзенная его острой сталью в самое сердце, она откинулась назад, чтобы уже не встать. Но в падении своем, она увлекла за собою Курбского и, в предсмертных судорогах, обхватила обеими лапами поражающую руку так крепко, что кости хрустнули.

— Батюшки-светы! — вскричал мужичонка, помогая Курбскому приподняться. — Что с твоей милостью!

А у того правая рука повисла как плеть, и сквозь изодранный рукав кровь лилась ручьями.

— Кость, видно, повредило... — пробормотал Курбский, не издававший до сих пор ни крика, ни стопа; но румянец сошел с его лица, и сам он едва держался на ногах. — Не знаю

уж, право, как выбратъся теперь отсюда...

— Лестницу сюда! Веревок! — крикнул за-
гонщик.

Но и то и другое пришлось доставать еще из города, и когда пострадавшего подняли наконец из ямы, то от большой потери крови он лишился уже чувств.

Глава тринадцатая

БАСМАНОВ

Шла третья неделя после злключения с Курбским в медвежьей яме. Триста лет назад самым верным средством при переломе костей считалась ампутация, по пословице: сорную траву с корнем вон. Очень может быть, что и Курбскому предстояло бы то же, попадись он в руки одному из старших придворных лейб-медиков. Но, по счастью, царь Борис счел достаточным прислать к нему младшего из своих лекарей, студента медицины пражского университета Эразма Венского*. Пожалел ли этот молодость Курбского или не решился на свой страх его калечить, — как бы там ни было, но ограничился он лишь тем, что забинтовал ему сломанную руку в лубок.

(До гипсовых перевязок хирурги в то время еще не додумались). Сделал он это настолько удачно, что кость начала опять срастаться, и пациент мог уже, с крайнею, конечно, осторожностью, двигаться по комнате. Правда, лекарь предупредил его, что прежней гибкости и силы рука его уже не получит, и что от сабли, как от оружия, ему навсегда придется отказаться.

* Современная хроника сохранила имена и остальных медиков, нарочно выписанных Годуновым из-за границы. Самым искусным в лечении всяких болезней почитался уроженец Венгрии Христофор Рейтлингер, прибывший в Москву с английским посланником. Другие были чистокровные немцы: Давид Вазмер, Генрих Щредер (из Любка), Иоган Вильке (из Риги) и Каспар Фидлер (из Кенигсберга). Как дорожил Годунов этими учеными людьми, показывает их обеспеченное материальное положение: каждый имел свою деревню с тридцатью работниками и пять лошадей верховых и каретных; кроме трех или четырех блюд с царской кухни, каждому от-

пускались ежедневно: штоф водки, уксусу и «запас для стола»; и ежемесячно — «знатное» количество хлеба, бочка пива и шестьдесят возов дров. Затем, после всякого удачного лечения царя, они получали еще экстренные подарки камками, бархатами и соболями.

— Но с одним человеком у меня еще не покончены счета! — воскликнул Курбский, не забывший данного ему паном Тарло обещания «быть к его услугам» после похода.

— Ну, так научитесь драться левой рукой, — утешил его с улыбкой былой студент. — Времени у вас на то довольно.

— Да не одному же мне упражняться с самим собой?

— А я-то на что? У нас в Праге любой студент дерется почти что одинаково, что правой, что левой рукой.

— Весьма вам обязан, — сказал Курбский. — Но и левой рукой я боюсь шевельнуть: правая сейчас занует.

— *Patientia, amice!* (Терпение, мой друг!) К весне все у вас будет в порядке.

Были у Курбского и другие две заботы. Од-

на касалась Маруси: несмотря на дальнейшие поиски со стороны обоих ее дядей, местопребывание ее оставалось неизвестным: как видение, она исчезла без следа.

Едва ли не более еще, однако, озабочивал Курбского один упорный слух, ходивший по городу: говорили, будто бы царевич Димитрий покинут поляками и снял даже осаду с Новгорода-Северска. Проверить этот слух не представлялось возможности. Бутурлин, с которым Курбский с первого же дня так хорошо было сошелся, не показывал уже глаз. По словам Бенского, бедному юноше, подавшему первый повод к катастрофе с Курбским в медвежьей яме, досталась за то если не «бастонада» (батог), то капитальная головомойка (eine capitale Kopfwascherei); вероятно, ему было воспрещено и навещать больного. Сам же Венский, на вопрос Курбского относительно упомянутого слуха, дипломатично отговорился тем, что война — не по его части.

Тут, накануне Валерианова дня (21 января), в комнату к Курбскому ворвался младший из дядей Маруси, весь сияя от удовольствия.

— Узнал ведь, узнал!

— Про Марусю? — встрепенулся и Курбский.

— Да нет же! Не я узнал, а он меня узнал, рукой еще вот этак махнул.

— Да кто такой, Степан Маркыч? О ком ты говоришь?

— О ком вся Москва говорит? О Басманове. Ведь ты же слышал, что государь нарочно вызвал его сюда из Северской земли?

— Слышал; да что мне в том?

— Как что? Он один ведь из всех наших военачальников дал отпор этому самозванцу...

— Ты забываешь, Степан Маркыч, — прервал Курбский, — что для меня то не самозванец.

— Ну, ну, не буду. Так вот, изволишь видеть, вышел я нонече ранним утром по делам своим из дому; как завернул на Арбат, — такое многолюдство, что с нуждою пробраться. «Куда, ребята? На пожар, что ли?» — «Какое на пожар! Басманова встречать: бояре с час уже, слышь, за город к нему выехали».

— И ты побежал за другими?

— А чем же я их хуже. Долго ли, коротко

ли, загремели барабаны, затрубили трубы, за-
свистали флейточки. Ну, едут! И точно, впереди
всех стрелцы, за стрельцами музыканты,
а там царедворцы, сперва помельче чином,
потом все крупнее, а за самыми крупными —
он, наш батюшка Петр Федорыч Басманов!
Как я тут гаркну: «Слава Басманову!» Услы-
шал ведь, оглянулся на меня, да этак ручкой
знак подал: «И ты, мол, здесь, милый чело-
век?» Тут я заорал уже во всю голову: «Слава!»
И народ кругом, спасибо, не выдал, подхва-
тил; по всей улице, как гром, прокатилось:
«Слава! Слава!..» Да ты не слушаешь, князь? —
не без досады прервал сам себя Биркин, заме-
чая раздумчивый и угрюмый вид своего слу-
шателя.

— Все слышал, — отвечал Курбский. —
Только дивлюсь я тебе, Степан Маркыч: с чего
ты так обрадовался?

— Как с чего? Перво-наперво я тоже сын
отечества; а потом... как знать? Коли подвер-
нется какой ни есть подряд для царского дво-
ра, да этакий первый боярин словечко за ме-
ня замолвит, так мое дело и в шляпе: глядь,
предоставят мне беспошлинный торг по всей

земле русской...

Несмотря на свое удрученное настроение духа, Курбский не мог не улыбнуться над полетом купеческой фантазии.

— Басманов, сколько мне ведомо, — сказал он, — вовсе еще и не боярин, а не то что первый.

— Чего нет, то может стать; а что Басманову до боярства лишь рукой подать, — это как пить дать.

В данном случае Биркин оказался, действительно, пророком. Заглянувший на следующий день к своему пациенту Бенский рассказал ему о царских милостях, которых удостоился Басманов; на первом же приеме государь поздравил этого доблестного воина со званием боярина, тут же собственноручно поднес ему золотое блюдо, весом в 6 фунтов, насыпанное червонцами, да вдобавок пожаловал ему еще поместье с крестьянами, всякие ценные подарки и наличными деньгами две тысячи рублей.

Степан Маркович торжествовал.

— А? Что я говорил? Кабы только вспомнил теперича обо мне...

И этой надежде его как будто суждено было осуществиться. По крайней мере, не далее, как через три дня, перед воротами Биркиных остановились сани вновь пожалованного боярина. Оба брата едва успели выскочить за ворота, чтобы высадить его из саней. Но на их низкие поклоны и благодарность за оказанную великую честь Басманов ответил только легким кивком. К немалому их разочарованию, он пожелал видеть лишь их постояльца, князя Михайлу Андреевича Курбского.

Сам Курбский никогда еще ранее не встречался с Басмановым. Первое впечатление, производимое на нас незнакомым человеком, редко нас обманывает. Уже самая внешность Басманова, этого статного, видного брюнета в новой, с иголки, боярской ферези с привешенной к струйчатому шелковому кушаку саблей, была очень представительна. Но что особенно расположило Курбского в его пользу, это — открытое выражение его лица, благородная простота обращения. После обмена обычных приветствий, Басманов объявил Курбскому, что прибыл к нему по желанию самого царевича.

— Царевича Димитрия! — заликовал Курбский. Басманов, однако, охладил его пыл:

О, нет. Для меня, как и для всякого верного россиянина, есть один только царевич — сын и наследник нашего царя Бориса Федоровича, Федор Борисович.

— Так что же надобно от меня сыну твоего царя, боярин?

— Какая надобность, скажи, царскому сыну от заезжего чужеземца? В особых услугах твоих нужды ему, понятно, быть не может. Но царевич наш зело еще юн: не может взирать равнодушно на чужие страдания. Как узнал про постигшую тебя злую напасть, так со всем, поди, разжалобился, выпросил для тебя у государя дохтура, чтобы починил твои изьяны, а нынче вот и меня упросил тебя проведать. Плакаться тебе на здешних хозяев, кажись, не приходится?

Такое неожиданное участие к нему царственного отрока не могло не тронуть отзывчивого сердца Курбского. Да и самому посланцу доставляло видимое удовольствие передать ему эту отрадную весть.

— Благодарствую за спрос, боярин, — про-

молвил с чувством Курбский, — царевичу же Федору великое от меня спасибо. Живу я здесь в полном довольстве, как редкому пленнику живется! — добавил он со вздохом.

— Какой же ты пленник!

— А двух конных стражников у ворот ты, боярин, разве не заметил?

— Ну, те больше для почета.

— Бог с ним, с таким почетом! И знаю я, очень хорошо знаю, кому я в этом случае обязан.

— Кому?

— Шуйскому.

— Князю Василию Ивановичу? Да, он близкий советник государя...

— Близкий, да добрый ли, надежный ли?

— Ну, об этом, князь, не нам с тобой судить! — коротко обрезал Басманов щекотливую тему. — А что Шуйский — муж острого ума и у государя в большой силе, можешь видеть из того, что государь отрядил его теперь воеводой в ратное поле.

— Вот как! На смену Мстиславского?

— Нет, ему в помощь: князь Мстиславский доселе ведь не оправился еще от своих тяже-

лых ран.

— А что, боярин, раз зашла у нас речь о ратном поле, не дозволишь ли мне порасспросить тебя кой о чем, что тебе лучше ведомо, чем всякому иному?

— Спрашивай, князь; что смогу сказать — без нужды не скорою.

— Еще о Рождестве, когда я отбыл сюда из-под Новограда-Северского, ты с своими стрельцами не мог тронуться из замка. А теперь, вишь, ты уже здесь, в Москве, да принят еще точно победитель. Что же, ты пробился сквозь нашу цепь?

— Нет, я вышел из замка безвозбранно.

— Так, стало быть, верно, что осада с него снята?

— Снята на второй же день иануария месяца.

— Но почему? Идет тут молва (только не хотелось бы верить!), будто бы гетман Мнишек со всеми своими поляками убрался вдруг восвояси. Так ли?

— Так. А почему убрался — знаю только понаслышке от раненых, оставленных ими на месте. Казна гетманская в походе-де исто-

щилась; жалованье ратникам платилось крайне неисправно; стали они роптать... При тебе, князь, этого разве еще не было?

— Было... — нехотя должен был признать Курбский. — Но гетман обнадеживал скорой победой.

— Ну, вот, и одержали они победу, отпировали ее, слышно, на славу. Однако жалованья своего никто все-таки, как ушей своих, не увидел. Тут уже все поляки возроптали, а некий пан Федро прямо будто бы пригрозил, что уйдет сейчас домой в Польшу с своим отрядом.

— И пускай бы убирался! — сказал Курбский. — Он всегда мутил других.

— Димитрий твой, однако, поопасился, знать, что уйдет этот Федро — и прочих не удержишь, тайно от других выдал ему с его ратниками все их жалованье.

— Вечно эта скрытность! А другие проведали о том и возмутились.

— Да, разграбили все припасы, разнесли боевые снаряды...

— Господи Боже мой! Да гетман-то чего глядел?

— Мнишек? Не знаю уж, правда ль, нет ли, но к нему будто бы в тот самый день и час прискакал гонец от короля Сигизмунда, с приказом, чтобы безмешкотно вернулся со всей своею ратью. Ну, он и не посмел послушаться.

— Да не сам ли Сигизмунд дозволил ему раньше наwerben для царевича вольных рыцарей и жолнеров?

— Хоть и дозволил, да, ведь, без согласия польского сейма?

— Да, негласно.

— То-то же. А государь наш Борис Федорович отрядил к королю в Краков дворянина Огарева объявить тотчас войну Польше, буде поляки не будут отозваны. Король и нашел, видно, что дурной мир все же лучше доброй ссоры.

— Бедный царевич! Каково-то ему было вынести все это!

— М-да, не сладко... Сказывают, что он совсем голову потерял, метался по лагерю от палатки к палатке, упрашивал поляков, Бога ради, не покидать его, целовал с плачем руки у польских патеров...

— Ну, это дело нестаточное! Унижаться так он не стал бы! — запальчиво перебил Курбский.

— За что купил, за то и продаю. Как бы там ни было, патеры при нем остались, да задержали с собой и тысячи полторы польской шляхты.

— Что значит такая горсть против десятков тысяч русских!

— Покамест не ушли от него и казаки. Но особенно он этому бесшабашному народу, кажись, не доверяет; зачем бы ему иначе было снять осаду?

— Так где ж он теперь?

— Засел, слышно, в Севске. Но наше царское войско также двинулось туда, и, как знать? в это самое время, что мы беседуем здесь с тобой, Севск, может, уже взят, а с ним и сам вор-расстрига.

Точно оса его ужалила, Курбский сорвался с места.

— И не грех тебе, боярин, — сказал он, — давать такую кличку родному сыну царя Ивана Васильевича!

Глаза его вспыхнули при этом таким ис-

кренним, благородным гневом, что Басманов на него загляделся.

— При нашем дворе ему нет иного звания, — отвечал он. — Да и в Разрядной книге, по повелению государеву, он точно так же прописан...*

* Выписываем здесь упомянутую статью в Разрядной книге: «Учинилась весть государю царю и великому князю Борису Федоровичу всея Руси, что назвался в Литве вор государским именем царевичем Дмитрием Углицким, великого государя царя Ивановым сыном. А тот вор, расстрига, Гришка сын сотника стрелецкого Богдана Отрепьева, постригшись был в Чудове монастыре в дьяконех и во III (1603) году сшел на Северу (в Северскую землю) и сбежал за рубеж в Литву и пришел в Печерский монастырь, а с ним вор же чернец Михайло Повадин, и умысля дьявольской кознию, разболелся до умертвия и велел бить челом игумену Печерскому, чтоб его поновил, и в духовне (на духу) сказал, будто он сын великого государя царя Ивана Васильевича, царевич Дмитрий Углицкий, а ходит будто бы в

искусе непострижен избегаючи, укрывался от царя Бориса, и он бы, игумен, после его смерти, про то всем объявил; и после того встал, сказал, будто полегчало ему. И тот игумен с тех мест учал его чтить, чаял то правда, и ведомо учинил королю и сенаторам; а тот расстрига, сложив черное платье, сшел к Сендомирскому воеводе, называючись царевичем, да и Московского государства во всей Севере и в польских городах учинилось то ведомо».

— Но он царевич, он настоящий царевич! — с жаром подхватил Курбский. — И сам бы ты, боярин, уверовал в его царское происхождение, кабы знал про него все, как я. Коли дозволишь, я сейчас расскажу тебе.

Точно испугавшись, что доводы Курбского могут оказаться слишком убедительными, Басманов быстро приподнялся.

— Я и то у тебя засиделся, — сказал он и, осторожно пожав здоровую левую руку Курбского, пожелал ему поскорее поправиться.

Опять прошли две недели времени. Тут по Москве пронеслись новые слухи, один другого для Курбского тревожнее: сперва, будто за-

порожцы, подкупленные новым царским воеводой Василием Шуйским, изменили царевичу Димитрию и ушли обратно в свою Запорожскую Сечь; потом, будто остальная рать царевича (из оставшихся при нем поляков, донцов и русского сброда) разбита наголову, причем называлось и место роковой битвы — село Добрыничи, и, наконец, будто сам царевич взят в полон, и его в железной клетке везут в Москву. Последнее известие — о пленении царевича — не подтвердилось.

— Мало ли что болтает черный народ! *Fama crescit eundo* (молва растет на ходу), — отозвался на вопрос Курбского Бенский, презрительно пожимая плечами.

Относительно же измены запорожцев и разгрома Димитриева войска под Добрыничами не оставалось уже сомнения. Вскоре стало еще известным, что царевич с поляками заперся в Путивле, а оставшиеся ему верными донские казаки, под начальством своего лихого атамана Корелы, двинулись вперед и заняли крепость Кромы, которая тотчас и была обложена царским войском.

Со дня на день Курбский ожидал роковую

весть, что Кромы пали. Но неделя шла за неделей, наступил апрель месяц, а каких-либо известий о новых успехах царских воевод что-то не приходило. Напротив того, передавали шепотом из уст в уста, что в государевой рати, безуспешно третий уже месяц осаждавшей Кромы, открылись повальные болезни, а между военачальниками возникли серьезные раздоры; далее, что от названного царевича Димитрия по всей Руси рассылаются увещательные грамоты народу, и те грамоты крепко мутят умы.

Курбский пуще прежнего порывался теперь вон из Москвы. Сломанная правая рука его совершенно срослась, и, вопреки предсказанию лекаря, он мог даже держать в ней саблю. Но на сделанный им через Бенского запрос: когда же его, наконец, отпустят, получился из дворца уклончивый ответ: «может ждать».

Так ему ничего не оставалось, как вооружиться терпением, а в ожидании упражнять одеревеневшие в лубке мышцы своей правой руки, фехтуя то с Бенским, то просто с воображаемым противником. За этим же занятием

застал его и Басманов, который неожиданно навел на него вторично.

— Вот за это хвалю! — сказал Басманов. —
Никогда не унывай, князь...

— Все со скуки, боярин, — отвечал Курбский. — С тех пор, что я оправился, и лекар мой редко уж когда заглянет, чтобы потешиться со мной сабельным боем.

— Так я могу доставить тебе это приятство, — усмехнулся Басманов и обнажил свою собственную саблю.

Клинки их скрестились. Первое нападение сделал Басманов, — сделал как бы шутя. Скоро, однако же, он убедился, что самому ему надо отбиваться от наносимых ему быстрых и ловких ударов; все более теснимый, он отступал назад шаг за шагом, пока не уперся спиной в стену.

— Исполать тебе и твоему лекарю! — сказал он, влагая саблю обратно в ножны. — Тебе хоть сейчас в рукопашную. А знаешь ли, князь: кабы нам с тобой этак бок о бок стоять в бранном поле...

— И сам я весьма рад бы, — отвечал Курбский. — Но раньше этому не бывать, пока мой

царевич не станет и твоим царем.

— Никогда он им не будет...

— Будет, будет! Правому делу Господь не даст погибнуть.

— А ты, князь, считаешь его дело правым? Ты веришь, что он настоящий царевич.

— Да как же не верить? Все, кто есть при нем, в него верят.

— Да сам-то он в себя верит ли?

— Как ты можешь говорить так, боярин! — возмутился Курбский. — Притворяйся он, неужто я, видя его каждый день, чуть не каждый час, ничего бы не подметил? Нет, он ведет себя во всем, как царский сын...

И он принялся описывать в живых образах и красках благородный нрав и все поведение, всю жизнь Димитрия, начиная с его первого появления у князя Адама Вишневецкого в Брагине вплоть до осады Новгорода-Северска. И, странное дело! На этот раз Басманов не пытался даже прервать глубоко убежденную речь пылкого юноши; слушал он молча, строго опустив глаза и сжавши губы; когда же Курбский кончил, то заметил:

— Теперь я понимаю, князь, что ты ему так

безмерно предан. Винить тебя за то у меня язык не повернется. Но мы с тобой как люди разной веры: ты веришь в своего царевича, как я в моего царя. Не будем же спорить, смущать друг друга. Не могу ли я чем услужить тебе? Скажи.

— Можешь, боярин; одно у меня челобитье: дай мне выбратся, наконец, из этой тюрьмы!

— Да какая же это тюрьма? Жизнь у тебя здесь довольственная, привольная...

— Привольная, когда и шагу не смею сделать за ворота!

— Почему так? Гуляй себе безвозбранно по всему городу.

— С двумя стражниками за собой? Я, слава Богу, не колодник и не подлый раб, а свободный человек, прибывший сюда по охранному листу.

— Да от кого? В том-то и дело! Что, сидя этак в четырех стенах, ты извелся со скуки, — как не поверить. Ходатайствовать о том, чтобы тебя сейчас отпустили из Москвы, — мне, видишь ли, не совсем способно. Убрать же стражников, — приложу все тщания.

— И за то, боярин, буду тебе много благодарен! До сего времени ведь не мог поклониться даже святыням московским.

— А ты даешь мне свое княжеское слово без ведома царя не отлучаться из Москвы?

— Даю.

— Так наутрие стражников уже не будет. А засим будь здоров; авось, скоро опять свидимся.

Глава четырнадцатая

КАК ОПАСНО ТОМУ ЗАХОДИТЬ В КРУЖАЛО,
КТО НЕ ДЕРЖИТ ЯЗЫКА ЗА ЗУБАМИ

Первое, что услышал Курбский на другое утро от прислуживавшего ему при одевании Петруся Ковалея, было, что обещание Басманова исполнено: у ворот дома не видать стражников, торчавших там и денно и ночью, как бельмо на глазу.

«Хороший человек — этот Басманов, — сказал себе Курбский. — Откуда только он у Годунова такую власть взял?»

О главной причине тому он, конечно, не мог знать: недавно еще Годунов прочил в мужья своей единственной дочери, княжне Ксе-

нии, своего первого воеводу, князя Мстиславского. Теперь же, когда Мстиславский, вместе с Шуйским, не мог одолеть самозваного Дмитрия, а героем дня стал Басманов, Годунов наметил себе в зятя уже Басманова, обещав ему в приданное за Ксенией царства Казанское и Астраханское, не ранее, однако, пока тот не представит ему самозванца живым или мертвым.

Сам Басманов, впрочем, также не подозревал, что хотя царь и снизошел на его просьбу — удалить стражников от дома Биркиных, но что вслед за тем начальником сысканого приказа, князем Татевым, по особому царскому повелению, были отряжены двое ловких сыщиков, чтобы следить за Курбским на его прогулках по городу неотступно шаг за шагом.

Не зная этого, Курбский вышел на улицу в самом лучшем расположении духа. Сопровождал его только его верный казачок; за три месяца пребывания в Москве, Петрусь успел исходить Москву вдоль и поперек, а потому мог служить ему уже довольно опытным проводником.

Было тринадцатое апреля 1605 года, навсегда затем врезавшееся в память Курбского. Покамест, однако, ничто еще не предвещало рокового переворота, висевшего уже, так сказать, в воздухе, и на душе у Курбского было так легко, так хорошо! Погода стояла ведь такая солнечная, чисто весенняя; на пригреве было совсем даже тепло, почти по-летнему. За зиму хотя и навалило громадные сугробы снега (о вывозе его за город не было тогда, конечно, и помину), но, под действием весеннего солнца, от них остались только жалкие, серые кучи, с бесчисленными колдобинами и водороинами, по которым резво бежали и журчали мутные ручейки. На деревянных заборах и в видневшихся за ними безлиственных еще деревьях задорно чирикали и трещали воробьи. И прохожие на улице словно пробудились от долгой спячки: все шли как-то особенно бодро, посвистывая, со смехом перепрыгивая лужи и весело только вскрикивая, когда переложенные кое-где доски под ногой тяжело хлюпали по воде. На всех лицах была написана радость возрождения: «А ведь славно все-таки жить на белом свете!»

Так, по крайней мере, сдавалось Курбскому. У него самого встрепенулось во груди давнишнее, насильно заглушаемое им чувство. Он готов был опять поверить в возможность собственного счастья; а какое счастье было бы для него без Маруси? Если Богу угодно, то она, конечно, найдется; надо ему только уповать на милость Господню, молиться о том крепко, всем сердцем, всем помышлением...

И он уже в Кремле — в Архангельском соборе, ставит свечи перед святыми иконами, прикладывается к нетленным мощам угодников Господних и молится, молится, молится, сперва, разумеется, за нее — за Марусю, но потом и за своего царевича, за всех своих доброжелателей и недругов: за пана Тарло, Балцера Зидека и кто бы там еще ни был.

Когда он, наконец, вышел из собора, на душе у него был такой же мир и покой, как в самом храме. Впервые после долгого, долгого времени он мог опять всем своим существом отдаться окружающей жизни. А его юный спутник только этого и ждал, обращал его внимание на все, что попадалось на глаза.

— Смотри-ка, княже, — указал он на дере-

вянную мостовую, проглядывавшую уже кое-где сквозь ледянисто-снежную кору. — Тут все равно, что по полу ходишь. Само собой, что этакий пол в одном Кремле.

— А камнем здесь разве совсем не мостят? — спросил Курбский.

— Камнем? — удивился Петрусь. — Да где ж ты наберешь столько камню, чтобы замостить целый город?

— В столице польской Кракове на всех лучших улицах мостовые каменные.

— Ова!

— Верно тебе говорю.

— Ты сам, княже, своими очами видел?

— Сам.

— Стало, верно. Ну, да ведь то какой ни на есть польский городишка, а это, на-ка, поди, Москва-матушка! Как пораскинулась! Сто лет мости — не замостишь.

Каменных мостовых Москва, действительно, дождалась только без малого через сто лет, при Петре Великом (указ 1692 г.).

— А вон и крючоктворы, чернильные души! — заметил Петрусь.

В самом деле, здесь же, под открытым

небом, на Ивановской площади расселось за столиками несколько площадных писцов, а стоявший перед ними безграмотный люд диктовал им письма к родным, либо излагал им свои нужды для составления кляузных челобитных или оброчных, мытных, купчих и иных актов.

В Кремле же Петрусь подвел своего господина к царь-пушке. На ней был изображен царь Федор Иванович в царском облачении и со скипетром, верхом на коне. Тут Курбский узнал от своего казачка, что первым удовольствием этого царя было звонить в колокола.

Из Кремля они Фроловскими (ныне Спасские) воротами прошли в Китай-город, этот торговый центр столицы. И в ту пору уже вдоль Красной площади тянулись всевозможные торговые ряды: иконный, колчанный, пушечный, сапожный, красный, хлебный, кашанный и соляной, рыбный, сельдяной, луковый, медовый, свечной и мыльный.

Тут же и Лобное место, где в большие праздники бывало богослужение, а также объявлялись народу всякие царские указы. Вокруг же шалаши да балаганы мелких тор-

говцев шапками, рукавицами, кушаками и разной снедью.

Заметив, что Петрусь, облизываясь, заглядывается на лоток разносчика с разными простонародными лакомствами, Курбский купил для него пряников и орехов.

Жуя, грызя и щелкая, мальчик тем не менее находил время любоваться «небывалой красотой» разноцветных куполов церкви Василия Блаженного, а также рассказать своему господину о том зодчем, который создал это «великолепие» по приказу Грозного царя. К удивлению его, Курбский отнесся как будто неодобрительно к решительной мере царя, велевшего выколоть глаза искуснику-зодчему, чтобы тот отнюдь не вздумал построить такое же чудо для кого-либо другого.

Когда они затем меж торговых рядов проходили по Ильинке, сам Курбский остановился при виде одного любопытного зрелища: посреди улицы несколько цирюльников одновременно занимались стрижкой волос и не успевали удовлетворить всех желающих, ожидавших своей очереди. Вся улица кругом была точно вымощена волосом, который ни-

когда, по-видимому, не убирался; нога в нем утопала, как в пуховике.

— Вся Москва, кажется, стрижется сегодня! — заметил Курбский.

— А то как же, — отозвался Петрусь, — ведь ноне же суббота — день банный.

Из Китая пройдя в Белый город, они с Лубянки свернули к Кузнецкой слободе (в настоящее время — Кузнецкий мост). Но где теперь высятся каменные громады с зеркальными окнами роскошных магазинов, тогда стояли лишь простые лачуги, а сама улица представляла почти непролазные «великие» грязи.

— Однако, братец, в какую трущобу ты завел меня... — сказал казачку своему Курбский.

— Да не сам ли ты, княже, пожелал узнать Москву, как она есть? — оправдывался тот. — Спасибо, хоть вся жижа стекает в реку (Неглинной зовут) не то совсем бы проходу не было. Коли тебе чего позанятней, так сходим еще к Лебяжьему пруду. Какие там лебеди, я тебе доложу, — подлинно царские!

И повел он его топким берегом Неглинной и краем нынешней Театральной площади,

где в не высохавшей даже летом огромной луже гляделось как в зеркале, несколько ветряных мельниц; потом далее, вдоль глубокого рва за Кремлевской стеной, где теперь раскинулся великолепный Александровский сад, а тогда было чуть не сплошное болото, служившее притом свалочным местом. Поэтому Курбский был радешенек, когда они выбрались, наконец, к Лебяжьему пруду. Пруд настолько очистился уже ото льда, что лебедям было где плавать. Увидев подходящих, они не замедлили подплыть к берегу, а выползший из своей сторожки инвалид-сторож вынес для них Курбскому несколько ломтей ситника. Заплатив за хлеб, Курбский принялся кормить лебедей.

— А мне, княже, тоже можно? — спросил Петрусь.

— Разумеется.

Но мальчик, завладев самым большим ломтем, преспокойно стал уплетать его сам за обе щеки.

— Эге! Так ты это для себя! — улыбнулся Курбский.

— Да чем же я хуже лебедя? А тебя, княже,

разве голод еще не пронял?

— Не то что голод, а жажда. Глоток бы воды...

— Зачем же воды, коли есть мед да брага? — подал голос сторож.

— Где, дедушка?

— Да вон сейчас тут, около Боровицких ворот, царское кружало, — буде твоя милость только не погнушается сесть за один стол с подлым народом.

Курбский, проведенный не один год среди «подлого народа», не стал гнушаться и пять минут спустя, в сопровождении своего казачка, входил уже в кружало.

Кружалами, где народ «кружит», в старину назывались попросту питейные дома. Впрочем, кроме напитков, там можно было получать и разного рода снедь. Поэтому Курбский, присев о край длинного стола в красном углу, очищенный для него «подносчиком», велел подать чего-нибудь посытнее для Петруся, себе же потребовал только кружку меда.

— А сам, господин честной, ничего не покушаешь? — спросил подносчик, принеся

Петрусю кулебяки, на которую тот накинулся голодным волком.

— Нет, — отказался Курбский, невольно поморщась, — очень уж тут у вас душно: дышать нечем.

— О! Это недолго справить.

И расторопный малый поднял опускающую раму и подпер ее деревянными подпорками. С наслаждением вдыхая струю пахнувшего снаружи свежего воздуха, Курбский отпил полкружки, а затем с любопытством огляделся.

Помещение кружала было самое незатейливое: просторная, но простая бревенчатая изба; несколько покрытых грубыми скатертями столов с некрашеными скамьями без спинок; в глубине огромная, неуклюжая печь с лежанкой, да хозяйская стойка, за которой по всей стене полки с посудой, и тут же висящий оловянный умывальник с полотенцем — для посетителей, желавших умыть руки; но полотенце, по-видимому, не первой свежести.

Хотя день был будний, но час был положенный обеденный: в те патриархальные времена как вельможи, так и простолюдые

обедали в полдень. Так все столы кругом были заняты. Шнырявшие взад и вперед молодые парни-подносчики, в красных рубахах и с белым полотенцем под мышкой, то и дело утирали полотенцем пот, катившийся с их разгоряченных лиц в три ручья, а вслед за тем, конечно, не задумывались обтирать тем же полотенцем подаваемую посетителям посудину. Откушав, некоторые из посетителей оставались еще поиграть в шашки либо в зернь (игра в зернь на чет и нечет); большинство же, разомлев от еды, отправлялись тотчас, по тогдашнему обычаю, домой на боковую, — кто на часок, а кто и на два.

Наружные двери беспрестанно хлопали, выпуская одних и впуская других. Так, вскоре за Курбским, вошли один за другим еще двое: толстенький купчик в охабне синего сукна с закинутыми назад рукавами и субъект неопределенной профессии с сизым носом и в поношенной, кургузой епанче. Купчик, быстро оглядевшись, поманил к себе пальцем одного из подносчиков, сунул ему что-то в руку и кивнул на красный угол, где поместился Курбский с Петрусем. Подносчик мигом очи-

стил ему желаемое место, спровадив за дверь сидевшего рядом с казачком сермяжника.

— Что, милый паренек, кулебякой балуешься? — отнесся купчик с ласковой важностью к Петрусью. — Есть можно?

— Ничего себе: даже очень хороша... — отвечал Петрусь с полным ртом.

— Ну, так и мне подай-ка кулебяки, да уже сразу два добрых куса, — заказал купчик подносчику.

— А питья какого твоя милость прикажет? — предложил подносчик. — Есть всякое: ренское, угорское, мальвазия...

— И все-то, я чай, московского производства?

— Знамо, московского; а то еще какого ж?

— Эх ты, фофан! Проваливай! Да куда ж ты? Постой! Нацеди-ка мне жбанчик браги, да смотри, чтобы играла и пенилась, как быть следует.

Между тем кургузый, который уже при входе своем был, казалось, навеселе, подошел к стойке. Повелительным голосом приказав налить чарочку «сивалдая» (сивухи), он разом опрокинул ее в горло; после чего колеб-

лющейся, как бы порхающей походкой направился туда же, где пристроился купчик.

— Хлеб да соль! — с поясным поклоном обратился он к Курбскому, а потом и к купчику. — Зван бых и приход.

Курбский показал вид, что не слышал; купчик же снисходительно усмехнулся:

— Кто тебя звал, забубенная башка?

— Кто зовет добрых людей в кружало царево, как не отечественная хлебная слеза?

— Хлебная слеза?

— Да, что старого и малого под тын кладет. Руси есть веселие пити — не может без того быти. Не примите ли, государи мои, в свое общество?

— Что ж, садись, пожалуй, гость будешь, — великодушно снизошел за себя и за других купчик. — Потеснитесь, православные.

Занимавшая нижний конец стола компания серых мужичков потеснилась не очень-то охотно; но между крайним из них и сидевшим около Курбского сухопарым, смиренного вида мужчиной в черной «однорядке» (однобортном, долгополом кафтане без ворота) образовалось все-таки достаточное простран-

ство для кургузого. Считая его уже как бы своим гостем, купчик покровительственно спросил его, не желает ли он тоже какого-либо брашна.

— Ужо виднее будет, — был ответ. — А для почину выпить бы по чину.

— Хлебной слезы? Хе-хе-хе! Эй, малец, подай-ка хлебной. А ты, милый человек, складно, вижу, говоришь: верно, в грамоте умудрен?

— Сподобился малость: в чернилах рожден, бумагой повит, концом пера вскормлен.

— Инако сказать: приказная строка, красивное семя, — неожиданно выпалил тут смиренный однорядец.

— Ах ты, такой-сякой! — оскорбился приказный и ударил себя в грудь кулаком. — Я сам себя хоть кормлю, а ты при чем состоишь?

— Я-то?

— Да, ты.

— При христианском тоже деле — при монастыре.

— Да ведь не монашествующий?

— Нет еще... В смиренномудрии и покор-

стве судьбе спасаюсь покуда лишь от колдовратностей жизни...

— И зубами за других работаешь? — насмешливо перебил приказный. — Тоже свят муж — монастырский захребетник! Только пеленой обтереть да в рай пустить.

Даже мужичков смех взял. Сам смиренник готов был, кажется, окрыситься; но купчик принял его сторону.

— Ну, полно, милый человек, — заметил он насмешнику. — Захудал, вишь, от «колдовратностей»; дай нагулять себе тело. Все же не совсем пустосвят, монастырю своему верен, не какой ни на есть беглый расстрига, Гришка Отрепьев.

— Гм... — промычал приказный и, лукаво подмигивая одним глазом, спросил пониженным голосом. — А твое степенство как насчет одного Отрепьева смекаешь?

— То есть, как смекаю?

— Да как ты его понимаешь? Точно ли он простой расстрига?

— Коли самим благоверным царем нашим всенародно объявлено.

— Да для чего, спроси, объявлено?

— Для чего?

— Может, для того, чтобы глаза отвести. Молва ходит, говор бродит; где наткнется, там и приткнется.

И, как бы в рассеянности схватив стоявший перед купчиком жбан с брагой, приказный присосался к нему, пока не вытянул доброй половины, после чего окинул окружающих смелым взглядом и прищелкнул языком.

Всем, казалось, стало как будто не по себе. Особенно же струхнул монастырский захребетник.

— Владыко живота моего! — пробормотал он, крестясь. — Все это пустобрешество...

Но захмелевший приказный, как борзый конь, принятый в шенкеля, закусил уже удила.

— Пустобрешество? — подхватил он. — Га! Уж коли на то пошло, то скажу прямо: хоть и объявлен тот человек расстригой Отрепьевым, а взаправду-то он вовсе не расстрига, да и не Отрепьев...

— Прекрати! — прервал его опять захребетник. — Видно, ты о двух головах.

— Чем тяжелее язык, тем легче речи, — за-

метил купчик. — Мало ли кто себя за кого выдает! А коли приказано нам почитать его за самозванца...

— Приказано! — вскинулся охмелевший. — Нешто мыслям своим что прикажешь?

— Так кто же то по-твоему?

— Кто? Да я жив быть не хочу, коли то не подлинный царевич Димитрий! Потолкуем с тобой вразумительно. Будь он просто беглый расстрига, так зачем бы великому государю трепетать его, как буки, нарочито посланиями разуберять народ?

— Да что, и правда ведь... А ты как полагаешь, господин честной? — обратился купчик к Курбскому.

До сих пор Курбский не вмешивался в разговор, хотя сердце в нем учащенно билось. Но на такой прямой вопрос отречься от своего царевича — казалось ему постыдным малодушием. И у него, точно его кто толкнул, само собой слетело с языка:

— Для меня-то он несомненный царевич Димитрий.

Петрусю давно уже не терпелось вставить

свое слово, и он хвастливо договорил за своего господина:

— Мы близкие ему люди и нарочно присланы от него в Москву.

От такой излишней болтливости казачка Курбского покорило — не со страху за себя лично, а потому что он словно бы превысил данное ему царевичем полномочие. Смутились, видимо, и мужички; а монастырский захребетник разом вскочил из-за стола.

— Куда, брат? — спросил приказный, хватая его за рукав.

— Блажен иже не иде на совет нечестивых, — отвечал тот, тщетно стараясь высвободить свой рукав.

— Постой, погоди! Ты слышал ведь сейчас, что господин этот и холоп его подосланы сюда самозванцем и прямо называют его царевичем Димитрием? И вы тоже слышали, православные?

Ответа ни от кого не последовало. Но общее глухое молчание служило как бы ответом.

Махнув рукой нескольким стрельцам, сидевшим за одним из соседних столов, приказ-

ный зычно гаркнул на все кружало:

— Слово и дело!

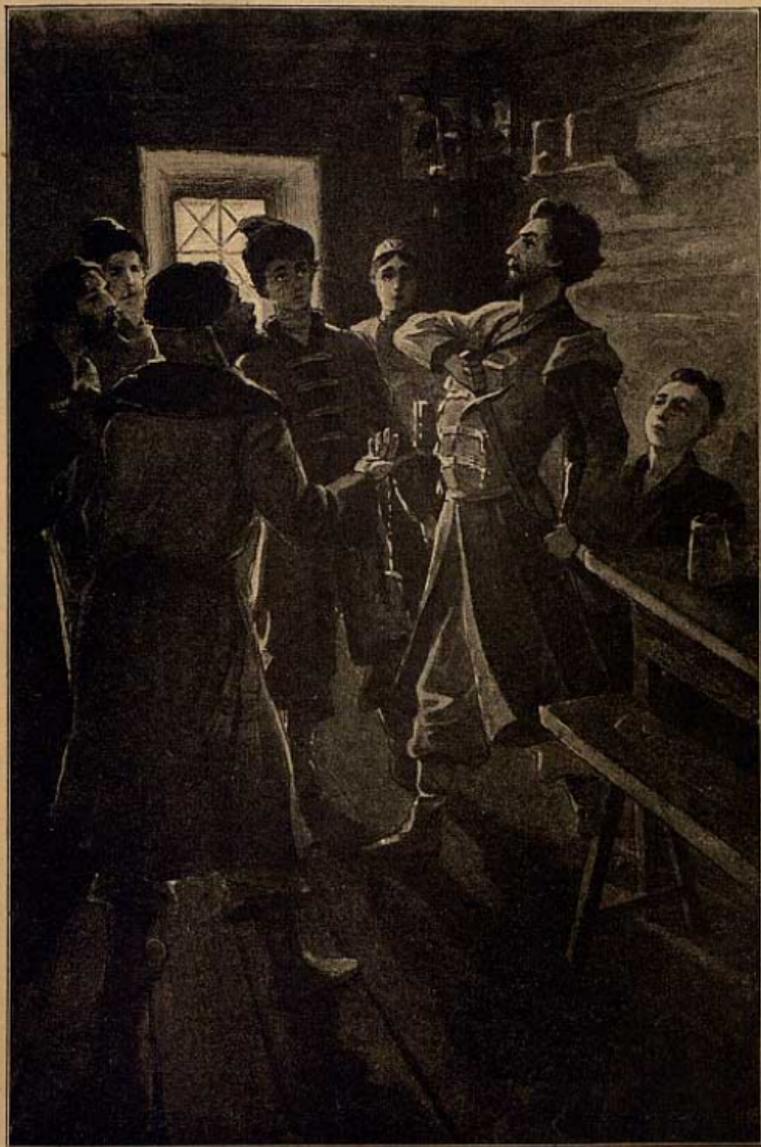
Слишком хорошо известен был всей Москве этот страшный окрик отечественной инквизиции тайного сыскного приказа. Стрельцы не замедлили нагрянуть и окружить Курбского и Петруся; остальные посетители кружала, сколько их ни было, точно также всполохнулись. Но приказный предупредил их:

— Стой! Никто покуда ни с места! А теперь, сударик мой, — обернулся он к Курбскому, доставая из кармана пару железных наручников, — пожалуй-ка сюда твои рученьки.

— Ни за что!

И Курбский схватился за саблю. Неизвестно, чем бы окончилась эта неравная борьба, не вступишь в дело второй сыщик-купчик.

— Не замайте его, ребята, — сказал он. — Его милость — человек рассудливый: попусту чинить противление не станет. Сила солому ломит, господин честной; усугублять свою вину пролитием крови верных слуг государевых ты ведь не похочешь? А мы тебя избавим от сих ручных украшений, буде ты добровольно



сдашь нам свое оружие.

Что оставалось Курбскому, как не покориться обстоятельствам?

Не долго упирался теперь и монастырский захребетник, которого сыщики признали нужным, вместе с двумя мужичками, прихватить тоже с собой на случай, что «востребуются какие-либо вопрошания».

— Скорпионы, аспиды! — ворчал он только сквозь зубы. — Я немотствую и умываю руки в неповинных.

Глава пятнадцатая

КОНЧИНА ГОДУНОВА И БЕГСТВО КУРБСКОГО

Боярин или боярский сын, ведомый по улице стрельцами, как обыкновенный преступник, — это было и тогда явлением незаурядным; а потому редкий прохожий не оглядывался на Курбского, возбуждавшего притом своим молодцеватым и благородным видом невольное сочувствие. Иные, посмелее, обращались к конвойным с вопросом, за что, мол, его взяли и куда ведут. Но те отгоняли их резко и сурово:

— Пошли, пошли, пока самих не забрали!

Раз до слуха Курбского донеслось и соболезнование какой-то женщины:

— Ах, ты родненький, красавчик этакий! Нешто такой может быть злодеем! Помоги тебе Господи и Ми-кола заступник!

Краска стыда заливала щеки Курбского, и он вздохнул с облегчением, когда, наконец, очутился в мрачной и неприятной приемной сыскаго приказа (находившегося в Кремле,

около Архангельского собора).

— Что, сам тут? — справился приказный у дневального стража.

На утвердительный ответ, он юркнул в боковую дверь; товарищ его — следом за ним.

В это время откуда-то снизу, точно из-под пола, донеслись какие-то отрывистые крики и глухие стоны.

— Что там такое? — справился Петрусь шепотом у своего господина. — Уж не застенки ли?

— Надо быть, что так: кого-нибудь, знать, пытаются, — отвечал Курбский. — Но ты, милый, не бойся: тебя я на этот раз не дам в обиду.

— О! С тобой, княже, мне ничуть не страшно. А станут пытаться, хошь все жилы вытянут, — ни от тебя, ни от царевича нашего не отступлюсь.

Тут в дверях показался какой-то жиденский, невзрачный человечек в забрызганном чернилами кафтане с высоким козырем (стоячим воротом); за ухом у него торчало гусиное перо; у пояса болталась на цепочке медная чернильница. Но чего ему недоставало в ро-

сте и во всей внешности, то он старался восполнить своей петушиной осанкой и заносчивым обращением. Едва удостоив арестованных косого взгляда, он объявил стрельцам:

— Нынче допроса не будет: посадить их в яму! Курбский вспыхнул и выступил вперед.

— Позвольте узнать, — спросил он, — чье это приказание?

Тот оглядел его теперь нахально с головы до ног.

— Чье приказание? Да хоть бы мое!

— Так, видно, ты сам боярин князь Татев, что начальствует в приказе?

— Не сам боярин, вестимо...

— А не сам, так только подначальный его письмоводчик, дьяк?

Слово «только» задело зазнавшегося дьяка за живое. Но решительный вид и могучая фигура Курбского не позволили ему слишком возвысить тон.

— Боярина нашего здесь нету, — буркнул он, — крепко занедужил...

— Так ли? Сейчас вот только дневальный говорил, что он здесь.

— Ты что ж это, чертов сын? — напустился дьяк на дневального. — болтаешь зря, когда строго воспрещено...

— Помилуй, кормилец! — взмолился тот. — Коли сыщик спрашивает, так как же скрыть-то?

— Ладно! С тобой разговор впереди. Так изволишь видеть, — обратился дьяк опять к Курбскому, — боярина, будто, здесь и нету.

— Все-таки, пойдя, доложи: не тебе обо мне решать.

— Но ему, слышал ведь, неможется. Нынче в сборе вся боярская дума: государь принимает иноземных послов; а боярин мой, вишь, отговорился; если ж и пожаловал сюда, в приказ, то ради совсем неотложного дела.

— Для пристрастного допроса.

Новый искрометный взгляд в сторону дневального. Но Курбский выгородил последнего:

— Этого-то он мне не выдавал; выдал сам пытаемый. Вон, слышишь?

В самом деле, из-под пола, как и прежде, долетел отчаянный, как бы предсмертный вопль.

— Дурачье! Не могут утихомирить... — прошипел дьяк. — Да что же мне доложить от тебя боярину?

— Доложи, что я такой же полномочный посол, как и те, и что за всякое насилие надо мной ему не сдобровать.

— Так вот ему и скажешь!

— А не скажешь, так тебе же первому быть в ответе.

Как ни был опытен дьяк в самых кляузных вопросах, но тут стал в тупик. Машинально взяв из-за уха перо, он бородкой его в раздумье почесал себе переносицу, а затем, круто повернувшись на каблуках, удалился. Прошло не мало времени, когда он опять вернулся, чтобы провести Курбского и его казачка в соседний покой, где они застали уже обоих сыщиков.

Вслед затем из противоположных дверей вошел сам начальник тайного сыскного приказа, боярин князь Татев. Шел он вперевалку, шаркая подошвами, словно ногам его было не под силу нести его грузное тело; а болезненно-желтый, как бы от разлития желчи, цвет его обрюзглого и злого лица, в особенности

же сильный кашель, одолевший его с первых же слов, наглядно подтверждали, что ему, действительно, не здоровится.

Свысока чуть-чуть кивнув головой на поклон Курбского, он приступил прямо к допросу:

— Ты называешь себя Курбским?

— Да, я князь Михайло Курбский, полномочный посланец царевича Дмитрия...

— Такого царевича нет...

— Для тебя, боярин, покуда нет, но скоро, поверь мне, будет. Сам царь твой Борис Федорович принял меня как его посланного.

— Но разорвал его грамоту!

— А! Так ты был тоже при этом? Стало быть, ты слышал сам, что царь велел мне ждать его ответную грамоту, а посему без него надо мной здесь не может быть никакой расправы. Коли же я, по твоему, в чем виноват, то идем сейчас к самому царю.

Вежливый, но решительный тон Курбского, возражавшего грозному допросчику смело, не моргнув ни одним глазом, остался не без действия.

— Гм... — промычал Татев, обводя комна-

ту исподлобья свирепым взглядом. — До-прежь того во всяком разе я должен допросить тебя...

— Понапрасну, боярин, станешь только утруждать себя, — прервал Курбский. — Я не присягал царю Борису и не обязан отвечать кому-либо из его бояр; самому же царю я готов держать ответ. Веди меня к нему.

Стоявший в почтительном расстоянии позади своего начальника дьяк приблизился теперь к нему на цыпочках и начал что-то ему настоятельно нашептывать. Напряженный слух Курбского подхватил последние слова:

— Не дай Бог его теперь прогневить! Ну, а коли сам уж прикажет подвергнуть законному истязанию...

— Будь так, — согласился, видимо неохотно, Татев. — Мне придется ведь еще заехать к себе обрядиться...

И в сердцах он посулил кому-то дьявола.

— А этих вот, — спросил дьяк, указывая на наших арестантов, — отправить во дворец?

— Безпромедлительно! И со свидетелями. Сам бы, кажись, мог догадаться. Не малый ребенок!

И, злобно фыркая, боярин закутался плотно в поданную ему дорогую шубу, нахлобучил до бровей пышную соболью шапку и вышел на крыльцо, чтобы сесть в дожидавшийся его там собственный возок.

Когда затем Курбский с Петрусем, с тремя свидетелями и обоими сыщиками, под тем же стрелецким конвоем, подходил ко дворцу, здесь стояло несколько таких же боярских возков и саней, впереди же всех красовался раззолоченный сверху до низу возок, запряженный шестерней белой масти цугом (с двойным выносом) в сверкающей серебром упряжи.

«Посольский возок! — сообразил Курбский. — Значит, послы еще во дворце, и есть время обдумать, что сказать Годунову».

Но обдумывать ему уже было нечего. Едва лишь вошли они в обширные сени-вестибюль и стали в сторонке, в ожидании прибытия князя Татова, как главные двери во внутренние царские покои шумно растворились, и оттуда не столько выбежали, сколько вылетели двое мужчин в праздничной иноземной одежде. Очевидно, то были сами послы (дат-

ские, как узнал впоследствии Курбский). Их разгоряченные, растерянные лица, а также та неподобающая их званию торопливость, с какой они приняли поданное им верхнее платье, чтобы без оглядки затем вырваться на вольный воздух, показывали, что произошло что-то совсем необычайное. Подтверждалось это и тем переполохом, который одновременно поднялся во всем дворце, загудевшем, как роящийся улей. Двери то и дело хлопали; через сени взад и вперед перебегали и слуги и высшие чины, метались как угорелые и, сшибаясь друг с другом, не думали извиняться. Из общего гомона голосов можно было разобрать только одно:

— Государь умирает! Да где ж эти проклятые лекаря? Бегите, зовите лекарей!

А вот и один из них, почтенный, бритый старичок. Несколько рук сразу сорвали с него плащ и не дали ему даже оправить фалды своею долгополого, черного кафтана.

— Скорей, мейн герр, скорей: того и гляди, истечет кровью...

— О, Gott! Was soli das werden? (О, Боже! что-то будет?) — бормотал про себя старичок

и опрометью побежал вперед, семена своими высохшими, как палки, ножками в черных, до колен, чулках и башмаках с серебряными пряжками.

Курбский как-то уже слышал, что Годунов давно страдает бессонницей и ломотой в ногах (подагрой), что с году на год, можно сказать, со дня на день он становится раздражительнее; но что телесным складом он еще крепок. Так с чего бы теперь вдруг?.. От кого бы узнать?

Тут в дверях появился Басманов и повелительно крикнул:

— Позвать к государю святейшего патриарха, да чтобы сейчас был здесь! Слышите?

Несколько слуг со всех ног бросилось исполнить приказание царского любимца. Сам он повернулся было, чтобы уйти, когда на глаза ему попался выдвинувшийся вперед Курбский.

— Князь Михайло Андреич! — удивился он и подошел ближе. — Ты под стражей? Что это значит?

— Это значит, что уличен в измене, — отвечал с самодовольством сыщик-приказный.

— Тебя не спрашивают! — сухо оборвал его Басманов; затем снова обратился к Курбскому, — не сказался ли ты сторонником того человека, что выдает себя за царевича Димитрия?

— Да, отречься от него мне, посланцу его, не приходилось. А что такое, скажи, боярин, с царем-то? Не вышло ли у него чего с этими иноземными послами?

— Ох, уж эти мне послы! Упившись зело вином, заспорили с государем, как с равным себе, стали требовать совсем несуразного...

— Так было это за обеденным столом?

— Да, в Золотой палате. Государь же, крепко на них осерчав, в гнев своем вскочил с престола, да вдруг как грохнется на пол... Кровь из носу, из глаз, из ушей...

— И о сю пору он все там же еще, в палате?

— Нет, его подняли, перенесли в опочивальню; но по всему-то пути за ним кровь да кровь...

Тут Басманов словно спохватился, что сказал, пожалуй, лишнее. Кивнув Курбскому со словами: «Ужо еще увидимся», он быстро удалился.

Патриарший двор находился рядом с царским дворцом; поэтому не прошло и десяти минут, как наружные двери снова раскрылись, чтобы впустить его святейшество с напутствующим его старшим церковным клиром. Патриарх Иов был первым из московских патриархов, избранным (в царствование Федора Ивановича в 1589 г.) не в Царьграде, а в самой Москве, всероссийским собором. Преклонный возраст и строго схимнический образ жизни наложили печать «не от мира сего» на его высохшее, изборожденное морщинами лицо и впалые глаза. Но свою убеленную редкими прядями волос и покрытую митрой голову он нес высоко. Держа в правой руке золотое распятие, он левой почти не упирался на свой патриаршей жезл. Если его и вели под руки два видных архиерея, то скорее для почета. На ходу благословляя преклонявшихся перед ним мирян, он проследовал далее, сопутствуемый тремя митрополитами: Ионой — со святыми дарами, Еρμοгеном и Исидором. Какой благоговейной любовью пользовался святитель у москвичей, можно было судить уже потому, как заговорили теперь о

нем все оставшиеся в сенях; причем одни восхищались его лазоревым атласным облачением и золотой митрой, разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями, а другие препирались относительно его жезла: был ли то жезл воскресный или панихидный.

Курбский был, однако, слишком взволнован, чтобы вслушиваться в эти разговоры. О нем самом как будто все забыли. Не заметил его и князь Татев, прибывший, наконец, ради него же из дому. От быстрого перехода сперва из тепла собственного дома на свежий воздух, а затем с улицы в теплые сени дворца, боярин жестоко раскашлялся. Пока с него снимали шубу, ему наскоро доложили о случившемся, и он, все еще кашляя, поспешил в царскую опочивальню. Что за дело, право, было ему теперь до какого-то уличенного преступника, хотя бы и княжеского рода, когда сам царь лежал на смертном одре!

А царю становилось, видно, все хуже. Подначальные придворные чины и слуги продолжали шмыгать взад и вперед с перепуганными лицами, тайнственно перешептываться между собой. Так время шло да шло...

— Смотри-ка, княже, тот боярский сын с медвежьей ямы, Бутурлин, — шепнул Курбскому Петрусь. — Не тебя ли он ищет?

Показавшийся на пороге Бутурлин, действительно, искал кого-то глазами, завидев же Курбского, направился прямо к нему.

— Здорово, милый князь, — сказал он. — Где встретиться-то довелось! Пожалуй-ка за мной.

— Куда, смею спросить? — вмешался тут сыщик-приказный.

— Куда велено.

— Да кем велено-то? Князем Татевым? Бутурлин вымерил сыщика взглядом, полным нескрываемого презрения.

— Не князем Татевым, а кое кем, может, еще повыше: боярином Петром Федоровичем Басмановым.

Имя победоносного воина и нового фаворита имело уже магическую силу. При всей своей наглости, сыщик нехотя преклонился перед этим именем и отступил назад.

— А я-то что же? — спросил Петрусь. Бутурлин теперь только узнал казачка и приветливо кивнул ему головой.

— А, это ты? Ну, конечно, куда господин, туда и слуга.

Так они втроем беспрепятственно целым рядом палат и полутемных переходов прошли весь дворец, пока не вышли на заднее крыльцо. Здесь Бутурлин опасливо огляделся, но кругом не было ни души. Кому, в самом деле, была охота сторожить какое-то заднее крыльцо, когда внутри дворца совершалось событие, которое должно было перевернуть весь прежний строй придворного быта!

— Ну, прощай, князь, — сказал с чувством Бутурлин. — Где-то судьба даст еще свидеться!

— Как так? — спросил, недоумевая, Курбский. — Ведь ты сейчас говорил, что ты от Басманова?

— Да, я провел тебя сюда по его приказу, но для того, чтобы ты мог тихомолком выбрать-ся на улицу, а там — куда хочешь, на все четыре стороны. Самому ему нельзя теперь отойти от умирающего государя...

При этих словах юноша всхлипнул, и из глаз его брызнули слезы.

— Ты не дивись, что я плачу, — продолжал

он, утирая глаза. — Но государь был ко мне всегда так милостив...

— А разве ему наверное не выжить?

— Где уж! Еле успел проститься с царицей, с царевичем, царевной, благословить царевича на царство, а потом воспринять схиму...

— Его постригли уже в монахи?

— Да, с именем Боголепа. При мне же он впал в беспамятство и стали его соборовать. Ах, Бог ты мой! Мы с тобой заболтались, а тебя могут хватиться. Беги, голубчик князь, спасайся, и что бы сегодня же, смотри, в Москве духу твоего не было.

— Нет, я остаюсь, — с решительностью объявил Курбский. — Прежде, чем царевич Федор возложит на себя венец царский, я переговорю с ним, и он уступит, должен уступить венец подлинному сыну царя Ивана Васильевича!

— Если недоброхоты твои тебя до него допустят! — возразил Бутурлин.

— Да как они посмеют меня не допустить? Я скажу тому же Басманову...

— Боярин Басманов пожалел тебя, точно;

но в боярской думе он еще не верховодит.

— Да, наконец, сам царевич Федор, как только ему доложат обо мне...

— Царевич Федор еще меня моложе на два года, хоть и пожелал бы, сможет ли он идти против всех стариков-бояр? А еще вернее, что он ничего про тебя и знать-то не будет. От него просто скроют...

— И впрямь ведь, княже, — вмешался тут в разговор Петрусь. — Чего нам с тобой еще ждать-то? Чтобы нас забрали опять в сыскной приказ, стали пытаться в застенке, а коли выживем, так упекли бы за тридевять земель?

— А это весьма даже может случиться, — подержал Бутурлин. — Задачу свою здесь ты ведь исполнил, грамоту свою сбыл с рук...

— Но ответной отписки никакой не имею... — колебался еще Курбский.

— Да кто тебе ее здесь теперь даст-то?

— Однако вернуться эдак к моему царевичу ни с чем...

— По крайности вернешься невредимым, — продолжал убеждать Петрусь. — Царевич тебя, я чай, в Путивле ждет не дождется. Уберемся-ка, право, подобру-поздорову.

Гайда!

Курбский не стал уже долее настаивать на своем и обнялся на прощанье с Бутурлиным.

С задней площади дворца, позади Благовещенского собора, Курбский со своим казачком, никем не замеченный, выбрался из Кремля Шешковскими воротами на Москву-реку, чтобы берегом своротить к Белому городу.

В эту минуту с высот Ивановского столпа раздался протяжный погребальный звон. В ответ ему тотчас же загудели все сорок сороков Белокаменной, сотрясая воздух на десятки верст в окружности непрерывным зловеце-заунывным гулом.

— Скончался! — проговорил Курбский и, сняв шапку, набожно перекрестился.

Братьев Биркиных он не застал дома: раньше вечера их не ожидали из торговых рядов в Китай-городе, где у старшего брата были две собственные лавки.

Платониду Кузьминишну внезапная весть о том, что царя Бориса не стало, поразила как громом. Когда же Курбский еще объявил ей о своем решении немедленно убраться из Москвы,

толстуха совсем голову потеряла.

— Ай, матушки-светы! Владычица Небесная! Беда беду родит! Да как же так без Ивана Маркыча? Из воли его я выйти не смею. Нет, голубчик князь, как хочешь, а без него я тебя не пущу. Ах, ах! Погневили мы, знать, Господа... Да будет Его святая воля!

Курбскому стоило немало красноречия вразумить ее, что ему необходимо воспользоваться тем временем, что сыщики еще во дворце и не выследили его снова.

— А ну, как нас-то здесь опосля притянут за то к Иисусу?

— За что? Да они и знать не будут, что я заходил еще домой. Но выбратся от вас мне надо все-таки с опаской и бережью. Кабы у тебя, матушка, нашлась для меня какая-нибудь одежда попроще...

— А и в самом деле! Для странников Божьих у меня одежды на всякий рост припасено. Сейчас тебя обрядим...

Обрадованная счастливой мыслью, толстуха выкатилась бочкой из комнаты.

И точно, в ее богатом запасе отыскалось как для Курбского, так и для Петруся все, что

нужно было: странническое облачение, скуфья, котомка и посох.

— А обличьем, все же, не странник! — заметила Платонида Кузьминишна, озабоченно оглядывая Курбского. — Из себя больно статен и пригож...

— Ну, это-то не долго справить, — сказал Петрусь. — Садись-ка, княже; я тебя живой рукой состарю.

Достав из печки золы и уголек, он золой навел своему господину на здоровый румянец щек серую тень, а угольком провел ему на лбу и около углов рта резкие морщины. Сделал он это настолько искусно, что Платонида Кузьминишна руками всплеснула.

— А ей-ей ведь не узнать: старик стариком!

— Теперь только одежду подновить, — сказал Петрусь и новой порцией золы перепачкал Курбскому платье сверху до низу. — Лучше не надо! Вот тебе и посох в руки. Покажи-ка, старче, не разучился ли ходить. Э, нет! Нешто старые люди таким орлом выступают? Сгорби спину-то, ниже, ниже! А ноги переставляй как деревяшки. Ну, так, вот, вот!

— И смех и грех! — говорила, качая головой, Платонида Кузьминишна. — А ты, князь, теперича куда отсель?

— В Путивль, матушка, — отвечал Курбский. — Там, слышно, стоит со своей ратью царевич Димитрий.

— В Путивль! Вот подлинно: никто не может, так Бог поможет!

— А что?

— Да ведь у меня тут заправский странничек (вечор забрел), что туда же путь держит. Убогий человек, не в своем, кажись, разуме: один, того гляди, пропадет! До ночи вместе с ним мы Богу молились, чтобы послал ему доброго попутчика, — ан вот и нашелся! Ведь ты, князь, не откажешься взять его с собой?

— Ну, что ж, коли ему туда же, так отчего не взять. Когда, однако, хозяйка привела к нему будущего попутчика, Курбский готов был уже раскаяться, что согласился: так был на вид он стар и дряхл.

— Буди благословен, сын мой! — прошептал старец, поправляя дрожащими руками котомку за спиной. — Пособи-ка подтянуть покрепче...

— Да донесут ли тебя, дедушка, ноги до Путивля? — спросил Курбский. — Ведь туда слишком семьсот верст.

— Доплелся сюда из Углича, так с Божьей помощью и до места доплетусь.

— Из Углича? — переспросил Курбский. — Где будто бы убит был царевич Димитрий?

Странник, в свою очередь, воззрился на него своими тусклыми глазами.

— Так, стало, это верно, что он еще жив и здоров? Курбский объяснил, что возвращается именно к царевичу.

— Да будешь же ты мне, сын мой, путеводной звездой! Лишь бы узреть мне его опять своими очами...

— А ты, дедушка, знал его еще в Угличе?

Старик, точно не слыша, молитвенно шевелил губами и крестил себе лоб и грудь. Курбский должен был повторить свой вопрос.

— Мне ли было его не знать! — отвечал странник. — Мне ли было его не знать!

— Но ты сам-то кто, скажи?

— Я-то кто? Видишь: убогий странник Божий.

— Но в ту пору был чем в Угличе?

— В ту пору в Угличе?.. Огурцом был.

— Огурцом? — повторил, недоумевая, Курбский. — Да звать-то тебя как?

— Так и зови. Был Огурцом и остался Огурцом.

Платонида Кузьминишна из-за спины старца указала Курбскому на лоб свой: на вышке, мол, у бедняги не в порядке, из ума выжил. Тут Петрусь напомнил своему господину, что пора, однако ж, и в путь-дорогу. И пять минут спустя три наши странника пробирались уже глухими закоулками к Калужской заставе.

Глава шестнадцатая КТО БЫЛ ОГУРЕЦ И ЧЕМ КОНЧИЛАСЬ ЕГО ВСТРЕЧА С ЦАРЕВИЧЕМ

В последних числах того же апреля месяца, в городе Путивле названный царевич Дмитрий целый вечер совещался опять с двумя безотлучными теперь советчиками своими — иезуитами Николаем Сераковским и Андреем Ловичем. На столе перед ними была разложена большая карта Старого Света. Наклонившись над картой, Дмитрий показывал патерам окружный морской путь вокруг Африки на Индию.

— Ведь им, сами видите, приходится каждый раз огибать вот мыс Доброй Надежды, — говорил он, — а нам из Москвы прямехонько через Астрахань и Каспий.

— Но от Каспия еще через всю Персию, — возразил Сераковский.

— Да что Персия! Разве Александр Великий не перешагнул ее точно так же почти без всякой задержки?

— М-да, — протянул патер, обмениваясь с своим младшим собратом многозначительным взглядом. — Но Александр Великий не засиживался три месяца слишком без движения в Путивле.

Это было не в бровь, а в глаз; царевич так и вспыхнул.

— От вас, clarissime, я, кажется, менее всего заслужил бы такой упрек! Если я с нашими слабыми силами не трогался до сих пор с места, то не по вашему ли совету?

— Верно... Московское войско ведь во много раз сильнее нашего...

— И все-таки за те же три месяца не может взять Кром! Значит, пока мы ничего не потеряли...

— А время для его царского величества между тем не пропало бесплодно, — вступился тут патер Лович, — мы усердно упражнялись в науках...

— И начали совершенно ведь случайно, — подхватил царевич. — Вижу на столе у патера Андрея раскрытую книгу...

— Что это, — говорю, — у вас?

— Сочинение Квинтилиана.

— Какого такого Квинтилиана?

— А Марка-Фабия, римского оратора и словесника начала христианской нашей эры.

— К стыду моему, — говорю, — никогда об нем не слышал! О чем же его книга?

— О писаниях греческих и римских.

— Любопытно?

— И очень даже. Угодно послушать?

«И стали мы читать вместе изо дня в день. Потом принялись за грамматику...»

— А теперь и за философию, — добавил молодой иезуит.

— Все это препохвально, — сказал Сераковский. — Будущему монарху нельзя не быть просвещенным, особенно монарху такой страны, как Московия, утопающей еще в глубоком невежестве.

— А вот погодите, — с оживлением перебил Димитрий, — у меня везде заведутся народные школы, в больших городах — академии...

На тонких губах иезуита заиграла ироническая улыбка.

— Вопрос лишь в том, государь, где вы возьмете для них между москвитянами хо-

роших учителей?

— Да я буду посылать для этого молодых людей на выучку в Краков, в Прагу, в Лейпциг...

— Прекрасно. Но ранее просвещения, казалось бы, необходимо укрепить в народе корни истинной веры.

— Что русский народ — богомольный, вы, *clarissime*, наглядно видите здесь же в Путивле: с тех пор, что сюда, по моему приказу, перенесена из Курска чудотворная икона Божией Матери, здесь такой наплыв богомольцев...

— А к нам, иноверным слугам церкви, народ начинает уже привыкать, — досказал опять Лович. — Давно ли, кажется, на наши тонзуры и черные рясы глядели здесь все с недоверием; а теперь первые горожане приглашают нас к себе запросто в дом, просят обучать грамоте их детей; а дети бегут нам сами навстречу, принимают от нас гостинцы... Один мальчик умолял меня даже взять его с собой в Москву, и у меня есть полная надежда обратить его в католичество.

В это время тихонько растворилась дверь, и послышался знакомый всем трем собесед-

никам голос:

— Можно войти, сударь?

Все трое разом оглянулись. Но стоявший на пороге высокого роста странник с истомленным, сильно загорелым лицом и с длинным посохом в руках показался им с первого взгляда совсем чужим.

— Ужели я так уже переменялся, государь? — спросил с улыбкой странник.

По этой улыбке Димитрий сразу узнал своего единственного истинного друга.

— Михайло Андреич! Ты ли это? А я думал, что тебя и на свете-то давно нет.

И, быстро подойдя к Курбскому, Димитрий крепко его обнял и расцеловал.

— Где ты это, братец, пропадал?

— Все в Москве, — отвечал Курбский. — Не мог благоуспешно выполнить твое поручение, государь: Годунов не давал ответа, да и не отпускал из Москвы. А тут он сам внезапно скончался...

— И до нас уже о том весть дошла: привез ее Авраам Бахметев. От него же мы знаем про предсмертную волю Годунова, чтобы Басманов перенял начальство над всеми войсками.

— То-то он по пути обогнал нас! — воскликнул Курбский. — Ну, теперь, государь, твое дело наполовину уже выиграно.

— А разве Басманов не против меня?

— Думаю, что нет. Зачем бы ему-то было дважды навестить меня, так много расспрашивать про тебя? Зачем бы он помог мне потом уйти из Москвы?

— О! Коли так... Но расскажи-ка, расскажи по ряду, что было с тобой.

И стал Курбский рассказывать. Относительно Маруси Биркиной он упомянул только вскользь; даже имя ее произнести было ему теперь больно. Но что задело было Димитрию и обоим иезуитам до какой-то купеческой дочки! Выслушав подробный отчет Курбского о приеме его Годуновым, о посещении его Басмановым и о собственном его, Курбского, побеге из Москвы, они осыпали его вопросами о сыне Борисовом, теперь царе Федоре, о боярской думе, о настроении москвичей.

Расспросы эти были прерваны приходом маленького секретаря царевича. Пан Бучинский приветствовал Курбского чуть ли не также сердечно, как и сам царевич; после че-

го обратился к последнему:

— А я, ваше величество, должен беспокоить вас экстренным делом.

— Что такое?

— Да вот вместе с князем Курбским прибыл сюда один странник...

— Да, государь, — подхватил Курбский. — Он прямо из Углича.

Димитрий весь вздрогнул и изменился в лице.

— Из Углича? — повторил он. — Но что ему нужно от меня?

— Он Христом Богом молит дать ему сейчас взглянуть на ваше величество, — отвечал Бучинский. — Не ест, не пьет, пока не узрит вас.

— Да, преупрямый старик, — подкрепил Курбский. — И дорогой сюда, кроме хлеба да воды, ничего в рот не брал. Он помнит тебя, государь, ведь еще с малых лет. Утешь уж старика!

— Да кто он такой? Чем был тогда в Угличе?

— Этого он мне не хотел сказать. Называет же себя просто Огурцом.

— Извольте видеть! — вмешался тут патер Сераковский. — Все это весьма и весьма подзрительно... Давно ли священная жизнь вашего величества едва не пресеклась от таких же чернецов, подсланных из Москвы?

— Может ли быть! — воскликнул Курбский. — На жизнь твою, государь, злоумышляли?

— Один из них раскаялся и сам же отвел от меня удар, — уклончиво отвечал царевич, видимо смутившись, и окинул обоих патеров хмурым взглядом. — Будет об этом! А странника я сам спрошу. Будьте любезны, пане Бучинский, ввести его к нам.

«За что он сердит как будто и на себя, и на патеров? — недоумевал Курбский. — Уж не расправился ли он, по их совету, чересчур жестоко с теми чернецами?»

То, что он узнал впоследствии о недавнем покушении на жизнь Димитрия, подтвердило его догадку. Оказалось, что с месяц назад в Путивле появилось трое каких-то неведомых монахов с грамотами от Бориса Годунова к духовенству и к народу. Прочитывая эти грамоты всенародно на площадях и перекрестках,

монахи подбивали своих легковерных слушателей схватить «расстригу», самозванно именуящего себя сыном блаженной памяти Ивана Васильевича, и отправить в цепях в Москву, за что-де настоящим государем Борисом Федоровичем будут щедро награждены. Схваченные сами и представленные Димитрию, мутители продолжали упорствовать на своем, пока им не пригрозили пыткой. Перед мучениями пытки один из них не устоял. Повалившись в ноги царевичу, он выдал, что у одного из его товарищей в сапоге между подошвами спрятан смертоносный яд; что яд тот имелось в виду подмешать к ладану, которым окуривали бы царевича в церкви; выполнить же это взялись двое московских бояр, незадолго перед тем передавшихся царевичу, но на самом деле по-прежнему верных еще Годуну. Притянутые в свою очередь к допросу, оба боярина повинились и были расстреляны на площади, а два нераскаявшихся монаха были пытаны в темнице, где все еще не могут оправиться от причиненных им телесных повреждений...

До времени, однако, все это не было еще

известно Курбскому, и он с замирающим сердцем, как бы в тяжелом предчувствии, ожидал, как-то поведет себя при виде царевича старец-странник, очевидец угличской драмы.

И вот, пан Бучинский ввел странника. Еще более исхудав от многодневного странствия и самовольного голодания, старец скорее походил теперь на выходца с того света, чем на живого человека.

— Подойди-ка ближе, старче, — с царственной ласковостью обратился к нему Димитрий, но дрогнувший голос выдал его глубокую душевную тревогу. — Ты хотел видеть меня; смотри же: узнаешь?

Кряхтя, странник заковылял вперед с помощью посоха; дойдя же до царевича, вперил в него свои подслеповатые глаза, забыв даже обычный поклон. Но мелькавший в его взоре луч надежды не разгорелся радостным огнем; напротив того, как будто даже померк.

— Вседержитель и Сердцеведец! Вразуми меня, открой мне очи... — пробормотал он про себя, но все же настолько внятно, что всем присутствующим было слышно.

— Он меня не узнает!.. — прошептал по-польски Димитрий, лицо которого покрылось мертвенной бледностью.

— Да если он даже и видел ваше величество в Угличе, то четырнадцать лет назад, когда вы были малюткой, — поспешил успокоить его Бучинский. — Но тогдашние приметы ваши во всяком случае сохранились. Ты помнишь то же особые приметы царевича? — отнесся он по-русски к старцу.

— Особые приметы царевича? — повторил тот, точно очнувшись от забытья.

— Да. Вглядись-ка и припомни хорошенько. Странник еще пристальнее уставился своими мутными глазами в лицо царевича.

— Ан и впрямь ведь, — заговорил он, оживляясь, — вон одна бородавочка на лбу, другая под глазом...

— Ну, вот видишь ли! А кроме того, есть еще и другие приметы...

Димитрию, видимо, было крайне не по душе такое удостоверение его личности — личности царевича московского — перед каким-то полоумным бродягой, когда целые города русские, без всяких удостоверений,

встречали его уже, как сына царского, с хлебом-солью. А теперь засучить еще перед этим проходимцем свой рукав, чтобы предъявить родимое пятно под локтем, да вымерить длину обеих своих рук — нет, это было бы слишком унижительно!

— Ты видишь, значит, старче, что я тот самый царевич Димитрий, который почитался убитым в Угличе, — гордо приосанясь, заговорил Димитрий. — Но кто ты сам, мы до сих пор не ведаем. Именуешь ты себя, кажись, Огурцом?

— Огурцом, батюшка, — отвечал тот, но как бы нехотя и величая царевича только «батюшкой», точно еще не совсем уверовав в его подлинность.

— Это твое прозвище?

— Да, навязали люди ярлык, и — хошь, не хошь, — ходи весь век с ним.

— А по имени тебя да по отчеству как звать?

— В святом крещении дали имя Федот, а по отчеству Афанасьев сын.

— Так вот что, Федот Афанасьич...

— Никто меня так николи не кличет; для

всех я Огурец, Огурцом и в гроб лягу. Так и ты зови меня Огурцом.

— Изволь. И давно ты, Огурец, странничаешь этак по белу свету?

— Давно ли? Да с того самого дня, что выпустили тогда из тюрьмы. О, Господи всемилостивый, прости им, грешным! Не ведали бо, что творили.

— Однако за что-нибудь же ты попал в тюрьму?

— Одна всего вина моя, что звонил невпопад. Да все этот Суббота Протопопов! Кабы не он...

— Постой, старче. Ты, значит, по должности своей пономарем был?

— А то кем же? Пономарем Царяконстантиновским. Ну, а хватил в чужой колокол — и должности решился, и в яму еще на много лет угодил... Ох, ох, ох! Молод был — конем слыл, стар стал — одер стал. Пора костям на место!

— Зачем же тебе было звонить не в свой колокол?

— Да так уж, знать, на грех подошло. Слышу: звонят во всю у Спаса. «Ну, думаю себе, — коли ударил в набат Максимка, так недаром.

Верно где лихо загорелось. Дай-ка, побегу, посмотрю».

— А Максимка — звонарь тоже?

— Знамо, первый сторож у Спаса, Максим Дмитриев сын Кузнецов. Бегу со всех ног, по сторонам озираюсь: нету ли где дыму? Что-то не видать. Подбегаю к Спасу, ан тут навстречу тот самый Суббота Протопопов, кормового двора стряпчий.

— Ты куда, Огурец?

— Да вот, мол, трезвонят. Не знаю только, где горит-то.

— Какое горит! Царевича Димитрия зарезали.

— Как сказал он мне это слово, меня ровно обухом по голове; стою да глазами хлопаю.

— Чего, — говорит, — глаза пялишь? Полежай на колокольню, звони вместе с Максимкой.

— Да колокольня, — говорю, — не моя.

— Где уж тут, — говорит, — разбирать; сама царица звонить приказала.

Ну, и полез я сдуру, давай тоже звонить что есть мочи — и дозвонился! И благо бы мне одному досталось, а то, вишь, и колоколу

так не прошло: кнутом его, сердечного, нака-
зали, да с оторванным ухом в Сибирь сослали
[7]. Да не в том мое горе, что на старости лет
мирским кормлюсь пропитаньем: птицы
небесные не сеют, не жнут, не собирают в
житницы, а сыты бывают. Горе мое в том, что
с того самого часа, что сослали колокол, мне
от него по ночам нет и нет покою. Чуть за-
дремлю, забудусь, как в ушах загудит:

«Бум-бум-бум!» Вскочу с ложа, прислуша-
юсь — тишина кругом гробовая; как только
опять прилягу, стану забываться — снова:
«Бум-бум!» Тут вот пошел слух в народе, будто
царевич Димитрий все-де и не умирал, что
другого заместо его зарезали. Так вот отчего в
ушах у меня этот звон погребальный: царе-
вич-то жив, а я его заживо хоронил!

Димитрий, слушая, так и впился в рассказ-
чика глазами.

— И тебе стало не вмоготу, — досказал
он, — захотелось непременно самому узреть
меня? Ну, вот и узрел. А спасся я чудом от рук
убийц: убили они, вместо меня, другого.

— Другого?

— Да, одного из моих однолетков-жильцов

(пажей). Ты ведь видел, чай, тогда в Угличе, как мы бегали, играли на дворцовом дворе?

— Как не видеть...

— Так вот с одним из тех жильцов, круглым сиротой, я больше всех дружил, дарил ему свои старые игрушки и платья, даже спать нас укладывали вместе на одной постели. А страдал я в те поры... (Димитрий на минуту запнулся) страдал тяжким недугом...

— Падучею немочью? — договорил странник. — Так, так. Сказывала мне о том кормилица царская Орина, да и весь Углич, почитай, толковал о том.

— Но чего ни ты, ни другие, может, не ведали, так это то, что мой товарищ-жилец недомогал тем же: оттого, знать, что он и дено и ношно безотлучно был при мне, к нему пристала от меня та злая немочь. И вот, в тот самый день, как наемные убийцы подстерегали меня за дворцовой оградой, случись тут во дворе с моим товарищем лихой припадок. А убийцы знали тоже про мой недуг. Как подглядели из-за ограды, что упал ребенок, бьется в судорогах, так приняли его за меня: ведь и одет-то он был тоже в мое старое платье;

подскочили да второпях и зарезали бедняжку. Мы, прочие дети, с испугу разбежались кто куда. А тут на мое счастье, откуда ни возьмись, лекарь-немчин Симон, что лечил меня от моего недуга. Взял он меня на руки и за дворками унес из дворца. Так-то вот я сам избегнул ножа убийц...

То, что услышал теперь Огурец от Димитрия об угличской катастрофе, должно было, казалось бы, окончательно рассеять все его сомнения. А между тем вышло совсем иное: случайное сходство между царевичем и его злосчастливым товарищем, одетым одинаково с ним и подверженным тем же припадкам, дало совершенно новое направление мыслям старца. Точно прозрев, он увещевательно воздел обе руки к Димитрию и воззвал пророческим тоном:

— А что, коли ты и есть тот самый жилец царевича Димитрия и принял на себя с великим бесстыжием сан царского сына? Покайся, покайся, поколе еще не поздно! Вспомни Страшный Суд, не погуби души своей! На Суде Божьем право пойдет направо, а криво налево...

До этой минуты Димитрий выказывал необыкновенное самообладание. Только некоторая порывистость и металлическая звучность голоса, судорожная игра мускулов то красневшего, то бледневшего лица выдавали его крайне напряженное душевное состояние. Но брошенное ему теперь странником прямо в глаза обвинение в самозванстве с такою силой ударило по его возбужденным нервам, что он схватился вдруг руками за голову и пронзительно крикнул:

— Бога ради, уведите его!..

Пан Бучинский не замедлил исполнить приказание. Но едва лишь дверь затворилась за обоими, как Димитрий упал в кресло и, закрыв лицо руками, истерически разрыдался. То был настоящий нервный припадок с плачем и смехом, с корчами и пеною у рта... Бывшего в судорогах Курбский едва мог сдерживать в своих крепких объятиях. Один из патеров усердно смачивал ему виски и темя какою-то эфирною жидкостью, а другой, долгое время безуспешно, разжимал ему зубы, чтобы заставить выпить глоток воды. Наконец-то припадок стал утихать.

— Прошло... дайте вздохнуть... — прошептал царевич по-польски, глубоко переводя дух. — А ты, милый, не отходи, оставайся... — прибавил он по-русски.

И, сжав руку Курбского своею влажною рукой, он с закрытыми еще глазами, в полном изнеможении, откинулся на спинку кресла.

Патеры отошли к окну и стали о чем-то тихонько совещаться. Судя по долетавшим до Курбского отдельным словам, говорили они меж собой по-латыни. Старший на чем-то настаивал, младший почтительно возражал. Тут Сераковский сказал что-то про общину Иисуса и про «*malum necessarium*» (необходимое зло), да таким повелительным тоном, что Лович молча поклонился и с опущенной головой вышел. «Что это они опять затевают? — спрашивал себя Курбский. — У иезуитов ведь цель оправдывает всякие средства, даже самые преступные...»

А Сераковский, подойдя опять к царевичу, заговорил с ним своим обычным медовым голосом, убеждая не придавать значения вздорным словам какого-то старика-сумасброда.

— Но по приметам он вначале ведь готов

был признать вас, хотя не видел вас с раннего вашего детства, — говорил патер. — А в Жалосцах, помните, у Константина Вишневецкого вас тотчас узнал другой угличанин, Юрий Петровский.

— Который потом оказался поджигателем и святотатцем! — с горечью добавил царевич. — Можно ли такому человеку придавать какую-либо веру? Да вот вам лучший друг мой — Курбский: он молчит, но отворотил от меня лицо; значит, и он сомневается уже во мне.

— О, нет, государь! — сказал Курбский, краснея и заставляя себя взглянуть прямо в глаза Димитрию. — Ты сам ведь всегда твердо верил, что ты — сын Грозного царя, и доколе ты в себе не изверишься, я слепо буду идти за тобой, с радостью сложу за тебя голову...

— Спасибо тебе, друг, за это слово! — с чувством проговорил Димитрий и, обернувшись к освещенному неугасимой лампадой образу Богородицы с Младенцем, торжественно поднял правую руку. — Клянусь именем нашего Спасителя и Пречистой Девы, что до сего часа я никогда не сомневался в том, что я истин-

ный царевич. Но теперь... Даже эти приметы меня смущают.

— Как так, ваше величество? — спросил Сераковский. — Я вас, простите, не понимаю. Уж чего доказательнее этаких примет?

— Да откуда они взялись у меня?

— Как откуда? От рождения, конечно.

— То-то, что и этого я наверное не знаю. От припадков моих память у меня относительно всего моего детства точно отшибло. Помню только, как в тумане, что играл я с другими детьми на каком-то дворе; что бывали у меня припадки; что лечил меня от них лекарь Симон. Помню еще, что после одного такого припадка я очнулся в какой-то закрытой повозке. Когда я хотел тут приподняться, то надо мной наклонился все тот же лекарь Симон. «Лежи, лежи!» — сказал он и дал мне испытать чего-то. И заснул я снова, спал крепко и долго... Потом вижу вокруг себя уже людей в черных рясах — монахов... Потом... приключилась со мной тяжкая болезнь, я целые дни, а может и недели лежал в огневице (горячке) без памяти. Когда же встал опять, то на лбу и под глазом у себя нащупал бородавки. Были

ли они у меня раньше, нет ли, — ей Богу, не знаю: память у меня тогда, как сказано, совсем ослабела. Но бородавки те были мне противны, и я стал умолять Симона их отрезать. «Боже упаси! — сказал он, — это твои царские приметы; но до поры до времени ты должен скрываться от людей». А тут и сам он слег — и уже не встал. Но перед своей кончиной он успел сдать меня с рук на руки одному монаху, чтобы тот хранил меня, пока я не войду в лета и пока сам не заявлю себя сыном Грозного, Димитрием. Кто же я теперь? Димитрий или только его бывший товарищ?

— Без всякого сомнения, вы — Димитрий, — отвечал патер. — Кроме бородавок, у вас есть ведь и другие приметы: родимое пятно под локтем...

— Да не могли его, как и бородавки, привить мне Симон во время моего беспамятства? Он был таким искусным врачом...

— Ну, уж родимого-то пятна не привьешь! Потом ваши руки разной длины...

— Да что ему значило вытянуть мне тогда же без моего ведома одну руку против другой? О, Боже праведный, просвети меня! Ве-

ритель ли мне еще в себя?

— Верьте, государь, и вера ваша спасет вас! — убежденно сказал иезуит. — Вы — царевич и не можете не быть им! Царя Бориса ведь уже нет, престол московский свободен...

— А сын Бориса, Федор?

— Шестнадцатилетний-то мальчик? Его ли слабыми руками, скажите, держать бразды правления такой державы, как Великая Россия! Ему ли очистить Авгиеву конюшню боярской думы, противостоят тайным проискам и козням иноземных держав! На это нужен муж зрелый, светлого разума и неуклонной воли, испытавший всякие превратности и, в то же время, прошедший все искусства придворной жизни. А кто же к этому более подготовлен, чем вы, государь?

— «Подготовлен», говорите вы? А что, если меня, в самом деле, нарочно подготовили к этой роли ради каких-то своекорыстных целей? Что, если мною рассчитывают играть потом, как бездушной пешкой? Но я не дам играть собой, о, нет!

Димитрий горделиво выпрямился, и глаза его засверкали.

— Вот этаким я люблю вас, государь! — сказал патер, по-видимому, с искренним восхищением. — Да кому, скажите, какая была надобность в такой недостойной комедии с вами?

— Кому? Да хоть бы московским опальным боярам, чтобы, во что бы то ни стало, свергнуть Годунова.

— Но зачем они тогда молчали бы до сих пор о себе?

— Затем, чтобы я сам не сомневался в моем царском призвании и никогда не изменял этому призванию, всегда оставался тем же царевичем Димитрием...

— И этим самым покоряли бы все сердца? — с улыбкою досказал Сераковский. — Ах, ваше величество! Ужели за четырнадцать лет такие «благодетели» не выдали бы себя вам невольно так или иначе? Их, поверьте мне, вовсе и не существует, а что до окружающих вас, то между ними нет ни единого человека, кто вполне искренно не считал бы вас сыном Ивана Грозного.

— А вы оба, перед которыми я раскрыл мою душу, не отвернетесь от меня?

— Что вы, что вы, государь! Мы, если возможно, после такой исповеди еще более вам преданы. Князю Курбскому вы ведь первый друг; а для меня, как и для патера Ловича, с вашим царским званием связано дальнейшее процветание святой католической церкви; мы в каждом письме нашем в Рим доносим его святейшеству папе об вас, как о законном наследнике московского престола и надежде нашей церкви; так нам ли от вас отступиться?

— Но пан Бучинский тоже слышал, в чем обвинял меня этот сумасшедший старик...

— Пан Бучинский, ваше величество, — ваш личный секретарь и alter ego (второе я); он для вас не доедает, не досыпает; без вас он ничто, при вас яркое светило...

— Наконец, сам этот странник: он станет теперь говорить про меня встречному и поперечному, как про подставного царевича...

— Он, ваше величество, ничего уже не скажет! — отвечал с благочестивым вздохом младший патер, вошедший в это самое время. — Всевышнему угодно было призвать его к себе.

При этом от Курбского не ускользнул быстрый взгляд, которым обменялись оба иезуита. Чуть заметно покачав отрицательно головой, как бы в знак того, что данный ему наказ не мог быть исполнен, патер Лович доложил, что старец, не прикоснувшись еще до пищи, которую подали ему на кухне, внезапно упал без чувств; пока же посылали за лекарем, все было уже кончено: лекарь мог только удостоверить смерть от полного истощения.

Что дело было именно так подтвердил потом Курбскому и Петрусь, не отходивший в кухне от старца.

— А патер Лович не застал его уже в живых? — спросил казачка Курбский.

— Застал он его уже на полу...

— И сам его не трогал?

— Напротив, вдвоем с паном Бучинским они много хлопотали около него. Патер достал уже из-за пазухи пузырек с каплями, чтобы влить ему в горло; но Бучинский не дозволил: «Обождем лучше дохтура». — «Да я сам такой же дохтур!» — говорит патер. А Бучинский: «Но коли после ваших капель он уже не проснется?» Побледнел мой патер и прикусил

язык... Ну, а в конце концов и дохтур уже не помог. А что, милый княже, скажи-ка, признал старик нашего царевича?

— Признал, как не признать!

Мог ли, смел ли Курбский отвечать иначе? Но в ушах у него звучали еще последние, предсмертные слова старца:

— Покайся, поколе еще не поздно! Вспомни Страшный суд!..

Глава семнадцатая КАК ПЕТРУСЬ КОВАЛЬ ОПРАВИЛ ДОБРОЕ ИМЯ ЗАПОРОЖЦЕВ

Убеждения патера Сераковского вдохнули в Димитрия новую энергию, новое мужество: он готов был тотчас прекратить свое произвольное бездействие и перейти в наступление.

— Теперь времени терять уже нечего, — заявил он на другое утро после описанной в предыдущей главе сцены. — Донцы мои стойко держатся в Кромах против московских войск; но в конце концов те их, пожалуй, все одолеют. Надо идти прямо в Кромы, предложить Басманову сдаться: воины его обожают, ему верят...

— *Care diem* (пользуйся днем), — справедливо согласился патер Сераковский. — Но буде даже Басманов был бы склонен признать ваше величество (что еще гадательно), то кто поручится нам за князя Голицына, который до сих пор был главным воеводой и разделяет

с ним власть? А немецкая дружина всегда была до глубины верна дому Годуновых, и она, можно наперед сказать, добровольно ни за что не передастся.

— Так чего же вы хотите, clarissime? — горячился царевич. — Чтобы москвитяне сами двинулись на нас и захватили нас в Путивле, как в ловушке?

— Для решительного шага, повторяю, момент наиболее удобный, будь у нас самих только более хорошо обученных ратников. Но что могут предпринять какие-то три тысячи русского сброда против сотни тысяч таких же русских?

— Да кто же виноват в том, что все ваши поляки, даже Дворжицкий, меня покинули!

— Не все, государь: ваш покорный слуга с патером Ловичем готовы до сих пор разделить вашу участь; точно также и ваша личная польская охрана.

— Какая-нибудь сотня!

— Но зато отборной польской рати. Вот кабы еще одну хоть такую хоругвь, да сотни двести три молодцов-казаков, разумеется, не изменников-запорожцев, а с Дона, с Урала...

И что же? Как по приказу, в тот же день действительно прибыла в Путивль целая хоругвь польских гусар: набрал ее преданный еще Димитрию польский шляхтич, пан Запорский, из разбредшихся по окрестностям «рыцарей» и «жолнеров» (наемщиков); а под вечер подошел еще давно ожидавшийся отряд кубанских казаков в пятьсот человек.

— Сам Бог за нас! — воскликнул Димитрий. — Теперь ничто уже меня не удержит.

На созванном тотчас же военном совете состоялось решение: дать новым вспомогательным войскам отдохнуть два дня, а на третий отправить их, вместе с тремя тысячами русских ратников, под Кромы. Вести их туда хотел было сперва сам царевич. Но патеры убедили его до времени остаться еще с своим штабом и телохранителями в Путивле; вместо же себя, предоставить пока главное начальство храброму пану Запорскому, который, нет сомнения, оправдает такое отличие и заставит забыть даже пана Дворжицкого.

Накануне выступления пана Запорского в поход, Курбский услышал у себя в прихожей за перегородкой, где помещался Петрусь Ко-

валь, горькие всхлипы. Он окликнул казачка. На пороге показался Петрусь с заплаканными глазами.

— Что треба твоей милости? — спросил он, стараясь глядеть бодрее, но углы рта у него подергивало, а на ресницах дрожали слезы.

— И не стыдно тебе, хлопцу, хныкать, как баба! — укорил его Курбский. — Все о бедняке Огурце убиваешься? Ему же лучше, что Бог его прибрал.

— Теперича, княже, я уже не о нем... Его схоронили, ну, и вечная ему память.

— Так о чем же? Лихой запорожец и слезы роняешь!

— Вот потому-то самому... Уж больно крепко они меня избидели...

— Кто такой?

— Да все, все! Мне в лагере теперича просто проходу нет; куда ни покажусь, все-то поносят «изменников» — запорожцев и меня зовут уж не иначе, как подлым запорожцем.

— Что же делать, мой милый? Ты-то, понятно, тут ни при чем. Но атаман ваш Рева, сам ведь знаешь, дал подкупить себя и перед самой битвой под Добрыничами покинул ца-

ревича. А это разве не подлая измена?

Юный сын Запорожья, который кое-как еще крепился, не выдержал и разразился отчаянными рыданиями.

— И сам-то ты, княже, считаешь меня таким же изменником! Чем я заслужил это перед тобою?..

Господину его стоило немало труда несколько его успокоить увереньем, что в нем, Петрусе, он ничуть не сомневается.

— А коли не сумлеваешься, — подхватил, все еще всхлипывая, чувствительный хлопчик, — такпусти меня с паном Запорским, дай мне умереть за тебя и за твоего царевича...

Такая пылкая до наивности привязанность казачка не могла не тронуть Курбского.

— Царевичу ты этим большой услуги не окажешь, — сказал он с улыбкой, — а мне от тебя куда больше проку от живого, чем от мертвого.

— Бог вещь! — упорствовал на своем Петрусь. — Пустименя, право, милый княже! Я покажу им, что один-то хоть запорожец тверд в своем слове и может сделать больше для

твоего царевича, чем десять донцов или поляков.

— Ого! Да пан Запорский тебя, пожалуй, вовсе и взять-то с собой не захочет.

— Коли ты, княже, только замолвишь за меня доброе слово, так верно возьмет. Яви такую милость!

И Курбский «явил милость», замолвил доброе слово. Бойкий хлопчик сразу понравился пану Запорскому и был принят им в число своих походных слуг в качестве стремянного.

Весь отряд пана Запорского был конный, а потому уже на четвертые сутки был в сорока верстах от Кром. Тут сделан был привал. Недаром иезуиты возлагали такие надежды на рекомендованного ими царевичу военачальника. Хорошо понимая, что в открытом бою с неприятелем, в двадцать, а то и в тридцать раз сильнейшим, самому храброму войску едва ли устоять, пан Запорский пустился на военную хитрость. Без ведома даже царевича, но от его имени, он сочинил письмо к жителям Кром и обратился к своему отряду с такой речью:

— Вот, други мои, грамота, которая написа-

на мною якобы от царевича Димитрия к кро-
мичам. В грамоте сказано, будто бы нас здесь,
посылаемых им на подмогу, десять тысяч
конных ратников, и что за нами идут еще со-
рок тысяч пехоты. Вы верно спросите: для че-
го мне морочить такими баснями друзей, да
еще от имени царевича? Морочу я не друзей,
а врагов: грамота вовсе и не попадет к кроми-
чам. Почему не попадет? Да потому, что один
из вас отправится с этой грамотой якобы в
Кромы через московский лагерь. Его, вести-
мо, не пропустят, схватят и приведут к воево-
де московитян, боярину Басманову. Ну, а Бас-
манов — муж разумный, рассудливый; про-
чтет он грамоту и поймет, что с такой силой
нашего славного войска ему не управиться,
поняв же, без бою передастся царевичу. Так
вот, товарищи, теперь мне нужен только лов-
кий, смелый человек, что ради царевича
взялся бы за это геройское дело. Говорю: «ге-
ройское», ибо неприятели наши могут пре-
дать посланца жестокой пытке, вынудить его
сказать про нас всю правду. Но такая смерть
не менее почетна, как на поле битвы. Кто же
из вас, любезные товарищи и други, возьмет-

ся совершить сей геройский подвиг?

Первая половина речи хитроумного вождя пришлась по душе большинству ратников. Кругом раздались одобрительные возгласы:

— Ловко! Знатно! И хитро и умно! Чего даром-то кровь братнину проливать?

Когда же затем пан Запорский с благородной откровенностью указал на возможность ожидающей посланца мучительной пытки, всякого невольно взяло раздумье. С мечом в руке идти на врага и хоть бы даже пасть, но в честном бою, рядом с товарищами — кому не любо: на миру и смерть красна, а может, почему знать, останешься и невредимым: Бог милостив! Но идти самому на заклание, как глупый баран, — спасибо!

Так думал, должно быть, не один из самых храбрых соратников пана Запорского: устремленные на него взоры забегали теперь по сторонам или потупились в землю, и на заключительный призыв не нашлось отклика.

— Как? Неужто между всеми вами не найдется ни единого, кто отважился бы на такой подвиг?

То же постыдное молчание. Вдруг из-за

спины возмущенного вождя раздался звонкий отроческий голос:

— Пошли меня, добродию!

И вперед выступил его молоденький стреманный, Петрусь Коваль. Пан Запорский окинул его взглядом презрительного удивления.

— Тебя послать, мальчонку?

— Мальчонка я, мосьпане, точно, да из запорожцев, и видал уже всякие виды, — отвечал Петрусь, смело выдерживая огненный взгляд надменного поляка. — Чести твоей не будет порухи. Исполню наказ твой в наилучшем виде. А доведется умереть под пыткой, так увидят по крайности твои москали и поляки, что запорожцы тоже умирать умеют!

Среди окружающих «москалей» и поляков послышался ропот: безбородый хлопчик еще глумится над ними! Но действительно храброму пану Запорскому понравилась, видно, беззаветная самонадеянность юного запорожца.

— Молчать, трусы! — прикрикнул он громовым голосом на ропчущих; потом снисходительно, почти ласково обратился снова к Петрусью. — Да знаешь ли ты, хлопче, что та-

кое пытка? Вынесешь ли, когда тебе станут вытягивать жилы, ломать кости, поджигать пятки? Зело, видишь ли, млад ты уж...

— Молод, да не махонький. Все вынесу, не пикну.

— Ну, молодец, коли так.

— Ради стараться!

— А приведут тебя к Басманову, что же ты ему расскажешь?

— Расскажу все то, что прописано в грамоте твоей милости.

— И только?

— Для красного словца, может, что от себя и прибавлю: маслом каши не испортишь.

— Молодец! — повторил, уже улыбнувшись, пан Запорский. — Только чересчур то, смотри, не завирайся: не поверят.

— Не бойся, добродию; не даром говорится: ври да знай меру. Мыслей своих не дам вы-
знать.

— Ну, с Богом. Вот тебе грамота. Коня сам себе выберешь.

И Петрусь уже на коне, низко кланяется на все четыре стороны

— Прощайте, панове братцы! Не поминай-

те лихом, коли кого ненароком обидел!

Нагайка его щелкнула, сам он пронзительно гикнул — и брызги полетели. Только его и видели.

Читатели, вероятно, уже заметили, что Петрусь, при всем своем природном добродушии, был, как малоросс, с хитрецей. Вполне чистосердечно желая оправить доброе имя своих земляков-запорожцев таким удалством, которому позавидовал бы и «москаль» и поляк, он не без умысла, однако, умолчал о том, что видел уже Басманова — и не раз, а два раза — в Москве, при посещении последним Курбского в доме Биркиных. Готовый, конечно, в крайнем случае вынести и пытку, он тем не менее утешал себя надеждой, что, благодаря доброму расположению Басманова к Курбскому, удастся извернуться, выйти сухим из воды.

Не жалея коня, он без отдышки проскакал без малого сорок верст. Здесь он наткнулся на неприятельский дозор, загородивший ему дорогу.

— Стой! Куда едешь?

— Еду я в Кромы гонцом от всемилости-



вейшего государя моего, царя Димитрия Ивановича, — с напущенною важностью отвечал Петрусь. — Прочь с дороги — задавлю!

И для вида хлестнул коня. Дозорные, разумеется, схватили коня за уздцы, а самого всадника без околичностей стащили с седла. Один из них предложил товарищам обыскать его.

— Смейте вы только! — продолжал хорохориться Петрусь. — Не слышали, что ли, что я царский гонец?

— Ай да гонец! Что с ним, ребята, долго разговаривать...

— И пальцем меня не можете тронуть! Коли кому мне ответ держать, так не вам, а вашему воеводе. Кто у вас ноне-то воеводствует? Басманов, что ли?

— Басманов с Голицыным...

— Ну, так и ведите меня к ним. Гайда!

— Еще приказывает, щенок!

— Не ругайтесь, братове! Басманов Петр Федорыч с Москвы еще меня знает. Ежели вы меня к нему тотчас не представите — задаст он вам такую трепку, что другой не попросите.

Угроза подействовала. Призадумались дозорные, пошептались меж собой и кончили тем, что провели пленника к походной ставке Басманова. Выслушав дозорных, Басманов послал за вторым воеводой, князем Голицыным, а сам тем временем начал допрашивать Петруся, для чего тот послан в Кромь.

— Другому я ни за что бы не открылся, — отвечал Петрусь с видом детского простодушия. — Но твоей милости за долг святой полагаю. Мы с господином моим только тебе обязаны...

— А господин твой кто такой?

— Да князь Курбский Михайло Андреич. Про тебя, своего благодетеля, почитай что каждый день вспоминает.

Нахмуренные черты Басманова слегка прояснились.

— И то ведь, я словно бы видел уже тебя при нем в Москве, — сказал он. — Ну, что, как рука твоего князя?

— Спасибо за спрос, боярин: по милости Божьей совсем зажила. Кабы ведал он, что я угожу к тебе, так беспрерывно прислал бы и тебе тоже от себя поклон и грамотку.

— А! Так в Кромы ты ехал с грамотой?

— Эх, проговорился... — пробормотал как бы про себя Петрусь.

— Поддай-ка ее сюда.

— Извини, боярин, но пан Запорский не велел ее никому отдавать в руки, кроме самого атамана Корелы.

— Какой такой пан Запорский?

— А набольший передовой нашей рати.

— Мне твой пан Запорский не указчик! Не выдашь мне ее доброй волей, так велю сейчас ведь отобрать насильно.

— Эх-ма! — вздохнул Петрусь и, будто нехотя, достал грамоту из-под подкладки шапки. — Попадет мне от него здорово на орехи! Да противленье чинить твоей милости я не смею. А как прочтешь, вернешь мне ее опять?

— Смотря по тому.

Басманов развернул лист, но не приступил еще к чтению, как в палатку вошел его соначальник, князь Голицын. В двух словах Басманов объяснил тому, в чем дело; после чего оба принялись вполголоса разбирать грамоту строка за строкой. По мере чтения их лица

все более удлинялись и омрачались.

— Вот не было печали!.. — пробормотал Голицын. — Недаром же твердил Розен, чтобы нам плюнуть на Кромы и идти прямым путем на Путивль, пока не подошли туда вспомогательные войска. Ан так и вышло!.. Знаешь ты, что тут пишут? — отрывисто обратился он к Петрусю.

— Откуда мне знать-то? — отвечал тот с самой простоватой миной. — Моего совета не спрашивали.

— Но глаза-то и уши у тебя свои, чай, есть. Как велик отряд этого пана Запорского?

— Боюсь соврать, боярин: не считал. Еще, поди, осерчаешь.

— Коли спрашивают, так изволь отвечать! Много ль у него, по-твоему, человек в отряде?

— По-моему?.. Да тридесять тысяч, полагаю, будет.

— Эх хватил! И в грамоте-то сказано только по десять тысяч.

— Про десять? Коли сказано, стало, маленько перехватил. Да, может статья, писана она раньше того, как подошли к нам эти польские гусары.

— А давно то было?

— Накануне только, что выступили мы сюда в поход. Вот хвататы-то! Один как другой, на подбор! За ними, слышно, еще пешей шляхты идет не то пятьдесят, не то шестьдесят тысяч.

Воеводы озадаченно переглянулись.

— Да правильно ли все это? — усомнился опять Голицын. — Попытать его разве?..

Сердце в груди у Петруся захолонуло. Но он и виду не показал.

— Воля ваша, бояре, пытайте! — смело сказал он. — Окроме чистой правды, все равно ничего не выпытаете. Дерзнул ли бы я, боярин Петр Федорыч, сам посуду, говорить тебе неправду? Да мне за тебя попало бы так от моего господина! А то и сам ведь можешь меня опосля батожьем поучить.

Басманов ничего на это не ответил, но все-таки, видно, пожалел шустрого хлопца, потому что взял Голицына под руку и отвел его в сторону для тайного совещания. До слуха Петруся долетали имена Вальтера Розена и Ивана Годунова (брата Борисова).

— Гей! Кто там? — крикнул Басманов. — Позвать сюда капитана Розена.

Забыл ли Басманов про присутствие Петруся, или, напротив, хотел, чтобы тот впоследствии мог удостоверить перед своим господином, что благоприятному для Димитрия исходу совещания способствовал главным образом он, Басманов, как бы там ни было, Петрусь был оставлен в палатке.

Капитан Вальтер Розен, начальник четырехтысячного иноземного отряда, происходил из лифляндских дворян и был атлет саженного роста. Но с его могучей фигурой и строгой военной выправкой ни мало не согласовались его добродушные, голубые, навывкате глаза под белобрысыми бровями и высокий тенор. Выслушав Басманова, он брякнул саблей и крикнул чуть не фистулой:

— *Da schlage ja das Donnerwetter drein!* (Разрази их гром!) Терпеть сие весьма невозможно. Пускайте меня наперед, *meine Herren*. О! Я буду им показать, *wo Lukas Bier holt* (буквально: «куда Лука за пивом ходит», то же, что русская поговорка: куда Макар телят не гонял).

— Что вы, господин капитан, чертовски храбры, об этом никто не спорит, — сказал

Басманов. — За всем тем, однако ж, вот уже три месяца, что и вы-то с вашими немцами и мы с нашею русскою ратью — не много не мало — полтораста тысяч, стоим здесь под Кромами и ни тпру, ни ну.

— Ja, dieser vertluchte Korela mit seinen Kosacken! (Да, этот проклятый Корела с своими казаками!) Eine complecte Canaille, каналья прекомплектная...

— Прекомплектная, истинно что так, господин капитан. Наши трусы считают его даже колдуном. Колдун он или нет, а окопался рвами и валами так, что нам его, как крота из норы, не выманить. Сам же он со своими разбойниками-донцами по ночам то и дело вылезает оттуда и нападает врасплох.

— И колотит нас напропалую! — досказал Голицын. — Просто стыд и срам!

— С паном же Запорским идет на нас теперь, кроме польских гусар, еще свежая сила таких же казаков, — продолжал Басманов. — Справитесь ли вы с ними, господин капитан, — это еще вилами по воде писано.

— Aber zum Kuckuck, meine Herren! (Но черт побери, господа!) Надо ж какую диспози-

цию учинить...

— К этому я и веду речь. Сколь долго мы не воюем с тем человеком, что именует себя сыном приснопамятного царя Ивана Васильевича Грозного, все наши усилия и замыслы втуне; с войском в десять, в двадцать раз меньшим супротив нашего он, как клад, не дается нам в руки. Хранило ли бы его так святое Провидение, если бы он взаправду был самозванец, как мы доселе мнили, а не законный наследник престола Российского?

— Тут явная десница Божия! — поддержал Голицын. — А вы, господин капитан, хоть и лютерец, да человек тоже верующий, добрый христианин...

Капитан Розен, наравне с обоими воеводами, присягал Борису Годунову, а потом, всего несколько дней назад, заочно и его сыну Федору. Неподкупно честный, но крепколобый, он никак не мог сразу освоиться с мыслью, что такая присяга для него уже необязательна, и что впредь он должен будет служить точно так же верой и правдой заклятому врагу Годуновых, которого сейчас еще только считал наглым обманщиком. Недоверчиво

вращая своими голубыми воловьими глазами, он старался прочесть на лицах своих двух соратников настоящий смысл их слов, за которым скрывается, быть может, какой-нибудь подвох или недостойная шутка. Но вид у обоих был самый серьезный, а Басманов для вящего убеждения еще добавил, что и в самом войске русском сильно уже поговаривают о царском происхождении Дмитрия, потому долее противоборствовать было бы не только грешно, но и неразумно.

— Тем паче неразумно, — подхватил Голицын, — что, признав его ныне же, мы заслужили бы еще его особое благорасположение.

— Гм... — промычал Розен, начиная сдаваться. — А Иван Годунов, у коего войска девяносто тысяч?

— Опаску против него держать, понятно, надо, — отвечал Басманов. — Но стоят-то они по сторону крепости, а потому от них не может быть нам помехи соединиться с дружинами царя Дмитрия. Однако, что за шум такой?

С улицы, действительно, послышались конский топот и отчаянные крики:

— Казаки! Поляки! Спасайтесь, ребяташки, кому жизнь дорога!

— Kreuzschockdonnerelement! — разразился своим петушиным тенором воинственный капитан и, выхватив из ножен саблю, опрометью выскочил из палатки.

За ним поспешно вышли на улицу и оба воеводы, чтобы узнать, в чем дело, а за воеводами, конечно, и Петрусь.

Оказалось, что пан Запорский, рассчитав, что его юный гонец попал уже в руки неприятеля, не хотел дать опомниться последнему и с своими гусарами и казаками обрушился на сторожевой отряд; этот же в паническом страхе без оглядки примчался теперь в лагерь. У страха глаза велики: беглецы так единодушно говорили о несметном числе и неукротимости врагов, что весь лагерь пришел в движение; сам капитан Розен должен был уверовать в непобедимость новоявленного царя. Ему же, Розену, была предоставлена честь дать первый отпор Ивану Годунову, который, как нельзя было сомневаться, добровольно не передался бы Димитрию.

И точно, едва лишь иноземная дружина

Розена перешла мост через Крому-реку и выстроилась на заречной равнине в боевой порядок, как Иван Годунов прислал узнать, что это значит. Ответ был, что подходят поляки. Не верить почтенному немецкому капитану у Годунова не было оснований. Поэтому же его не особенно удивило, когда через тот же мост начали перебираться на равнину и дружины Басманова и Голицына. Когда же переход этот благополучно завершился, произошло нечто такое, чего Годунов никак уже не предвидел. Басманов, стоявший еще на мосту с Голицыным, обернулся вдруг к дружинам самого Годунова и окликнул их зычным голосом, махая бывшим в руках его листом.

— Воины! Извещаем вас, что эта грамота прислана нам от истинного царя нашего Дмитрия, сына блаженной памяти великого князя и государя Ивана Васильевича. Борис Годунов хотел его погубить, но Промысл Божий его спас! Все мы признаем его ныне наследником и законным государем Великого княжества Российского. Кто из вас хочет впредь служить царю Димитрию, тот иди к нам на эту сторону реки, кто же останется на

другой, тот будет изменником, рабом Годуновых и их клеветов!

Эта зажигательная речь произвела в рядах Годуновских дружин неописанное смятение. Целые полки готовы были последовать призыву, другие же пытались их обойти и задержать. Завязалась рукопашная, засверкали бердыши и сабли.

Защитник Кром, казацкий атаман Корела, с крепостной стены зорко следил все время за тем, что происходило в осаждавшем его московском войске. Теперь он растворил городские ворота и с своими донцами ударил в тыл противникам Димитрия, усеивая свой путь трупами и ранеными. Это решило исход междоусобной схватки. Немногие, верные до конца сторонники царя Федора Годунова спаслись бегством; все остальные перешли на сторону Басманова, приведя с собой связанным и своего воеводу, Ивана Годунова.

А что же Петрусь, который в этом эпизоде сыграл, в сущности, самую решительную роль? Считая теперь Басманова своим покровителем, он, по возможности, ни на шаг не отставал от него и был, таким образом, оче-

видцем всего описанного. Точно так же присутствовал он и несколько дней спустя при вступлении Басманова с четырьмя тысячами отборных ратников в Путивль для принесения присяги в верности новому царю от имени всего московского войска. К немалому огорчению хлопца Курбский не оказался налицо, когда Димитрий, по окончании торжественного приема, стал знакомить Басманова с своей свитой. Казачок побежал домой отыскать своего господина.

— Где же ты, княже? Тебя спрашивают, — доложил он, увидев его погруженным в чтение какой-то книги.

Курбский поднял на него свои затуманенные глаза.

— Кто спрашивает?

— Государь хотел показать тебя Басманову.

— А тебя нарочно послали за мной?

— Нет, я сам... Прием кончился.

— Ну, так им теперь уже не до меня.

— Да что ты, милый княже, верно, не совсем здоров.

— Не то, чтобы, а так... Сам же ты, Петрусь, я вижу, здоровее, чем когда-либо, точно и не

устал даже от всей этой передеряги.

— Устать-то устал шибко, да так-то уж рад, безмерно рад!..

Краснощекое лицо мальчика расплылось блаженной улыбкой.

— Чему ты так рад?

— Как чему! Ведь без меня, что ни говори, московская рать о сю пору не передалась бы царевичу.

— И об этом от тебя же знает уже весь Путивль? Петрусь покраснел до ушей, но скрыл свое смущение под веселым смехом:

— Ну и что ж, пускай! По крайности, куда ни покажусь, от всякого одно слышу: «Ай да запорожец!» Оправил, значит, доброе имя запорожцев. Но на тебя, княже, дивлюсь я, право: отчего ты-то так невесел? Словно дума черная запала, либо со страхом ждешь чего-то.

— Жду, точно.

— Чего же?

— Этого тебе, милый мой, все равно не понять. Дождусь, так, может, и повеселею.

Глава восемнадцатая ЧЕГО ТАК ЖДАЛ КУРБСКИЙ

То, чего так ждал Курбский, чего он так и желал, и опасался, свершилось десять недель спустя, 18 июля 1605 года.

Несмотря на то, что день пришелся будничным (четверг), все добрые горожане московские толпами валили за город на большую Тверскую дорогу. За несколько дней ведь уже назад стало известно, что молодой царь Димитрий отрядил первых вельмож своих: князей Мстиславского, Шуйского, Мосальского, с многотысячной ратью за своей матушкой-царицей, которую этот изверг рода человеческого, Борис Годунов, насильно постриг в монашеский чин и заточил в отдаленный монастырь[8]. Как же было не порадоваться радостью царской, не посмотреть, как они свидятся, мать с сыном, после долгой разлуки?

Незадолго до полудня вдали поднялась пыль, которая все более приближалась. К разочарованию нетерпеливой толпы то не был еще, однако, поезд матушки государевой,

а только три всадника. Не останавливаясь, они во весь дух промчались мимо в город.

— Верно, с вестью к государю, что царица уже близко, — толковал глядевший вслед им народ.

— Вестимо, что так. А этот, что скакал впереди, весь в золоте, кто будет: Мстиславский али Шуйский?

— Эвона! Не видал их, что ли? Тех царица от себя и не отпустит. Этот не князь, а просто боярин — Воротынский.

— Кто их всех упомнит! Благо, выезда государя не долго уже ждать-то.

Действительно, немного погодя из городских ворот показалась блестящая группа всадников. Впереди других, на белоснежном коне, ехал сам царь Димитрий в пышном польском уборе. По всему пути его провожали приветственные клики; а он в ответ милостиво наклонял голову направо и налево; вместе с тем, всякий раз колыхалось также алмазное перо на его бархатной, польского покроя шапке, насаженной набекрень. Когда он, наконец, задержал коня, счастливицы, около которых он остановился, имели полный

досуг наглядеться на него и на его приближенных. Из числа последних наибольшее внимание обращал на себя своей благородной посадкой и привлекательной внешностью Курбский. Но всех невольно поражал его удрученный вид.

— Верно, кручинится о чем молодчик, — говорили меж собой вполголоса зрители обо-его пола. — Все-то радостны, веселы; один он, вишь, скорбный, убитый, словно сейчас с похорон.

— А что ж, почем знать? Может, и вправду отца али мать схоронил.

— А-то молодая жена, невеста разлюбила.

— Этакого-то разлюбить? Сморозила, матушка, тоже!

Если бы самого Курбского спросили на духу, о чем он так скорбит, он ответил бы, что скорбит за своего царевича — теперь царя Димитрия. Не потому, чтобы Димитрию в чем-либо не посчастливилось, — о нет! Напротив. Начиная с 7-го мая, когда Басманов явился к нему в Путивль бить челом, город за городом сдавались ему без выстрела, духовенство везде выходило встречать его с крестом и цер-

ковными хоругвями, жители — с хлебом-солью. При остановках на большой дороге, как по мановению волшебного жезла, раскидывались роскошные шатры, а на стекавшихся из окрестных деревень крестьян, за их простую хлеб-соль, сыпались из собственных государевых рук золотым дождем червонцы. Молва о том далеко опережала молодого царя, и поход его на Москву обратился в какое-то триумфальное шествие. В Серпухове, на удивление местных горожан, царский шатер преобразился даже в маленькую крепостцу с башенками и развевающимся стягом.

В Москву, однако же, признано было более осторожным отправить вперед двух дворян: Пушкина и Плещеева, с особой грамотой. Когда те прибыли в Красное Село, подмосковное поместье царское, и прочитали царское послание перед именитыми гражданами — серебряниками и купцами — эти проводили гонцов со всякою почестью до самой столицы. Здесь с Лобного места грамота была прочитана вторично. Сочинил грамоту маленький секретарь государев, пан Бучинский, при участии двух патеров-иезуитов, и сочинил,

надо сознаться, чрезвычайно искусно: не считая уже нужным доказывать свое царское происхождение и коротко упоминая только о своем чудесном спасении волею Всевышнего, Димитрий взывал к совести «своего» любезного народа, присягавшего в верности царю Ивану Васильевичу и его потомству; он обещал предать полному забвению все случившееся в царствование «изменника и похитителя престола», Бориса Годунова, дабы впредь по всей земле русской процветали мир, благоденствие и обилие плодов земных. В заключение каждому сословию в отдельности сулились награды и милости, в случае же сопротивления — гнев Божий и царский.

Содержание этой грамоты ударило одуряющим хмелем в голову москвичей; прямо с Лобного места обезумевшие ринулись во дворец Годуновых; пока одни расхищали драгоценности, уводили лошадей, вышибали дно у винных бочек и опивались до бесчувствия, другие расправлялись со вдовой Бориса и обоями его детьми: царем Федором и княжной Ксенией. В тот же день по городу разнеслась весть, что матери и сына уже не стало: кто го-

ворил, что они с испугу сами отравились, кто — что их заключили в темницу и там задушили; после чего их тела, вместе с телом Бориса, вынутым из царской гробницы в Архангельском соборе, без всяких обрядностей были зарыты на убогом Сретенском кладбище. Княжна же Ксения была удалена в девичий монастырь[9].

Зато на третий же день по кончине царя Федора, 20-го июня, новый царь Димитрий совершал свой торжественный въезд в Первопрестольный град. То-то был въезд! Еще перед заставой встретили государя с хлебом-солью выборные от бояр, от дьяков и от первопрестольных «гостей», то есть купцов (в числе которых Курбский заметил и старшего Биркина). Затем потянулись по улицам к Кремлю, под неумолкаемый звон и гул колоколов, трубачи, литаврщики и музыканты, исполнявшие воинственный марш, за ними польские охотники в сверкающих латах, за этими русские стрельцы в красных с золотом кафтанах, далее конница с барабанами и трубами, потом духовенство в золотых и серебряных ризах с хоругвями и иконами, за духо-

венством уже сам государь с первыми московскими боярами и польскими военачальниками — все верхами и в самых праздничных нарядах; а там «крылатые» польские гусары, немецкая дружина и опять стрельцы да казаки, щеголяя друг перед другом своими воинскими доспехами. И весь-то этот нестерпимый блеск, небывалый почет был для одного человека — для этого молодого всадника в красном бархатном плаще, красной бархатной шапке с алмазным пером и в алмазном ожерелье. И вся-то эта несметная толпа кругом глядела во все глаза только на него одного, распростиралась перед ним в пыли и оглашала воздух единодушными ликованиями:

— Здравствуй, отец наш! Здравствуй, наше красное солнышко, государь и великий князь всероссийский! Даруй Бог тебе многие лета! Да осенит Он тебя на всех путях жизни чудесною милостью, как хранил тебя доселе!

Ответ Димитрия звучал не менее сердечно:

— Здравствуйте, мои дети! Встаньте и молитесь за меня Богу.

А на площадях и перекрестках священники с крестами и Евангелием принимали тот-

час присягу новому государю.

Так-то въезжал царь Димитрий через Неглинную Боровицкими воротами в Кремль. Здесь, на Ивановской площади, были уже расставлены для народа длиннейшие столы с жареным и вареным мясом, с калачами и сайками, а меж столами возвышались огромные бочки с вином, брагой и медом. И вот, как только молодой царь выехал на середину дворцовой площади перед Красным крыльцом, откуда ни возьмись, налетел вдруг буйный вихрь, закрутил Димитрия и других всадников так, что они чуть с коней не попадали, а простому народу кругом пылью все глаза засыпало. Испугался до смерти суеверный народ, давай креститься, толковать промеж себя:

— Господи, помилуй! Знать, не к добру! Быть беде неминучей...

Вслед за вихрем проглянуло опять солнце; успокоенные москвичи, во славу царя, стали есть да пить, тешиться песнями, кулачною и иною борьбою.

Тут на Лобное место взошел, с другими боярами, опальный при Годунове старик Богдан

Бельский, и всенародно прочел молитву за спасение государя; после чего, сняв с себя крест с ликом Николая Чудотворца, со слезами поцеловал его и воззвал к толпе:

— Радуйтесь, православные, и славьте Всевышнего: вам дан истинный государь! Читите его и берегите!

А толпа, видя эти искренние слезы, слыша эти задушевные слова седовласого боярина, единодушно кричала ему в ответ:

— Да хранит Господь царя-батюшку и да погубит всех врагов его!

С того памятного дня протекло — не много не мало — четыре недели. Беды никакой, слава Богу пока еще не приключилось. Но... но... зачем было допускать эти вопиющие жестокости с Годуновыми? Чем провинился несчастный царь Федор, этот светлого образа, чистой души отрок, ко всем столь уветливый, даже к врагам своим, в числе которых был ведь и сам Курбский? Чем провинились его мать-царица и сестра-царевна?.. Да и для чего было тревожить в могиле прах Бориса, что там ни говори, все же законного, избранного самим народом государя, великого радельца

и печальника своих подданных!.. Зачем у царя Димитрия по-прежнему это пристрастие к полякам, эти тайные совещания не с боярами, нет, а с секретарем-поляком Бучинским, с обоими патерами-иезуитами: Сераковским и Ловичем? Стало быть, они ему ближе своих русских; стало быть, он не оставил еще намерения обратить весь русский народ в римскую веру, которую сам в тайне исповедует. В народе и так уже ходят толки о том, что молодой царь небрежет стародавними обычаями предков: перед обедом не молится святым иконам, после трапезы не умывает рук и не почивает... Что-то из всего этого еще выйдет?..

Такие-то мысли проносились в голове Курбского, когда он, в свите царской, ожидал, вместе с царем, прибытия царицы-инокини Марфы. Но была еще одна причина его подавленного настроения, — причина, в которой он сам себе не хотел признаться: сомнение относительно царского происхождения Димитрия, запав раз в его душу, не заглохло и заставляло его с безотчетным недоверием следить за каждым шагом, за каждым словом молодого государя. Это недоверие невольно,

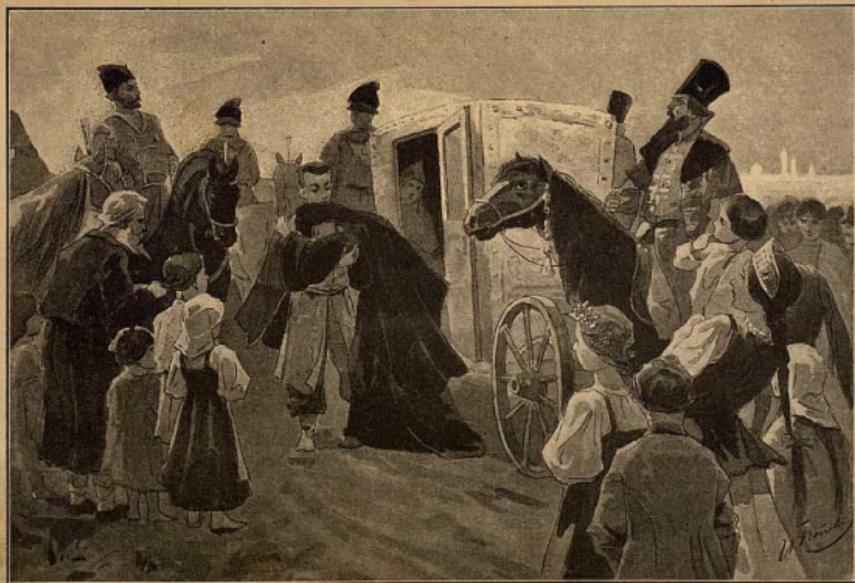
должно быть, прорвалось и в его обращении с Димитрием, потому что тот, в свою очередь, догадываясь, видно, что Курбский уже не так беззаветно ему предан, сам стал его видимо чуждаться. Но сегодня сомнение должно было, наконец, разрешиться: признает или не признает царица Марфа своего воскресшего из мертвых сына?

Димитрий, как всегда, вполне владея собой, озирался кругом с светло радостной улыбкой, как бы вызывая всех своих верно-подданных принять участие в его сыновней радости; но от Курбского не могла укрыться нервность его движений, а также и то, что он точно избегал заговаривать с окружающими, чтобы звуком или дрожанием голоса не выдать своего глубокого душевного беспокойства.

Тут в отдалении, откуда ожидалась матушка-царица, за клубилась снова пыль, и ожидающая толпа, как море, заволновалась, заколыхалась.

— Едет, едет! — повторялось тысячами уст. Сквозь пыльное облако засверкали на солнце сперва бердыши передового отряда

стрельцов, затем и золотая царская колымага.



Тут и сам Димитрий не совладал с своим нетерпением и двинулся навстречу. Перед колымагой он соскочил с коня и с обнаженной головой преклонил колена. Царица-инокиня из колымаги простерла к нему руки — и они очутились в объятиях друг у друга. Но сердце матери не вынесло слишком сильного потрясения: припав вдруг к плечу сына, царица судорожно разрыдалась.

Сцена эта была так умирительна, что вызвала сочувственные слезы и на глазах всех

зрителей.

Когда царица несколько успокоилась, царственный сын посадил ее обратно в колымагу и подал знак, что шествие может опять тронуться. Сам он уже не сел на коня; идя пешком, с непокрытой головой, рядом с колымагой, он не выпускал руки матери, протянутой к нему из колымаги. Они о чем-то говорили меж собой — о чем — никому нельзя было расслышать, потому что трубачи, литаврщики и барабанщики приложили теперь все старания, чтобы возможно громче заявить и свое собственное сочувствие. Но оба — сын и мать — так и сияли счастьем, поглядывали друг на друга с такою любовью и нежностью, как будто хотели вознаградить себя за все время долгой разлуки.

«Неужто и это притворство? — спрашивал себя Курбский. — Нет, нет, так не притворяются...»

Глава девятнадцатая ЧЕГО ЕМУ И ВО СНЕ НЕ МЕРЕЩИЛОСЬ

Когда царица-инокиня садилась опять в колымагу, сидевшая там другая женщина в черном, без сомнения, такая же монахиня, протянула ей оттуда руки. При этом, чего-то испугавшись, она вдруг откинулась назад, так что Курбский не успел даже разглядеть ее лица; да не все ли равно ему было: стара она или молода?

Но вот Димитрий, продолжая беседовать с матерью, узнал, казалось, ее спутницу: приветливо кивнув ей головой, он заговорил с нею и наклонился ниже к оконцу колымаги, чтобы лучше расслышать ответ; потом с тонкой усмешкой оглянулся на Курбского, следовавшего верхом за колымагой, и сделал ему знак рукой, чтобы он подъехал ближе. Когда Курбской поравнялся с колымагой, Димитрий представил его царице Марфе, как первого своего друга. Тут Курбский имел случай вполне отчетливо рассмотреть черты царствен-

ной схимницы, преждевременно одряхлевшие, но теперь радостно возбужденные. Впалые, но блестящие от неулегшегося еще душевного волнения глаза ее были устремлены на него так вопросительно и в то же время участливо, что его самого охватил безотчетный трепет. Какое-то предчувствие подсказывало ему, что участие к нему царицы находится в прямой связи с ее спутницей. Необоримая сила тянула его заглянуть в глубь колымаги, и он наклонился для этого на самую шею коня. Димитрий, заметив это, загадочно опять улыбнулся:

— Не заглядывайся, Михайло Андреич: ослепнешь!!!

Курбский смутился и поторопился осадить коня. Но при этом ему пришла такая шальная мысль, от которой его забила лихорадка, а перед глазами все закружилось, запрыгало.

«Возможно ли? Да это было бы такое счастье!.. Но если она дала монашеский обет, то для нее уже нет возврата; а это было бы такое несчастье!.. Нет, лучше покамест и не думать... Лишь бы добраться поскорее до Кремля: там все разъяснится».

Наконец-то вот и Кремль. На паперти Успенского собора ждет уже все высшее духовенство, впереди всех сам митрополит с крестом в приподнятых руках, дабы подобающим пастырским словом приветствовать возвращающуюся под родную сень многострадальную царицу. Но что именно говорилось владыкой, с какою торжественностью, с каким благолепием совершалось затем богослужение в храме, — ничего этого Курбский уже не ведал. Ведь царица, поднимаясь на паперть, опиралась на руку своей спутницы, а спутница эта была никто иная, как его Маруся! Его ли точно? Да, да, еще его, потому что, хотя одеяние на ней уже и не мирское, но еще и не монашеское: одета она послушницей, значит, еще не пострижена и может возвратиться в мир. А сама-то она, голубушка, как растерялась! Дрожмя дрожит, как осиновый лист, то огнем вспыхнет, то как побелеет, не знает, куда и глаза-то деть, в землю бы сейчас провалиться. Да нет, милочка, теперь уже от суженого никуда не скроешься, и под землей и на дне морском он тебя отыщет!..

По окончании церковной службы, духо-

венство чинным порядком двинулось в царский дворец, чтобы окропить святой водой те покои, в которых временно должна была остановиться царица Марфа, пока для нее не будет приготовлено надлежащее помещение в особой обители. За духовенством следовали молодой царь с матушкой-царицей, а за ними, в числе других, и Курбский. Тут, при всей своей невнимательности, он не мог не заметить, что, вовремя освящения одного из покоев, к государю приблизились оба патера-иезуита, что бы быть представленными царице-инокине; после чего Димитрий, отступив назад с патерами, начал с ними о чем-то шептаться, косясь по временам то на Марусю, то на самого Курбского.

«Уж не про нас ли с нею?» — подумал Курбский — и не ошибся.

По освящении покоев царицы, духовенство удалилось; Курбский же с другими царедворцами отправился вслед за молодым царем в престольную палату. По пути туда кто-то его окликнул по-польски. Он оглянулся: в углублении окна стоял патер Лович и манил его к себе рукой. Пропустив других вперед,

Курбский подошел к молодому иезуиту.

— Простите, — сказал он, — но мне надо идти за государем.

— Остановил я вас по желанию самого же государя, — отвечал Лович. — Пожалуйте-ка за мною.

— Куда?

— Неужто вы не знаете? Сердце ничего не говорит вам?

Сердце ему, действительно, говорило, что ему хотят доставить случай объясниться с своей беглой невестой, и, не делая уже дальнейших вопросов, он послушно последовал за своим вожатым.

— Здесь вот и обождите, — сказал Лович, приведя его в небольшую боковую комнатку.

Прошло несколько минут томительного ожидания. Вдруг — легкий шорох. На пороге стояла она, его Маруся, стояла, как вкопанная, ни жива, ни мертва, потупив звездистые очи. Он так и рванулся к ней с распростертыми руками.

— Люба ты моя! Радость моя!

Испуганно вскрикнув, она уклонилась от него и хотела, кажется, обратиться в бегство.

Но он крепко ухватил уже ее за обе руки.

— Нет, дорогая моя, теперь ты от меня уже не уйдешь, не уйдешь!

И, не выпуская ее рук, он подвел ее к покрытой персидским ковром лавке, усадил и сам уселся рядом.

— Так вот где ты запропала: в монастыре у матушки-царицы! А я-то истосковался по тебе! Но на счастье наше ты еще не пострижена. Ведь ты только послушница?

— Послушница... при государыне должна быть всегда одна из нас на послугах... — как бы оправдывалась молодая послушница, не смея поднять глаз на своего собеседника, который ожигал ее своим солнечным взглядом.

— А царица тебя, конечно, тотчас отличила от других, всей душой полюбила?

— Да... ни на шаг уже не отпускает от себя...

— Ну, теперь-то отпустит!

— Зачем ей меня отпускать? Я перед ней ни в чем, кажись, не провинилась.

— Очень даже провинилась!

— В чем?

— В том, что рвешься вон на волю: сужено-

го конем не объедешь.

Игривая нота в голосе Курбского глубоко, казалось, оскорбила бедную девушку. На ресницах у нее выступили слезы.

— И не грех тебе, Михайло Андреич, шутить так надо мною!..

— Ну, полно же, полно! — заговорил он вдруг совершенно другим уже, нежным тоном. — Прости, моя милая: шутил я потому, что так счастлив, так счастлив! Ведь я тоже, благодаря Бога, свободен.

— Свободен? А жена твоя Раиса?

— Раисы третий год уже нет в живых.

В коротких словах рассказал он тут все то, что узнал про болезнь и смерть Раисы полгода назад от отца Смарагда, старика-священника князей Рубцов-Мосальских.

Но, странное дело! По мере того, как Маруся должна была все более убеждаться, что к браку ее с Курбским нет уже никаких препятствий, лицо ее становилось все грустнее, безнадежней.

— Боже, Боже... — лепетала она про себя. — Чем я это заслужила?

— Что такое? — спросил Курбский, совсем

сбитый с толку. — Ты точно и не радуешься вместе со мной?

— Чему радоваться-то? Разве это теперь возможно!

— Чтобы нам пожениться? А почему бы нет?

— Потому что я не княжна, даже не боярышня...

— Но дороже мне всякой и княжны и боярышни...

— То-то и горе! Хоть и будешь любить меня, как жену свою, а все же будешь меня стыдиться перед людьми...

— Я тебя стыдиться?

— Да как же: ни одна ведь родовитая боярыня не признает ровней себе дочь купеческую... А из-за меня и тебе не будет уже того почета при дворе...

— Ну, это мы еще посмотрим! — воскликнул Курбский, гордо выпрямляясь и сверкая глазами.

— Наверное, говорю тебе. Нет, милый князь; пусти меня назад в монастырь; авось, со временем забудем друг друга...

От приступивших к горлу слез голос ее

осекся. Тут, как из полу, перед обоими выросла темная тень: перед ними стоял молодой патер Лович.

— Простите, если я прерву вашу беседу, — заговорил он. — Случайно находясь здесь рядом, я кое-что расслышал. Мой пастырский долг — прийти вам на помощь. Не позволите ли указать вам самый простой путь, как выйти, из затруднения к обоюдному вашему удовольствию?

Еще со времени своего пребывания на Во-лыни Курбский не доверял ни тому, ни другому из двух тайных иезуитов. Но младший и прежде не раз уже выказывал добрые человеческие побуждения; может быть, и теперь он руководился ими.

— Будем вам очень благодарны, — отвечал Курбский за себя и Марусю.

— Извольте видеть, — начал иезуит, — как девица рассудливая, вы, пани, совершенно справедливо опасаетесь выйти замуж за царедворца: самим вам вряд ли когда-либо удалось бы занять подобающее место среди придворной знати, а из-за вас и супруг ваш стал бы как бы опальным.

— Ну, вот, вот! Что я говорила? — прошептала Маруся.

— Теперь спрашивается: так ли вам уж обоим дорог этот придворный блеск, придворный шум? Или же вы предпочитаете мирное семейное счастье?

— Конечно, семейное счастье! — не задумываясь, отвечал Курбский.

— А вы, пани?

— Конечно, тоже... — отвечала Маруся, все лицо которой расцвело новой надеждой.

— А коли так, то о чем же горевать? — продолжал патер. — Ведь покойный батюшка ваш, пани, если не ошибаюсь, был крупный коммерсант, а вы после него единственная наследница?

— Да... но дядя — опекун мой...

— Так что ж из того? Он заменяет вам отца.

— Но деньги-то наши он пустил в оборот...

— Ну, так он вас выделит.

— Да захочет ли он?

— По своей охоте или нет, но он должен вас выделить! А в эти смутные времена можно, я слышал, иметь прекрасные поместья за

бесценок. И заживете вы мирно и счастливо
вдали от суетных тревог придворного мира.
Сам царь Соломон еще говорил про эту суету
сует — *vanitas vanitatum...*

— Одно лишь вы упустили из виду, святой
отец, — сказал Курбский, черты которого
опять слегка омрачились.

— Что именно?

— Что не жене содержать семью, а мужу...

— Да разве все мое — не твое, желанный
ты мой? — возразила Маруся, но, сама тотчас
застыдившись, что назвала его так, зарделась
до ушей и потупилась.

— Совершенно верно, — поддержал ее с
своей стороны Лович, — в доброй христиан-
ской семье разве может быть отдельная соб-
ственность? А кто, как не муж, глава дома?
Кто, как не он, ответствен за целостность общей
семейной собственности? Да на ваших пле-
чах, любезный князь, будет держаться весь
дом. Спасибо еще, что плечи-то у вас такие
широкие, богатырские! — прибавил он с
улыбкой.

В порыве благодарности Маруся схватила
руку патера и прижала бы ее к губам, если бы

он ее не отдернул.

— Что вы, пани, что вы! — сказал он. — Все это мы с патером Сераковским живо оборудуем. Что же до свадьбы, то ее, пожалуй, придется несколько отложить, потому что на будущей неделе ведь назначена коронация государя, а там пойдут разные празднества...

— Да почему нам не повенчаться до того? — спросил Курбский. — Когда вы, святой отец, располагаете переговорить с дядей моей невесты?

— Может быть, еще сегодня.

— Ну, а завтра мы и повенчаемся.

— Уже завтра?! — ахнула Маруся.

— Доброе дело зачем откладывать? — поддержал Курбского патер. — Только в такой скорости свадьба, не взыщите, не может быть пышной.

— Да на что нам пышность? — отвечал Курбский. — Чем тише и скромнее, тем даже лучше. Не так ли, моя дорогая?

— О, да, конечно...

— Ну, вот, стало быть, завтра вы будете уже счастливыми супругами, — сказал патер. — Но сегодня вы позволите мне все-таки

первому пожелать вам всякого благополучия! А теперь, пани, не пора ли вам и к царице-матери?

— Ах, да, да... — спохватилась Маруся, вся пылая от смущения и счастья. — Не знаю только, как мне пройти к ней...

— А я, извольте, провожу вас. Ступайте, милый князь, ступайте своей дорогой, вас нам не нужно! — шутливо добавил Лович, когда Курбский двинулся было за ними. — На веку своем еще наглядитесь друг на друга.

— Чем только мы заслужили такую вашу доброту! — говорила Маруся молодому иезуиту, когда они вдвоем рядом палат шли к покоям царицы.

— Чем? Да хотя бы уж тем, что оба вы из-за царя Димитрия и будущей царицы Марины столько настрадались. А кому же облегчать страдания своих ближних, как не служителям святой римской церкви.

Не мог же он, в самом деле, открыть ей, что им, этим служителям римской церкви, необходимо было, во что бы то ни стало, удалить от молодого государя раз навсегда его ближайшего друга, чересчур уже преданного

своей родной православной церкви.

Надо отдать справедливость отцам-иезуитам: они сделали для наших обрученных даже более обещанного. На другой же день в приходской церкви, к которой были приписаны Биркины, состоялось бракосочетание Курбского с Марусей — состоялось возможно тихо и скромно; единственными свидетелями были: со стороны Курбского — Басманов и Петрусь, а со стороны Маруси — ее два дяди и тетки. Надо ли говорить, что для Степана Марковича, гордившегося так своим новым родственником, было большим ударом, что ему нельзя было при этой okazji «пустить пыль в глаза» другим «толстосумам» Китай-города; Платонида же Кузьминишна печалилась больше всего о том, что племянница, вопреки тогдашнему обычаю, не хотела даже к венцу хорошенько набелить-нарумянить щеки, насурьмить брови; но Маруся, зная, что Курбскому ее природный свежий румянец, природная «соболиная» бровь нравятся гораздо более, не нашла возможным сделать это одолжение тетке.

О выдаче Марусе всего отцовского наслед-

ства Степан Маркович сначала и слышать не хотел. Но патер Сераковский, ведший с ним переговоры, обещал приложить все старания, чтобы ему был предоставлен если не безданный, беспошлинный торг, то хотя бы «хорошенький подрядец» для царского двора, и кремень-купец сделался сговорчивее. Впрочем, особенной надобности в отцовском наследстве для Маруси даже не представилось: по окончании венчального обряда, Басманов вручил Курбскому большой пергаментный лист со словами:

— Благоверный и всемилостивейший великий князь и государь наш Димитрий, в ознаменование своего особого благоволения и дружбы, жалует тебе, князь, от щедрот своих подмосковную с тремястами душ; а дабы ты всегда памятовал сегодняшний день, сделавший тебя счастливым супругом, та подмосковная будет отныне называться, по твоей супруге, Марусино.

Глава двадцатая ДОРОГИЕ ГОСТИ

«Счастливые часов не наблюдают». Молодые супруги Курбские были из числа таких счастливцев. Месяц проходил за месяцем, а они, как засели в своем Марусино, так и не трогались уже оттуда. Усадьба была сильно запущена; про крестьянские дворы и говорить нечего: где крыша протекла, где двери и окна покосились, где стены были подперты жердями и, того гляди, могли рухнуть. И вот, лишь только были справлены осенние полевые работы, как и в усадьбе и в деревне застучали топоры, завизжали пилы, чтобы всем-то устроить уютное жилье. Но сквозь этот хаотический визг, стук и грохот звенели веселые песни, звучал здоровый смех трудящихся, и для слуха и сердца молодых господ эта простая музыка труда была куда слаще сложной гармонии заморских скрипок, флейт и барабанов. Труд был здесь ведь не подневольный, и в этих песнях, в этом смехе изливалось довольство крестьян своим делом, свои-

ми новыми господами. По вечерам же, в угоду молодой княгине, деревенская молодежь заводила разные игры и хороводы. И как же было ее, голубушку, не потешить, когда она не гнушалась заговаривать с самой бедной старушонкой, у всякой бабы, всякой девушки выведывала, в чем кому нужда, а потом всякого наделяла чем нужно. Недаром ее теперь и величали-то не иначе, как «нашей княгинюшкой».

Всех более, однако, славил ее одна почтенная старушка, Маланья Седельникова, мать того молодого стрельца-знаменщика, Прокопа Седельникова, которого (как припомнят, может быть, читатели) Курбский нашел умирающим в лазарете под Новгородом-Северским. По пути из Москвы в Марусино, при остановке в одном селе, Курбский случайно услышал название этого села — Вяземы. Тут, как воочию, предстал перед ним опять распростертый на соломе, умирающий стрелец, живо вспомнилась его предсмертная просьба: буде ему, Курбскому, доведется раз быть под Москвою, в селе Вяземах, то навестил бы его мать-старуху, поклонился бы ей

от имени сына, но, Боже упаси, не говорил бы ей, как он, бедняга, мучился перед кончиной, а сказал бы только, что он пал в честном бою на поле брани. И Курбский исполнил теперь его просьбу. Зашедшая в лачугу к старушке вместе с мужем Маруся так ее обласкала, что сразу заворожила, заполонила ее скорбящее материнское сердце. Узнав, что у одинокой бедной Маланьи нет в деревне никакой родни, Курбские тут же выкупили ее у ее господ и взяли с собой к себе в Марусино. Когда же ей здесь была еще предоставлена почетная должность птичницы — старушка про своего «ангела Небесного» княгинюшку говорила уже не иначе, как с благоговейным восторгом.

О том, что между тем происходило в Москве, до Курбских доходили, конечно слухи, но слухи отрывочные и не всегда достоверные. Так слышали они, например, что на место прежнего мрачного Борисова дворца, скрытого до основания, возводился новый, иноземного образца, пышный и светлый дворец, в котором одна половина назначается для самого царя, а другая для его нареченной

невесты, будущей царицы Марины; что опальные при Годунове бояре Нагие и Романовы возвращены в Москву, причем Федор Никитич Романов, принявший в монашестве имя Филарета, отказался снять клобук и возведен в митрополиты ростовские и ярославские; что злейшие враги царя, родственники Годунова, не только помилованы, но некоторые из них пожалованы даже воеводами, правда, в Сибири и в иных отдаленных местах; что князь Василий Шуйский затеял было смуту и был приговорен за то к наказанию плетьюми, положил уже голову на плаху, как вдруг бежит какой-то шустрый человек в польской одежде, машет платком и кричит палачу: «Стой! государь его прощает».

— Пан Бучинский! — догадался Курбский при рассказе об этом. — Уж очень он сердобобен, верно уговорил государя простить этого лукавца. Как бы им обоим потом не раскаяться!

Опасение Курбского впоследствии, действительно оправдалось.

Под Рождество в Марусино прибыли из Москвы дорогие гости: младший дядя моло-

дой княгини, Степан Маркович Биркин, и «благоверная» его старшего брата, Платонида Кузьминишна; самого Ивана Марковича задержали его торговые дела, которые обещали оживиться с воцарением Димитрия.

Первым делом, разумеется, Курбский должен был показать гостям свои уголья, а Маруся — свое домашнее хозяйство.

— Домостроительница, что и говорить! — чистосердечно похвалила ее испытанная «домостроительница» — тетка, — что было для племянницы, конечно, маслом по сердцу.

— А теперича, невестушка, давай-ка выкладывать им наши столичные новости, — сказал Степан Маркович, — сперва ты, а там и я.

— Да как же я раньше-то тебя? — удивилась Платонида Кузьминишна.

— Ну, ну, не жеманься: все равно ведь всякое слово у меня изо рта вынешь. Только чур, матушка, потом меня уже не перебивать! Отзвонишь — и с колокольни долой.

И принялась она «звонить». Благодаря своим постоянным щедрым приношениям в пользу разных церквей, она пользовалась

особенной протекцией духовенства. Таким образом, ей, не в пример других, удалось попасть в Успенский собор на священное коронование Димитрия, и она теперь просто слов не находила для описания всего благолепия этого торжественного обряда. Весь путь ведь от дворца до собора был устлан бархатным, малинового цвета ковром, затканым золотом; сам царь был в порфире, усеянной самоцветными камнями, от которых в глазах так вот и рябило. А сколько умиленных слез она пролила, когда молодой царь, подойдя к алтарю, вопреки обычаю, но от полноты, знать, наболевшего сердца, сказал речь да поведал всенародно обо всем, что претерпел он, горемычный, и о своем чудесном спасении. Слушаешь — не наслушаешься, а слеза так и бьет, так и бьет!

Больно было ей, правда, вначале, что обряд совершал не старый патриарх Иов, которого вся Москва так чтילה (за преданность Годуновым его, вишь, сместили), а вновь возведенный в патриарший сан архиепископ рязанский Игнатий; но и этот, что ни говори, молитвил уставно, а когда он, помазав царя

священным миром, вручил ему еще венец царский, скипетр, державу и возвел его на прародительский престол, когда затем сам он, патриарх, а за ним все священство и высшее боярство с земными поклонами стали прикладываться к руке венценосного царя, — ну, тут уже с радости и восторга просто взвыла и света не увидела!

— Значит, государь принял свой царский венец по строгому православному чину? — сказал Курбский, вздохнув с облегчением. — Патеров польских, разумеется, не было при том?

— Ох, уж эти мне патеры! В храм наш православный их, нехристей, знамо, не пустили. А все же, беда с ними, горе одно! Власть забрали непомерную: отвели им хоромы князя Глинского; завели они там свое собственное еретичное богослужение, да давай оттуда подводить подкопы под наше духовенство.

— Какие подкопы?

— А такие, что по их же проискам у наших православных попов отобрали дома под немецкую воинскую команду. Мало того: отрядили своих оценщиков в наши православ-

ные монастыри... Безбожники! Чтобы им и на этом и на том свете.

— Молчи, невестушка, помалкивай, пустых речей не умножай! — прервал расходившуюся женщину более осторожный деверь. — Отзвонила свое — ну, и с Богом.

— Да ведь оберут они и наших иноков Божьих...

— Сколько требуется, не бойсь, оставят. Царскую рать, матушка, тоже кормить чем-нибудь да надо, и служат в ней такие же, чай, как и мы с тобой, русские православной веры. Коли сделано то по царской воле, так нам с тобой и толковать нечего.

— А что объегорили эти ироды самого тебя да Ивана Маркыча, наобещав с три короба, тоже, по твоему, так и быть следует?

— Не вспоминай, сделай милость! Не вороти души моей!

— То-то вот! Своя рубашка ближе к телу.

— В чем дело, Степан Маркыч? — спросил Курбский.

— И говорить-то зазорно, — отвечал тот, почесывая за ухом. — Здорово поддел он меня, этот патер Сераковский; забодай его бык!

Снаружи блажен муж, а внутри вскуе шата-
шася.

— Но не он ли, дяденька, вел тогда перегово-
ры с тобой о моем приданом? — вставила
Маруся. — Это было с его стороны очень даже
любезно...

— Очень даже любезно! — передразнил дя-
дя. — Подъезжает ко мне змей-искуситель с
речами затейными: «Такой ты, мол, сякой,
немазанный, сухой; выдели племянницу, а уж
я, мол, в уважение доброй приязни выпрошу
для тебя с братом у молодого царя свободу
торговать по всей Руси безданно, беспошлин-
но». Ну, в простоте моей поверил я этой поль-
ской лисе; все наличные, что были на руках,
отсчитал тебе, Машенька...

— За что я тебе уж так благодарна, милый
дяденька! Деньги эти для начала нам здесь
очень и очень пригодились.

— Ну, вот, стало, удовлетворена? А он-то, плут,
нет, чтобы уважить, меня же, старого воро-
бья, на кривой объехал!

— Не сдержал слова?

— Сдержал, да спроси: как?

— Как?

— А так, что хошь и вышел царский указ, по коему мы с братом Иваном можем торговать свободно, да только не мы одни, а и все-то купцы: русские и иноземные! Да это помереть надо!.. Ну, меня, знамо, взорвало, со злобы чуть кондрашка не хватил. «Погоди ж ты, думаю, криводушный человек! Жив быть не хочу, а тебе этого не спущу». Пошел я, разыскал его. Принял он меня со всем своим подлым учтивством:

— Чем могу служить, пане?

— Пане-то пане, — говорю, — а честные люди у нас так не поступают!

— Вы это про кого, — говорит, — про себя или про меня? — а сам ядовито этак ухмыляется. — Позвольте, — говорит, — узнать, выделити вы братца вашего дочку, княгиню Курбскую.

— Выделил, — говорю, — а то как же.

— И до последнего, — говорит, — гроша?

— Самая малость, — говорю, — только за мной осталася.

— А сколько, позвольте спросить?

— Это, батенька, — говорю, — до тебя не касается: семейное наше дело.

— Стало, все же не исполнили нашего уговора? А я, — говорит, — в своем слове тверд: выпросил свободный торг не токмо вам с братцем, но и всем вашим землякам...

— И иноземцам тоже! Благодарю покорно! Удружил!

— Да уж коли я вам, русским, такую льготу выхлопотал, так как же, — говорит, — было мне забыть моих родичей, поляков и добрых соседей, литовцев? А тут, — говорит, — подошел еще посол аглицкий, стал требовать того же для своих; как отказать? Да все это, — говорит, — вам, русским же, впрок.

— Как так?

— А так, мол, что все иноземные товары у вас станут с сего времени дешевле.

— Да нам-то с братом, — говорю, — один убыток!

— Не убыток, — говорит, — а польза: наш добрый польский король Сигизмунд даст вам, поверьте, такие же широкие льготы в нашем царстве Польском. Пожалуйте, тогда пане, торговать к нам, милости просим!

— Нет, каков гусь? Надо мною же ведь еще издевается! Плюнул я, да и спину повернул.

Как же, пойду я еще торговать к ним, разбойникам, чтобы и шкуру-то последнюю содрали!

Прогостив в Марусине с неделю, Биркины собрались опять восвояси. Нового гостя из Белокаменной Курбские дождались не ранее, как на Масляной неделе следующего 1606 года. То был юный почитатель Курбского Бутурлин.

Состоя при Басманове, успевшем, в свою очередь, сделаться ближайшим из всех русских советников молодого царя, Бутурлин смотрел на последнего глазами своего патрона и восхищался всякой новинкой при царском дворе. Так он не мог нахвалиться новым дворцом, где стены были сплошь в персидских шелковых тканях, полы в персидских же коврах, окна разувешены занавесями, а печи сложены из разноцветных изразцов, с серебряною вокруг каждой печи решеткой; двери — резные, дубовые, с позолоченными замками; вместо прежних скамей, везде позолоченные стулья с бархатными сиденьями. В столовой же палате и сенях, по всем углам, большие мраморные истуканы, изображаю-

щие, слышно, древних богов и мудрецов греческих и римских. Под стать всему новому убранству и прислуга дворцовая была наряжена уже не в народное русское платье, а в венгерское. Точно также и стража царская, которую называли «драбантами», была вся иноземная. Состояла она из трех дружин, по сто человек в каждой, под началом трех особых капитанов: француза Маржерета, англичанина Кноустона и шотландца Вандемана. Маржеретовские воины были в красных бархатных с парчою плащах, Кноустонские же и Вандемановские в сине-багровых (фиолетовых) полукафтанах, одни с зелеными, другие с красными бархатными лацканами, и все-то ребята рослые, здоровенные, все с большущими блестящими алебардами — загляденье, да и только! Понятно, и жалованье двойное; зато они за царя Димитрия в огонь и в воду.

Курбский слушал молча, насупив брови, очевидно, не разделяя увлечения легкомысленного юноши.

— Ну, а русским людям как живется теперь при дворе против прежнего? — спросил он.

— Живется им тоже вольготней и весе-

лее, — отвечал Бутурлин. — За столом всякий день музыка да песни; после стола никто и не помыслит почивать: либо какое дело, либо безделье.

— Но в боярской думе государь все же бывает?

— А как же: ни единого разу еще, почитай, не пропустил. Прослушает сперва, как бояре промеж себя судят да рядят; а потом говорит им: «Столько часов вы, люди добрые, бьетесь, и все без толку; а дело-то чего проще». И что же ведь? Сразу решит, как должно. Станет говорить, так где и слова-то берутся? Говорит складно, вразумительно, как по-писанному. На все-то у него примеры из жизни других народов. Бояре, знай, ушами только хлопают, брады уставя, и диву даются. «Вот погодите, — говорит, — буду посылать и ваших детей в чужие края поучиться уму-разуму — спасибо еще скажете».

— Что же, дело хорошее, хорошее дело, — не мог не одобрить Курбский. — Лишь бы из-за чужих народов своего не забывал.

— О! Государь радеет об нем ежечасно. По средам и субботам сам просителей принима-

ет на крыльце.

— Всех без разбора?

— Всех как есть: приходи с челобитной последний хоть нищий — и тому нет отказу. Судьям же и приказным, дабы не прижимали бедного люда, строго настрого наказано вершить дела без посулов (взяток). А чтобы самому ему еще ближе познать свой народ, перерядится, бывало, в простое платье, да сам-друг с Басмановым и ходит себе по городу, заговаривает с прохожими, заглядывает в лавки, в аптеки... Взял он это в пример, сказывал Басманов, с какого-то сказочного царя арабского, что ли...

— С калифа Гаруна-аль-Рашида, — пояснила Маруся, которая, живя в Самборе при панне Марине Мнишек, имела случай познакомиться там со сказками «Тысяча и одна ночь».

— А вот что скажи-ка мне, Андрей Васильич: заходит ли государь по-прежнему и к своей матушке-царице?

— Как улучит только свободное время, так сейчас и к ней. И всякий-то раз, как побывает так у нее, становится будто еще доступнее,

ласковее.

— Что значит мать родная! Но ты говорил все про дело; а безделье-то у него какое?

— Безделье тоже все благородное: то конское ристалище, то охота псовая, либо соколиная, то медвежья травля: нарочито мы для сего из аглицкой земли особых собак даже выписали — догов; а травим у себя же, на дворцовом заднем дворе, больше все по воскресным дням. Раз же, в селе Тайницком, государь велел спустить с цепи медведя-страшилище, да сам и пошел на него с рогатиной.

— Один? Вот бесстрашный! А бояре-то как допустили?

— Басманов и то было выскочил вперед; да государь на него как прикрикнет: «Отойди, Петя, не мешай!» Глядь, с одного удара и порешил зверя, а у самого хоть бы царапинка. Но все эти забавы ничто перед воинской потехой.

— Да ведь войны у нас ни с кем теперь нет? — заметил Курбский.

— Покуда нет; но татары и турки собираются, слышь, опять в поход на нас. Ну, вот, и отливают у нас про них пушки да мортиры; а

чтобы и наше русское войско переняло у искусников немцев, как идти на приступ, соорудили верст тридцать от Москвы, в старой вотчине Борисовой, ледяную крепость. Бояре со стрельцами засели в крепости, а сам государь с немецкой командой брал ее приступом.

— И с оружием? Бутурлин рассмеялся.

— С оружием, да! Только с каким, знаешь ли? С снежными комьями! Правда, иные из этой немчуры, за-место снега, метали в наших каменьями и поранили кое-кого. Как подали тут всем после боя вина да меду, бояре с досады не хотели даже пить спервоначалу во славу победителей-немцев. А старик Бельский так прямо и ляпнул: «Не вышло бы, государь, из сего плохой шутки. Вернемся-ка лучше в Москву». И послушался государь, вернулся. Да очень уж, видно, полюбилась ему воинская потеха: велел он возвести на Москве-реке, по дсамыи окнами дворца, ад кромешный. Маруся осенилась крестом.

— Господи, помилуй! Настоящий ад?

— Ты, деточка моя, и поверила? — улыбнулся Курбский. — Верно, тоже нечто вроде крепостцы?

— Подлинно, что так, — отвечал Бутурлин. — Но наподобие яко бы ада. На дверях изображены слоны с огромными хоботами; из нижних окон пышет адское пламя, наверху же, заместо окон, головы чертей с разинутыми пастьями, и из тех пастей глядят пушки: «Ой, не подходи! Разнесем». Вся эта штука притом на колесах; как двинется этак на погань бусурманскую, так та со страху наверное бросится бежать без оглядки.

— А москвичи что говорят про эту затею?

— Да что наши москвичи! Народ богобоязненный, да темный. Почитают и впрямь не то дом, не то дьявольским наваждением, крестятся да отплевываются. Как предложил тут государь стрельцам штурмовать эту небывалую крепость, те поголовно отказались. Ну, и пристыдил же он их: вызвал охотников из польских рейтеров; эти, понятно, не устрашились и лихо пошли на приступ[10].

«И сотвори себе в маловременной жизни потеху, а в будущий век знамение превечного своего домовища, его же в Российском государстве, ни в которых во иных, кроме подземного, ни-

кто же виде на земли, ад превелик зело, имеющ у себя три главы, и содела обо-юдю челюсти его от меди бряцало велие, егда же разверзает челюсти своя, и извне его яко пламя предстоящим ту является, и велие бряцание исходит из гортани его, зубы же ему имеющие осклаблены и ногти ему яко готovy на ухапление, и из ушью его яко же пламени распалывшуюся; и постави его проклятый он прямо себе на Москве-реке, себе во обличение, дабы ему и с превысочайших обиталищ своих зрети на нь всегда, и готову быти в нескончаемые муки во нь на вселение и с прочими доиномысленными своими».

Курбский подавил вздох.

— Так правда, значит, — сказал он, — что поляков государь все-таки еще предпочитает своим русским?

— Да как же, коли невеста у него из полячек?

— А что, Андрей Васильевич, — переменяла тему Маруся, — когда же их свадьба?

— Свадьба настоящая, православная, будет сейчас, слышно, как только невеста прибудет

в Москву. Католическая же была ведь еще в ноябре месяце в Кракове.

— В Кракове! Да разве государь ездил для этого опять в Краков?

— Сам-то не ездил; повенчали его с невестой заочно.

— Как так заочно?

— А так, что в Кракове заступал его думный дьяк Власьев Афанасий Иванович. Да какие подарки он повез им из Москвы!

И Бутурлин с одушевлением начал перечислять эти подарки[11].

— Но почему же она до сих пор все не едет в Москву? — спросил Курбский.

Бутурлин пожал плечами.

— Господь ее ведает! Государь и то не может дождаться: на Рождестве еще послал нарочно в Краков пана Бучинского и Михайлу Толчанова с большими деньгами (на дорогу) и новыми подарками пану воеводу, чтобы поторопился отъездом; вдогонку покати́л Иван Безобразов, а теперъ вот, на днях, отправлены к ним в Самбор один за другим еще два гонца.

— Удивительное дело! Словно с умыслом ведь затягивают свой приезд.

— А я знаю, почему! — сообразила Маруся.

— Почему?

— Да потому, что выходит-то панна Мари-на за нашего русского царя не по своей охоте.

— Как не по своей? — возразил Курбский. — Не сама ли она, скажи, первая опутала его своими чарами, когда он был еще царевичем...

— Да, ей вскружила голову царская власть. Кроме того, ей нашептали эти два патера, что через нее будет обращен в латинство весь русский народ и что она обретет тем царство Небесное. Но сердца в груди не заглушишь!

— Так ты полагаешь, что она и доселе еще не забыла кого-либо из своих прежних поклонников? У ног ее, говорят, вздыхали первые польские рыцари. Чаровница! Но я, признаться, с тех пор, что ее знаю, ничего-таки не заметил.

— Ты, Миша, ничего, вообще, не замечаешь: у тебя глаз мужской, не женский. А я была ее любимой фрейлиной, от меня у нее почти не было тайн.

— Так ты думаешь?..

— Думаю, что не пошли ей судьба русского

царевича, она давным-давно была бы паньей Осмольской. Одним им, Осмольским, было время, только живет и дышит.

— Гм... Осмольский и то ведь из всех поляков, что знавал я, чуть ли не самый прямой и милый. Сравниться с ним мог разве Бучинский.

— Да и Бучинский не такой прямодушный.

— Пожалуй; по должности своей секретарской он поневоле скрытничает. Но при мне Осмольский никогда не показывал и виду, чтобы панна Марина ему нравилась более других паненок.

— Потому что он истинный рыцарь. Понял, видно, что у нее одно на уме — царский венец, ну, и сам отступился. Помяни мое слово: приедет она в Москву, и он будет тут как тут.

— Вспомянем, — недоверчиво усмехнулся Курбский. — Только когда-то мы с тобой еще попадем в Москву!

— Когда? А к самому въезду панны Марины. Право, голубчик Миша, мне так хотелось бы!.. Я была с нею так дружна...

— Хороша дружба! Забыла ты, видно, как

коварно она с тобой тогда поступила в Жалосцах?

— При пожаре православного храма? Да ведь я могла уличить этих двух патеров в поджоге храма, а для нее нет ничего выше ее римской веры. Ей надо было спровадить меня хоть на край света. Ну, и сама я, признаться, тогда погорячилась, наговорила ей из-за тебя много лишнего. Но теперь все это давно быльем поросло, и никто тебя у меня уже не отнимет! Ну, пожалуйста, миленький, хороший ты мой! И сам ты свидишься опять с государем, твоим лучшим ведь другом...

Мог ли он сказать ей, что между ним и его царственным другом стояла по-прежнему замогильная тень угличского странника? Просила же его молодая жена так нежно, так умильно... И недостало у него духу отказать ей в этой совершенно понятной и невинной просьбе.

Глава двадцать первая КАК МАРИНА МНИШЕК ВЪЕЗЖАЛА В МОСКВУ И КАК МАРУСЯ КУРБСКАЯ ПРИНЯЛА ТАКЖЕ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ВЪЕЗДЕ

Согласно наперед установленному церемониалу, въезд царской невесты в Москву должен был состояться 2-го мая по Смоленской дороге. На расстоянии ружейного выстрела от городских ворот были раскинuty два роскошных шатра; а чтобы задержать напор несметных зрителей небывалого еще зрелища, от шатров до города и далее по городским улицам вплоть до Кремля была расставлена цепь конных казаков и пеших ратников. Вставшим спозаранку Курбским, Биркиным и безотлучному казачку первых Петрусю удалось занять места хотя и позади воинской цепи, но против самых шатров. Таким образом, в ожидании, они имели полную возможность наглядеться, во-первых, на сверкавшую сереб-



Королева Марія Каролл.
Марина Каролл.

ром и золотом группу всадников бояр, долженствовавших встретить здесь невесту государя; потом на царский подарок ей — двенадцать верховых коней под меховыми попонами, с золотыми удилами и серебряными стремянами; наконец, на назначенную для нее же раззолоченную колымагу, запряженную десятью бесподобными чубарыми конями.

А вот, при звуках труб, флейт и барабанов, показался и поезд царственной гостьи: впереди стрельцы, за ними польские гусары, за этими высланные навстречу ей до границы московские бояре и ее родственники: отец, дядя, брат и зять; далее — ее личная охрана.

— Ну, что я говорила, Миша? — заметила Маруся. — Вон и пан Осмольский; но как он изменился! Краше в гроб кладут...

Действительно, во главе польской охраны ехал пан Матвей Осмольский; посадка его была, как всегда, молодецкая; но лицом он был страшно худ и бледен, как после недавно перенесенной тяжелой болезни, и в чертах его была написана самая безысходная скорбь.

Между тем, Платонида Кузьминишна восхищалась приближающейся каретой наияс-

нейшей панны Марины или, вернее сказать, восседавшим на высоких козлах толстейшим возницей в зеленом шелковом кафтане:

— Вот кучер так кучер! Кабы нам, Иван Маркыч, такого же дородством...

— И лошадок таких бы! — отозвался Иван Маркович, — уж куда знатно окрашены! Да ведь нашему брату, купчине, такой масти не разрешат!

Восьмерка коней, везших карету, в самом деле, была диковинной масти: до половины тела ярко-багряного цвета, а выше — белоснежного.

Не успела карета остановиться, как стоявшие на запятках два великана-гайдука спрыгнули наземь, чтобы раскрыть дверцы; а подошедший уже старик-родитель будущей царицы, пан Юрий Мнишек, с утонченною почтительностью высадил ее оттуда и провел затем в шатер. Туда же скрылись за ними как прочие вельможи, так и вышедшая из ехавших сзади карет женская свита; а польские телохранители не замедлили окружить шатер.

Из-за казацкой цепи едва ли не один только Курбский, благодаря своему высокому ро-

сту, видел хорошенько все описанное. Любопытство же у всех было одинаковое; задние напирали на передних, а эти поневоле на заграждавших им вид конных казаков. Тут казаки стали пятить коней, грозя пустить в ход нагайки. Произошла отчаянная давка; раздались бранные крики и раздирательные вопли:

— Чего толкаешься, мужлан, деревенщина неотесанный!

— Ой, родимые! Касатики! Побойтесь Бога! Отпустите душеньку на покаяние!

Жалобнее всех голосила толстуха Платонида Кузьминишна, так что даже обратила внимание начальника телохранителей, пана Осмольского. Он оглянулся в ее сторону и узнал тут возвышавшегося над всеми окружающими Курбского.

— А! Князь Курбский! И вы здесь? Пропустите вперед ясновельможного князя! — отнесся он к казакам.

Курбский за руку с Марусей выбрался вперед из-за цепи.

— А меня-то что же, милостивец, отец родной? — заверещала снова Платонида Кузьми-

нишна. — Ведь я им тетка, тетка!

Ее детски-пискливый голосок при бесформенно-тучном теле рассмешил казаков.

— Коли тетка, так как не уважить? Пропустите, братцы, тетку!

Сомкнувшаяся цепь опять разомкнулась. Юркий Петрусь чуть было также не проскользнул вслед за «теткой»: но его вовремя еще схватила за шиворот казацкая рука.

— Ты куда, пострел? Назад!

А тут из шатра появилась опять панна Марина со всей своей женской и мужской свитой. Платонида Кузьминишна, шумно еще вздыхая, выпучила свои заплывшие жиром глаза, чтобы не упустить ничего из убора царской невесты. А убор был, точно, на диво; белое атласное платье было все отделано «венецкими» кружевами, серебряной тесьмой и жемчугом; на груди, из-под широкого выреза, сверкало алмазное ожерелье; на руках — драгоценные запястья на голове — многогранная шапочка (берет) из фиолетового бархата с огромным белым страусовым пером, прикрепленным крупной алмазной запонкой

— Ай, хороша! Цветочек! Подлинная ца-

ревна! — шептала толстуха. — А взгляд-то какой искрометный, занозистый; надо быть, норовиста — и, Боже мой!

Такое заключение, действительно, оправдывалось тою строгою, неприступною гордостью, которая выражалась в прелестных классически правильных чертах лица молодой полячки, во всей ее изящной фигуре и поистине царственной осанке.

И вдруг, заметив в числе зрителей свою бывшую подругу, эта зазнавшаяся гордячка разом преобразилась: в ее надменном взоре блеснула неподдельная радость, сжатые губы ее раздвинулись обворожительной улыбкой, — и она стала безусловно-прекрасной.

— Ты ли это, моя Муся? — спросила она польски и сделала шаг в сторону молодой княгини Курбской.

Та, в незлобии своем, простила уже, как мы знаем, все обиды, перенесенные ею когда-то от своенравной дочери Сендомирского воеводы. Могла ли она теперь устоять против обаятельной ласковости этой волшебницы, окруженной еще притом ореолом будущей русской царицы?

Совсем очарованная, Маруся рванулась к ней и без слов прильнула губами к протянутой ручке. Марина, видимо польщенная, опять улыбнулась.

— Хорошо, хорошо; я верю, что ты мне еще предана. Самой мне хотелось бы опять поговорить с тобой. Ты можешь ехать с моей гофмейстериной, паньей Тарло; вы давно ведь уже знаете друг друга.

И с милостивым кивком, не допуская возражений, она отвернулась, чтобы направиться к ожидавшей ее царской колымаге.

А что же сама Маруся? Что муж ее? Приглашение или, вернее сказать, приказание будущей царицы было так решительно, что обслушании не могло быть и речи.

— Нечего делать, мой друг, — сказал Курбский, подавляя вздох, — ступай!

Гофмейстерина приветствовала Марусю со свойственной польской нации изысканною любезностью, с легким лишь оттенком снисходительности, и предоставила ей в своей карете почетное место рядом с собой. Сопровождавшие ее две молоденьких фрейлины должны были удовольствоваться передней ска-

мейкой.

— С княгиней Курбской мы дружны ведь еще с тех пор, что были вместе такими же фрейлинами, как вы, — объяснила гофмейстерина своим двум подчиненным. — Первую весть о том, дорогая княгиня, что вы вышли за князя Курбского, привез нам в Краков ведь пан Бучинский. Как я была за вас рада, и сказать не могу! Из купеческой семьи да вдруг выскочить в княгини!

Чтобы несколько смягчить умышленный укол, панья Тарло наклонилась к молодой княгине для поцелуя, то есть подставила ей свою густо наруганную щеку. Не без тайного отвращения прикоснувшись к этой щеке губами, Маруся навела разговор на бывшую за полгода назад в Кракове церемонию заочного бракосочетания панны Марины с царем Димитрием по католическому обряду.

— О! Церемония была прямо-таки королевская, — воскликнула панья Тарло. — Не будь только этого противного Власьева, которого царь прислал заступить себя...

— Да, Власьев уже не молод да и вовсе не красив, — сказала Маруся. — Но, как думного

дьяка, в Москве его все очень почитают.

— В Москве, да! Но посудите сами: был при этом ведь и сам король наш Сигизмунд с королевичем Владиславом, была принцесса шведская Анна, был папский нунций Рангони, и иностранные послы, и весь цвет придворной знати. Когда тут два сенатора подвели к алтарю невесту, все так и ахнули: Пречистая Дева Мария! Что за краса, что за величие! Все платье, представьте, из белой парчи, унизано сапфирами и жемчугом, вокруг плеч — газовое облако, на голове — алмазная корона, а из-под короны на спину вьются змеями две дивные косы, перевитые драгоценными камнями! И вдруг — рядом с этой, можно сказать, богиней становится какое-то чучело, косолапая обезьяна, с одутловатой рожей, с растерянным видом и в раззолоченной попоне!

— А кто венчал их?

— Венчал, разумеется, кардинал наш Мадеевский. Но перед тем были еще речи. Начал первым этот орангутанг Власьев...

— И говорил, я уверена, дельно?

— Гм... может быть, и дельно, да чересчур

уж сухо и просто. Зато когда после него стали говорить один за другим наши: Станислав Минский от имени пана воеводы, Лев Сапега от имени короля и, наконец, сам кардинал Мацеевский, — о! тут пошли такие цветы красноречия, такие похвалы жениху и невесте за их необычайную красоту, ум и всяческие добродетели...

— Так Власьев, значит, все-таки не уронил себя.

— Погодите, моя милая; отличился он потом не раз и не два. Как запели «Veni Creator», все опустились на колени: и невеста и сам король, а он, невежа, один остался стоять чурбаном на ногах!

— Простите, панья гофмейстерина, — позволила себе тут вставить свое замечание одна из молоденьких фрейлин, — осталась стоять и принцесса Анна.

— Ну да, ну да... как протестантка, она не исполняет наших обрядностей...

— А Власьев ведь тоже не католик? — вступилась за своего единове́рца Маруся.

— Но царь-то его католик, а он заступал царя!

— В чем же он еще, по-вашему, провинился?

— Да вот, когда им надо было обменяться кольцами, мы смотрим: что это он, чудака, делает? Достал шелковый платок и обматывает себе правую руку. Это, извольте видеть, для того, чтобы своей холопской лапой отнюдь не прикоснуться к ручке своей будущей государыни! Умора! А получив от нее кольцо, не надел его даже на палец, а вложил прямо в футляр для своего государя.

— Чем выказал только свое благоговение перед обоими, — заметила Маруся.

— Холоп и раб! За брачным столом он сперва ни за что не хотел сесть рядом с своей царицей, пока его насильно не усадили; когда же увидел, что она от душевного волнения ничего не ест, то сам тоже ничего не хотел брать в рот, кроме хлеба с солью.

— А поляк ел бы, конечно, за двоих? — сардонизировала, в свою очередь, Маруся.

Но панья Тарло показала вид, что не поняла иронии, и продолжала описывать брачный пир с бесконечными речами, тостами и восторженными одами лучших тогда поэтов

польских: Гроховского, Юрковского и Забчицы во славу новобрачных и вечной дружбы двух первых славянских наций.

— А после стола были, вероятно, и танцы? — спросила Маруся.

— Еще бы! Но все, конечно, одни национальные польские. Открыл бал сам король с нашей красавицей-царицей... Как жаль, право, что вы тогда ее не видели! Особенно потом в мазурке...

— Которую она танцевала с паном Осмольским? — досказала Маруся.

Гофмейстерина испуганно приложила палец к губам.

— Ч-ш-ш, ч-ш-ш! Нет, о, нет! С чего вы это взяли?

— Вы, пани гофмейстерина, верно не обратили внимания, как она перед мазуркой подзвала его веером к себе? — непрошенно вмешалась снова та же фрейлина. — А я стояла около и подхватила даже несколько слов из разговора.

— Как вам не стыдно! — укорила панья Тарло вострушку; однако, не устояла против собственного любопытства. — Ну, и о чем же

они говорили?

— Она требовала, чтобы он мазурку танцевал непременно с нею, а он наотрез отказался под предлогом, будто бы вытянул себе на ногу жилу...

— Вот глупый! И только?

— Нет; она топнула ножкой. «Ну, так мы протанцуем с вами еще на моей русской свадьбе в Москве!» И ведь настояла, как видите, на своем: теперь он тоже здесь при ней...

— Вы верно ослышались; что-нибудь да не так! — перебила гофмейстерина. — Весь вечер она танцевала потом с таким увлечением, до упаду...

— Потому что хотела забыться, — подхватила фрейлина. — Но когда надо было, наконец, проститься с королем, и она подошла под его благословение, то силы ее оставили: она упала к ногам его величества, обняла их и залилась горькими слезами.

— Прощалась навеки с своим обожаемым королем, с милой родиной, для варваров, так как же не плакать?

— Однако, варвары эти встретили ее, как жетя, очень радушно? — возразила Мару-

ся. — Выслали вперед ей даже денег на дорожку...

— Всего каких-то двести тысяч злотых!..

— А по-вашему этого еще мало? На самой границе ждали ее уже Михайло Нагой и князь Мосальский с почетной стражей...

— В которой, однако, не было никакой надобности, потому что у нее была своя собственная!

— В городах и селах к ней выходили жители с хлебом-солью...

— И попы с иконами! Мы с нею, слава Богу, не схизматички... Нет, переезд этот был ужасен! Эти дремучие литовские леса, непролазные болота... Раз ночью мы чуть было не потонули в таком болоте. Кругом мрак крошечный, хоть глаз выколи; в чаще где-то кричит филин, — ну, просто малый ребенок плачет: а тут завыли еще волки — один, другой, третий... Бррр! и теперь еще по спине бегают мурашки! А ночлеги в мужицких избах, тесных, грязных...

— Простите, пани гофмейстерина, — вступилась опять неугомонная фрейлина, — но для царицы и нас везде отводили самые чи-

стые дома. Раз только ведь, и то случайно во время грозы, когда вы так перепугались, царица, ради вас же, велела остановиться в одной бедной деревушке...

— Где не нашлось для нас даже ни яиц, ни молока! — с неудовольствием перебила несносную болтушку панья Тарло.

— А почему не нашлось? Вы не помните разве, чем извинялись перед нами бедные крестьяне?

— Чем?

— Да тем, что у них три года подряд был неурожай и на всю деревню осталось всего-навсего с десяток кур да одна корова; но наши же польские послы с своим конвоем перерезали и тех кур и ту единственную корову.

От такой легкомысленной откровенности ее подчиненной лицо гофмейстерины разгорелось, сквозь накладной румянец, благородным негодованием. Но в это самое время, на счастье фрейлины, к карете их подъехал муж гофмейстерины, пан Тарло. Приятно перегнувшись с седла к открытому оконцу кареты, он обратился к Марусе с небрежною вежливостью, значительно поводя своими огни-

сто-черными, как тлеющие уголья, глазами:

— Падам до ног наияснейшей княгини Курбской! Давно не имел счастья — с тех самых пор, в Жалосцах, у Вишневецких, изволите помнить?

— Когда я была еще купеческой дочкой, а муж мой простым гайдуком? — досказала Маруся, вся вспыхнув. — Как же, прекрасно помню; а также и то, как он из-за меня проучил одного ясновельможного нахала.

Теперь очередь побагроветь была за паном Тарло.

— Да, у почтеннейшего супруга вашего сила настоящего гайдука, даже мясника, отдаю ему полную честь! — отпарировал он ее удар с нескрываемою колкостью. — Будь у него только побольше рыцарского духа...

— Как у вас, не правда ли? Он, впрочем, теперь совсем поправился от болезни и опять к вашим услугам.

— Что, что такое, Эвзебий? — заволновалась панья Тарло. — Ты хочешь драться с князем Курбским?

— У нас с ним старые счета... — отвечал пан Эвзебий, но далеко не таким уже вызыва-

ющим тоном. — Я, впрочем, не злопамятен и, пожалуй, готов простить.

— Муж мой вовсе не нуждается в вашем прощении! — воскликнула Маруся, увлеченная своим гневом. — Если же я передам ему теперь эти ваши слова, то...

— Не сердитесь, пожалуйста, дорогая княгиня! — поспешила прервать ее панья Тарло. — Я отвечаю вам за Эвзебия! Он у меня смирен, как комнатная собачка...

— Однако, милая Бронислава! — запротестовал ее муж, — сравнивать польского рыцаря с собачкой...

— Но в золотом наморднике! — пояснила с важностью все та же фрейлина, переглядываясь со своей товаркой, и обе разом фыркнули.

Марусе при этом пояснении пришло на память, что пан Тарло, нуждавшийся всегда в деньгах, женился ведь на немолодой уже панне Брониславе Гижигинской единственно из-за денег, — и весь гнев ее испарился, как дым.

— Успокойтесь, пани гофмейстерина, — сказала она, сдерживая свою веселость. — Собачки в наморднике никто не тронет, сколько бы она ни лаяла.

Пан Тарло позеленел от злости, но, не решаясь вновь задирать, презрительно скорчил лишь губы, хлестнул коня и ускакал вперед.

Вслед за тем торжественный поезд вступил в Кремль, где был встречен таким громогласным салютом пятидесяти барабанщиков и пятидесяти трубачей, что панья Тарло зажала себе уши.

— Иезус, Мария! Да это не музыка, а какое-то мычанье коров! Но куда это, смотрите-ка, везут царицу? Вон и сам царь поджидает ее на крыльце. Неужто это царский дворец? Точно монастырь...

— Да, это Вознесенский монастырь, где живет царица-матушка, — отвечала Маруся. — Она, слышала я, приютит у себя молодую царицу до ее свадьбы по православному обряду.

— И мы должны будем жить с нею также в русском монастыре? Нет, это невозможно! Я не согласна!

В согласии паньи Тарло, впрочем, не было и надобности: для нее с ее фрейлинами были отведены уже особые покои в новом дворце; к невесте же царской в монастырь была допущена только прежняя ее любимая фрейлина

православного закона, любимица и царицы
Марфы, Маруся Курбская.

Глава двадцать вторая ЦАРИЦА РУССКАЯ ИЛИ ПОЛЬСКАЯ?

Пять дней уже Маруся жила в Вознесенском монастыре безотлучно при царской невесте Марине. Странное существо, право, была эта Марина! Когда будущая свекровь ее, царица Марфа, наотрез запретила патерам латынского закона вход к ней, будущей царице русской и точно так же самой ей не дозволила присутствовать, даже в Троицын день, при католическом богослужении в молельне, устроенной на квартире гофмейстерины, паньи Тарло, Марина рвала и метала, не принимая никаких резонов от царицы Марфы, так что между ними произошла серьезная размолвка. А между тем, к Марусе, русской и православной, она вспылала прежней дружбой; по целым часам могла она болтать с нею о Кракове и Самборе, и с видимым удовольствием рассказывала ей о своих недавних еще сумасбродных выходках. Особенно хохотала она при рассказе своем о том, как, одна-

жды, по окончании охоты, все участники сошли с коней, чтобы усесться за обеденный стол, накрытый под деревьями, а она, разогнав коня, перескочила через стол, так что все ахнули.

— Как тут не ахнешь! — сказала Маруся. — Хорошо еще, что государя-то не было при этом.

— Да! — глубоко вздохнула Марина. — От всего этого мне теперь, кажется, придется отказаться!

Такие порывы веселости, впрочем, нередко сменялись у нее периодами глухого раздражения. Очень неровно было поэтому и обращение ее со своим царственным женихом, который навещал ее в монастыре каждый день и старался угодить ей во всех ее желаниях и прихотях. Так, стоило ей только как-то заявить о том, что надо бы одарить «по-царски» ее родственников и преданных ей людей, как Димитрий преподнес ей шкатулку со всевозможными драгоценными вещами, общей стоимостью до пятисот тысяч рублей. Точно также, по одному ее намеку о неуплаченных в Польше довольно крупных долгах

ее родителя, пану воеводе тотчас было отпущено из казны сто тысяч золотых для отсылки кредиторам.

«Но прежде, чем успели увезти эту сумму (говорится совершенно откровенно в дневнике Марины), мы ее несколько облегчили».

После всякого такого «презента» Марина была с женихом пленительно любезна, даже нежна, но при следующем же его посещении делала ему самые капризные сцены.

Всего более досталось ему на другой же день по ее приезде за то, что польские послы Олесницкий и Гонсевский (прибывшие в Москву еще ранее Марины, чтобы поздравить Димитрия от имени короля Сигизмунда с благополучным воцарением) были приняты будто бы не с должным почетом.

— Да помилуй, сердце мое, — оправдывался Димитрий, — принял я их, как подобало, сидя на престоле, в царском венце и порфире, в присутствии патриарха и первых бояр...

— Однако, ты скоро снял венец?

— Да, я встал с престола и нарочно приказал патриарху снять с меня венец, потому что хотел сам указать этому Олесницкому на его

непростительный промах...

— Никогда не поверю, чтобы пан Олесницкий допустил себе промах!

— Суди сама: он в приветствии своем назвал меня просто «господарским величеством и князем всея России»[12]...

— Вероятно, по королевскому же приказу.

— Весьма даже вероятно, потому что и в грамоте короля я не был назван, как следовало, цесарским величеством.

— Ну, вот! А ты все-таки прочитал его грамоту?

— Не сейчас. Когда дьяк Власьев, приняв ее от Олесницкого, передал мне, и я увидел, что на ней нет моего цесарского титула, я велел возвратить ее послам...

— И еще с какою-нибудь угрозой?

— Не с угрозой, а с внушением, что «необычайное и неслыханное дело, чтобы монархи, восседая на престоле, спорили с послами; но что король польский, опуская наши титулы, вынуждает нас к тому. Королю Сигизмунду хорошо де известно, что мы не только царь, но и император в необозримых наших владениях, что нет нам равного ни на западе, ни на

востоке, не в пример древним царям ассирийским, индийским и императорам римским. Сам Господь Бог даровал нам сей титул, и из всех монархов один лишь король польский не признает его. Посему он не может быть нашим другом, и мы не принимаем его грамоты!»

— Но с твоей стороны, Димитрий, это была безумная дерзость! — возмутилась Марина. — Без нашего короля тебе, как своих ушей, не видать бы московского престола.

— Прости, милый друг, — возразил с достоинством Димитрий, — но Сигизмунд не наш король, да теперь и не твой: здесь, на Москве, один государь — Димитрий Иванович, Божию милостью царь и император!

— Ах, перестань, пожалуйста! Король Сигизмунд был и останется нашим вечным благодетелем, и без его покровительства нам и в будущем не обойтись.

— Обойдемся!

— Это ужасно, это ужасно! — повторяла Марина, ломая руки. — А пан Олесницкий еще такой гордый, вспыльчивый... Каково-то было ему, первому королевскому послу, это

слышать!

— Да, слова мои ему крепко, видно, не понравились. «Никто еще из христианских венценосцев, — сказал он, — не оскорблял еще так его королевское величество! Вижу, — говорил он, — что царь московский забыл милости моего государя и преданность народа польского. Прошу не медля отпустить меня: спорить долее я не намерен».

— Ну, вот! Ну, вот! — продолжала волноваться Марина. — Что ты наделал своим безграничным высокомерием!

— Ничего я, друг мой, не наделал. Показав господам полякам, что с московским царем надо считаться, я переменял тон и пригласил Олесницкого к моему столу — пригласил уже не как посла, а как своего старинного приятеля, с которым мы еще в Польше делили хлеб-соль.

— А он что же? Так сейчас и принял приглашение?

— Нет, он поблагодарил. «Как ни лестно мне, — сказал он, — видеть благосклонность вашего величества, но пока я еще не в праве оставить звание, возложенное на меня моим

королем. В Польше я оказал услугу вам, как царевичу московскому; здесь я также готов служить вам, как царю; но да будет мне дозволено исполнить в точности волю моего государя».

— Узнаю Олесницкого! — воскликнула Марина. — Вот истинный сын Речи Посполитой! Как же ты, наконец, вывернулся?

— Я отвечал, что «ради всеобщей ныне радости и в угождение дорогим гостям-полякам, приехавшим на мою свадьбу, так и быть, предаю забвению допущенное королем их упущение. Но... но должен предупредить, что вперед останусь тверд, ни под каким уже видом не приму грамоты с неполным титулом и не отвечаю за те последствия, которые могут быть от нового неуважения к цесарскому званию московского царя». Не забудь ведь, моя милая, что, унижая меня, унижают одинаково и тебя, царицу!

Последнее соображение видимо пришлось по душе властолюбивой дочери Сендомирского воеводы.

— Так-то так... — согласилась она точно нехотя. — Ну, и что ж, после этого ты взял уже

от послов королевскую грамоту?

— Взял, подал обоим им руку; и затем мы наговорили друг другу разных любезностей; какие говорятся обыкновенно при таких приемах.

— Вот это хорошо. Но в будущем, дорогой мой, сделай милость, будь благоразумней, осторожней. Как бы там ни было, ты сын нашей святой римской церкви, а стало быть, тоже как бы поляк.

— Родом я русский... — начал было Димитрий, но заклятая полячка не дала ему закончить:

— А духом все же поляк! Не прими ты нашего закона, неужели ты думаешь, я вышла бы за тебя? Еще в январе этого года я писала святейшему отцу[13] в Рим, что когда святые ангелы приведут меня в Москву, я не буду думать ни о чем ином, как о единении церквей, и жду только его повелений. После этого как же мне не остаться верною дочерью католической Польши? Поэтому же я и на нашей русской свадьбе, как всегда, буду в моей национальной одежде.

— Ну, это мы еще увидим.

— Увидишь!

— Но согласись, милый друг, что, как царица русская...

Она опять не дала ему договорить.

— Не соглашусь, не соглашусь и не соглашусь! Не раздражай меня, сделай милость! Здесь, в стенах русского монастыря, под постоянным надзором твоей матушки, я просто задыхаюсь!

— А между тем моя матушка желает тебе одного только добра. Сама она ведь была раз царицей и лучше всякого другого знает, что тебе можно и чего нельзя. По ее же указаниям, для тебя уже сшито несколько русских нарядов по мерке твоих польских платьев. На всякий случай, однако ж, тебе не мешало бы их примерить.

— И слышать теперь не могу! Довольно! Оставь меня...

— Но повторяю тебе, мой ангел...

— И я тебе повторяю: «довольно!» Ты видишь, я сама не своя.

От нервного возбуждения она при этом так злобно засверкала своими чудными глазами, заскрежетала своими великолепными белы-

ми, как слоновая кость, зубами, что Димитрию ничего не оставалось, как вооружиться до времени терпением и отретироваться.

Русские наряды, один другого пышнее, были, действительно доставлены в тот же день; но она на них и не взглянула, как ни настаивала царица Марфа, как ни упрашивала Маруся. Явились к ней на другое утро парламентарями родитель-воевода и исповедник-иезуит, но точно так же ничего не достигли.

Такое ненормальное состояние продолжалось целых пять дней. Настала ночь, но Мариана не ложилась: ведь уже завтра, 8-го мая, она будет коронована, станет царицей, но не русской, о нет! А теперь она покинет эти ненавистные монастырские стены.

Во втором часу ночи, когда вся Москва покоилась мирным сном, она, вместе с Марусей, села в присланную из дворца колымагу, которую сопровождал только почетный конвой из боярских детей и немецких алебардчиков при свете двухсот восковых свечей.

— Точно меня уже хоронят! — с горечью заметила она Марусе. — Но, погодите, голубчики, скоро я воскресну! Да как!

По утру, однако, едва лишь она окончила свой туалет, к ней ворвалась впопыхах гофмейстерина.

— Ваше величество!.. Это неслыханно... это возмутительно...

— В чем дело? — с величественною строгостью обернулась к ней Марина. — Вы забываете, что вы уже не при дворе какого-то воеводы, а при царском дворе, и что к царице не влетают этак без доклада!

— Простите великодушно, государыня... — извинилась панья Тарло задыхающимся еще голосом. — Но боярская дума требует, чтобы сегодня к венцу вы все-таки явились в русском наряде.

Марина презрительно повела плечом.

— Да что мне ваша боярская дума! Вчера еще я повторила пану воеводе, что русского наряда никогда в жизни не надену — и не надену!

— Да ведь и сам пан воевода, и патеры наши, и оба посла — все, все твердили боярам то же; но те подняли, говорят, такой гвалт, что его царское величество успокоил их только уверением, что вы будете одеты по-русски.

Гордую полячку окончательно взорвало.

— Он посмел обещать им это от моего имени, даже не спросивши? — вскричала она внезапно зазвеневшим голосом. — Сейчас же ступайте, позовите его ко мне!

И, вся пылая негодованием, она вышла в свою гостиную. Не прошло и десяти минут, как Димитрий последовал зову. Первые запальчивые нападки со стороны невесты он вынес с замечательным хладнокровием, очевидно, он дал себе слово выдержать на этот раз характер до конца, но в то же время не давать ни малейшего повода к дальнейшим раздорам.

— Ну, что же ты все молчишь? — прервала она вдруг сама поток своего красноречия, сердито озираясь кругом, на какой бы вещи сорвать свое сердце. — Отчего не возражаешь? Разве я не права?

— Права, мой ангел, тысячу раз права, — отвечал он с тем же ласковым спокойствием и не возвышая тона. — Ты говоришь красно и умно, как печатная книга. Но всякая медаль имеет две стороны...

— А! Ты все же, значит, не принимаешь

моих резонов?

— С твоей точки зрения я их отлично понимаю. Но с точки зрения русских...

— Да я ее и знать не хочу!

— Напрасно: тебе, русской царице, мнения их нельзя не знать. Имей терпение выслушать меня.

— Ну, говори.

— Я сравнивал сейчас твои резоны с печатной книгой; но и умнейшая книга остается только книгой, то есть мудрствованием человеческого ума. А жизнь народная слагается из самых немудреных и, в то же время, противоречивых элементов, тем более жизнь такого народа, как наш русский, грубый, неразвитый, со старинными его поверьями и обычаями, с ребяческим суеверием и бабьими предрассудками. Так как же, скажи, к этой неразумной жизни прилагать мерку разумной книги? Крутой перелом в вековых порядках не может не возбудить всеобщего ропота. Любовь же народная — сила царей. До сего времени русские царицы носили только народное русское платье...

— А я, как сказала уж, не хочу его носить!

— И не носи. Не омрачай только своему народу сегодняшнего-то дня, когда ты в первый раз покажешься ему царицей.

— Я давно уже царица: с того самого дня, что кардинал Мацеевский заочно повенчал нас с тобой, потому что его святейшество, папа римский, потом благословил наш брак; теперь же повторится лишь церковная церемония по православному обряду.

— Но для русского народа один этот обряд — законный и делает тебя настоящей царицей.

— Да что скажут наши патеры...

— И они, как отец твой и послы, убедись, что тебе надо венчаться в русском платье.

— Ах, Боже, Боже ты мой! Все вы, мужчины, не понимаете одного...

— Что живописный польский костюм тебе чрезвычайно идет?

— А то нет?

— И спору не может и быть: ты в нем боже-ственна.

— Так стало быть...

— Но и русский праздничный наряд уди-

вительно к лицу всякой молодой красивой женщине...

— Русской!

— Да ты, благородная полячка и первая красавица в целой Европе, будешь в нем так несравненно хороша, что все наши боярыни от зависти лопнут.

Последний аргумент сломил, наконец, упорство несговорчивой полячки. Она приятно просветлела и усмехнулась.

— На здоровье! Но с завтрашнего дня я снова могу одеваться по-польски?

— Можешь, можешь, об этом и говорить нечего. Но теперь, мой друг, сделай милость, изготвься поскорее к венцу.

Таким-то образом Марина явилась «своему» народу в русском наряде, только голова ее была убрана по-польски: волосы были зтейливо переплетены золотом, жемчугом и драгоценными каменьями наподобие небольшой диадемы. И с какою величавостью носила она эту польскую диадему! С какою неподражаемой грацией выступала в сравнении с сопровождавшими ее к брачному обряду двумя русскими боярынями — княгинями Мсти-

славской и Шуйской!

— Такой красавицы-царицы у нас, ей-ей, доселе еще и не видано! — перешептывались между собой русские обоюго пола, присутствовавшие в Успенском соборе при короновании молодой царицы и венчании ее с царем.

Но и тут молодая царская чета подала повод к справедливым пересудам.

«После бракосочетания (говорится в записках очевидца, архиепископа Арсения) оба не выказали желанья приобщиться Св. Тайн. Это чрезвычайно опечалило не только патриарха и епископов, но и всех тех, кто это видел и слышал. Таково было первое и великое огорчение; такова была причина соблазна и источников многочисленных бедствий, постигших русский народ и всю Россию».

Не менее, пожалуй, осуждали православные люди и то, что вечером следующего же, Николина дня, в царском дворце был великий пляс, да не русский, а бешеный польский, причем первыми заводчиками этого беснования были родной брат молодой царицы, Станислав Мнишек, и зять ее, князь Константин Вишневецкий. Сама же Марина была уже не

в русском наряде, а в родном своем польском. Но зато в нем она, действительно, казалась еще краше! «Царица польская» торжествовала.

Глава двадцать третья КАК КУРБСКИЙ УЗНАЛ О НОВОМ ЗАМЫСЛЕ ШУЙСКОГО И ЧТО ИЗ ТОГО ДЛЯ НЕГО САМОГО ВЫШЛО

За все это время Курбский, живший по-прежнему у Биркиных, ни разу не виделся с своей молодой женой. Пока она пребывала вместе с царской невестой в Вознесенском монастыре у царицы Марфы, его туда, как в женскую обитель, естественно, не допускали; молодым супругам не хотели сперва дозволить даже обмениваться записками. С переселением же Марины, а с нею и Маруси во дворец, Курбский, не получивший даже приглашения на бракосочетание царя, только на другой день после того решился навеститься во дворец. Здесь, в приемной царицы Марины, он застал бессменного ее адъютанта, пана Осмольского. Тот принял его со всегдашней своей учтивостью и охотно взялся доложить государыне о желании Курбского повидаться с женою. Но возвратился он с неутешитель-

ным ответом: по случаю предстоявших в этот день брачного пира и парадного бала, ее величеству ни на минуту нельзя будет обойтись без своей подруги.

Между тем, вечером этого же дня, казачок Курбского, Петрусь, влетел к нему в комнату со словами:

— Ну, княже, спасай свою княгиню! Курбский, понятно, страшно переполошился.

— Да что с нею?

— Покамест-то ничего. Но не нынче-завтра может совсем плохо прийти.

— От кого? Не от царицы же Марины?

— Ай, нет! Но из-за нее же. Больше, не погневишь, ничего не могу тебе сказать.

— Так, значит, против самой царицы есть заговор! — догадался Курбский.

— Не спрашивай, милый княже. Я все равно не скажу.

— Клятву, что ли, дал молчать?

— Ну да, клятву; это-то, пожалуй, можно тебе еще знать.

— Но все-таки на слово тебе этак мне трудно поверить.

— Верь! Верь! Своими ушами слышал.

— Ты подслушивал?

— Хоть бы и так...

— Но, может, ты ослышался, не верно понял.

— Как уж не понять! Прямо-таки и говорилось...

— Что хотят покушаться на жизнь царицы? Но в таком случае ты должен сейчас же все открыть, назвать всех...

— Ах, Господи! — вскричал в отчаянье казачок. — Да я целовал ведь крест на том, что никого не назову, а сам ты, княже, мне не раз говорил, что нарушать клятву — великий грех.

— Ну, хорошо, не называй имен, но сказать то все-таки можешь, чрез кого попал к заговорщикам. Не через слугу ли тоже, такого же парубка из хохлов?

— От тебя, княже, право, ничего не скроешь! — воскликнул смущенный Петрусь. — Тот боярин, у кого в доме то было, привез его, вишь, с собой в Москву с похода...

— Но ты мне про своего нового приятеля до сего времени ничего не сказывал?

— Не сказывал, потому что ознакоми-

лись-то мы с ним только вчерашний день.

— Не тогда ли, когда ты отпросился у меня в Кремль — поглядеть на царский выход из Успенского собора?

— Как раз. Как сняли тут все свои шапки, глядь, у одного малого лоб выбрит тоже похощацки. Ну, а свой своему поневоле брат. Я — к нему; разговорились. Стал он тут бахвалиться передо мной хоромами своего боярина, да расписал такие чудеса, что меня сумление взяло.

— Коли не веришь, — говорит, — так зайди хоть нарочно: весь терем его тебе сверху до низу покажу.

— Так вот боярин твой, — говорю, — и дозволит нам расхаживать по своему терему!

— Вестимо, — говорит, — без него. Примерно завтра они с боярыней званы во дворец на вечерний пляс. Заходи вечерком...

— И ты зашел, не спросясь даже у меня?

— Да ведь ты, княже, меня в дом к ним, пожалуй, и не пустил бы...

— А! Так боярин этот из моих недоброжелателей? Уж не князь ли Татев?

— Ой, нет, нет! К этому людоеду я и сам бы

не сунулся. Так вот, прихожу я туда, обошли мы этак три-четыре палаты, осмотрели всякую штуку, как вдруг под окнами грохот. Что такое? Ан подкатила колымага, господа вернулись уже из дворца. Забегали тут люди по дому, заметались туда-сюда.

— Тише вы, не шуметь! — гаркнул боярин. — Зажечь огни в светлице! Сейчас будут ко мне бояре на большой совет, только с заднего крыльца...

«Гай, гай! — думаю себе. — Во дворце веселие и пляс, а они, вишь, собираются тут на большой совет, да крадучись с заднего крыльца. Знать, неспроста!»

— А тебя-таки не заметили? — прервал рассказчика Курбский.

— Нет, мы с приятелем притулились за дверью, а как прошел далее боярин, мы шмыг в темный переход.

— Ну, братику мий, — говорит приятель, — теперычка утекай до дому.

— Утечешь! — говорю. — Ведь с заднего-то крыльца, слышал, сейчас гости будут?

— Ось казусное дело! Куда же мне скрыть тебя?

— А в какой ни на есть чуланчик, — говорю. — Верно, найдется?

— Как не найтись...

— Так что же?

— То-то вот, — говорит, — что чуланчик мой как раз около светлицы нашего боярина, где будет сейчас большой совет, а ты, не дай Бог, чихнешь...

— С чего мне чихать-то?

— С пыли: больно там уж пыльно...

— Не чихну! — говорю, — заспокойся. А мне, братику, куда занятно бы послушать, о чем этакие умные люди промеж себя речь ведут! Кабы только еще в щелочку одним глазком взглянуть: николи ведь вблизи царских вельмож еще не видел...

— Аль показать? — говорит, а сам смеется. — Ведь у меня из чуланчика туда для себя дырочка просверлена!

— Ну, хитер же ты! — говорю. — Покажи. Во век не забуду!

А он и рад. Провел меня в свой чуланчик; в окошечко его самодельное из светлицы уже свет к нам брезжит: зажгли, значит, огни. Глядь, поодиночке собираются и гости. Хозяин

всякого встречает с поклоном, всякого по имени и изотчеству величает...

— Так что ты всех их мог бы, пожалуй, назвать поименно? — спросил Курбский.

— Мог бы, княже, но, прости, и тебе не назову.

— Ну, и что же дальше?

— Ну, вот, как собрались, хозяин и говорит им, что, так и так, мол, созвал он их нарочно в столь позднюю пору прямо-таки из дворца, чтобы тем часом, что поляки там веселятся, потолковать келейно. Да чего я тут слышался — крий, Мати Божа!

— А говорил больше все хозяин?

— Все он один; те только, знай, поддакивали. Каждое слово его словно ножом врезалось мне в память. Начал он с того, что польские требуют теперича для своего короля Сигизмунда не токмо уже Северскую землю и Смоленск, но и Новгород Великий, Псков, Луки, Торопец, Вязьму, Дорогобуж и иные прочие русские города; что были те города некогда будто бы литовскими, а Литва-де искони была польская.

Тут все бояре как завопят в один голос:

— Лгут они, вражьи дети! И Литва-то сама не польская. Да этак скоро пол-Руси у нас отберут!

— И отберут, — говорит хозяин, — коли мы дадим им, окаянным, еще царить над нами. Нонече ведь еще, — говорит, — когда дьяк Грамотин позвал королевских послов на царскую хлеб-соль — те спрашивают первым делом, посадит ли государь их за один с собой стол. Когда же дьяк им в ответ, что у нас, русских, никому-де не положено сидеть за одним столом с царем, кроме царицы, они уперлись: «А мы имеем, мол, повеление от его королевского величества требовать себе место за царским столом; буде же нам в том откажут, то не шли бы вовсе на брачный пир». Спасибо еще пану воеводе, что вступился в дело: сошлись хошь на том, чтобы старшему послу, Олесницкому, сидеть по правую руку от царя за отдельным столом, а второму послу, Гонсевскому — за общим столом с нами, боярами, но все же ведь на первом месте! А музыка за столом какая была? Все польская! А на чье здоровье заставили пить нас? На здоровье «друга нашего» короля польского, по-

том «великих» послов, потом и прочих «дорогих» гостей-поляков! И те первые же хором орали по-своему: «Виват!» А к концу стола все перепились заморскими винами, да во хмелю принялись поносить наши стародавние обычаи, нашу святую церковь такими словами, что святых вон выноси. А мы молчи, покуда самих нас, всю Русь православную, не перерядят в польские жупаны, не перекрестят в латынскую веру! И сам народ наш это уже чувствует. «Статочное ли дело, — говорит народ, — чтобы русская царица была еретичкой? Не срам ли для русского боярства, что царь пренебрег всеми московскими боярышнями и взял себе жену из поганой Польши? И в угоду ей и ее родичам на царской кухне все кушанья готовятся на польский лад, жарят и варят телятину[14], ажно поваров омерзение берет, и разносят они об этом молву по всему городу. Каждое утро в монастыре у царицы Марфы, а теперича и во дворце топили баню для царицы-полячки, а она хошь бы раз-то помылась! Сам государь хошь и ходит в церковь, да с целой оравой проклятых ляхов, а те водят туда с собой собак и оскверняют тем святыню. Цер-

ковные дома уже отняли у многих наших пастырей и отдали еретикам. Скоро, поди, и храмы Божии отдадут им!» — Вот что говорит наш простой народ. А не ведает он еще того, что и сам-то государь перешел уже в латынство...

Как только вымолвил это хозяин, все бояре разом загорланили:

— Да быть того не может!

— Слышать-то и мы уже кое-что слышали...

— Иначе разве выдал бы он нас врагам нашим головою?

— Да подлинный ли он еще сын Грозного царя?

— Слово сказано, — говорит тут хозяин, — будь он настоящего царского рода, стал ли бы он губить свою родную православную Русь? А значит, он обманщик, самозванец! И мы, бояре, терпим на престоле такого проходимца? Кому, как не нам, отечество блюсти, быть щитом своего народа от иноплеменных? Их здесь в Москве всего на все тысяч пять; нас, русских — сотни тысяч. Только ударить в набат...

На этом месте своего оживленного рассказа казачок умолк, чтобы глубоко перевести дух.

— Ну? — заторопил Курбский, которого охватывало также все большее волнение.

— Дальше я уже не стал слушать: надо было улепетывать подобру-поздорову. Вывел меня приятель опять тихонечко из своего чуланчика, да разными переходами выбрались мы этак на заднее крыльцо.

— Ну, спасибо, — говорю, — наслышался, чего никак уже не думал, не гадал!

А он меня за рукав.

— Постой, друже, — говорит, — есть на тебе ведь нательный крест?

— Как, — говорю, — не быть.

— Так вынь-ка его.

— Зачем?

— Вынь! — говорит. — Иначе ведь не отпущу. Вынул я крест, а он:

— Целуй мне его на том, что ни меня, ни боярина моего не выдашь.

Я было туда-сюда, отлынивать, а он все свое:

— Слухай, чоловиче: дружба дружбой, а

своя шкура все же чужой дорожке. Ведь я тебя, коли на то пошло, не пожалею; крикну, так тебя сей же час схватят.

Этакий ведь Иуда! Что с ним поделаешь? Хошь не хошь, пришлось целовать крест...

— Но я этого так не оставлю, — объявил Курбский. — Поддай-ка мне ферязь и шапку.

Петрусь оторопел.

— Да ты куда, княже? Не во дворец же к царю?

— К самому царю — упредить теперь же, пока он еще не ложился.

— Помилосердствуй, милый княже! Ведь я же клялся...

— Ни про тебя, ни про твоего приятеля не будет говорено ни, слова; но про заговор бояр мне умолчать нельзя, нельзя! Кто убрался из дворца вместе с Шуйским — те, значит, с ним и заодно.

— С Шуйским? Да разве я Шуйского тебе поминал? И мало ли Шуйских...

— Шуйский главарь один — князь Василий Иванович: дважды он уже злоумышлял против государя...

— Нет, нет, не он, право, не он! — старался

уверить мальчик, но дрожащий голос и смертельный испуг, написанный на лице его, говорили противное. — Ты его, Бога ради, не называй...

— Хорошо, хорошо, и его не назову. Без того, авось, догадаются. Так где же ферязь?

Полчаса спустя Курбский был уже во дворце. Танцы, оказалось, кончились; большинство гостей разъехалось по домам; но Басманов, тесть государев Мнишек и некоторые другие из поляков оставались еще при государе. Говорить в присутствии врагов об измене русских бояр Курбский постеснялся, а потому велел вызвать к себе в приемную одного Басманова: этот новый любимец Димитрия, без всякого сомнения, оставался ему непоколебимо верен.

— Доброго вечера, князь, — были первые слова входящего Басманова. — Привело тебя сюда в столь поздний час верно что-нибудь совсем безотложное?

— Да, боярин. Думал я было сперва побеспокоить самого государя...

— Теперь он тебя все равно бы не принял. Эти господа поляки надумали устроить на

дней для молодой царицы рыцарские игры — турнир...

— Мое дело, боярин, куда важнее этих игр...

Понизив голос, чтобы бывший в приемной караул не расслышал, Курбский рассказал о новом заговоре бояр и передал, по возможности, дословно то, что говорилось на их тайном совещании. Басманов ни разу его не прервал и нервно только покусывал усы.

— Ты сам был также при этом? — спросил он, когда Курбский кончил.

— Нет, но за верность всего рассказанного ручаюсь.

— Ручаешься? Значит, слышал от совершенно верного человека?

— Да.

— Кто же он?

— А уж этого, прости, не скажу. Я дал обещание никого не называть.

— Даже зачинщика заговора?

— Даже его.

— Этакая ведь досада!.. — пробормотал Басманов. — Сам я в тебе, князь, уверен; но не все тебе поверят на слово. Им подай все, как на

ладони, назови всякого...

— Этого они от меня не дождутся!

— Доброй волей, да. Но они могут вырвать у тебя признание силой.

— Пристрастным допросом? Если у них поднимется рука на невинного, то у меня достанет духу вынести всякие муки!

— А может быть, и смерть? Но каково-то это будет для твоей молодой вдовы.

При упоминании самого дорогого ему в мире существа Курбский изменился в лице, но решимость его осталась та же.

— Она перенесет это испытание Божие, — сказал он, — как переносила не раз и прежде.

— Это твое последнее слово?

— Последнее. Басманов пожал плечами.

— Боюсь я за тебя, князь, крепко боюсь! Не пеняй же на меня.

С этими словами он удалился. Недолго погодя дверь из внутренних палат снова растворилась, но вошел уже не Басманов, а старший адъютант Сен-домирского воеводы, пан Тарло. При виде Курбского, на губах его давнишнего недруга заиграла зловещая улыбка.

— По царскому повелению, ясновельмож-

ный князь, я вас арестую, — объявил он; затем, обратись к начальнику дежурной немецкой команды, потребовал, от имени государя, эскорт в пять человек.

Выйдя из дворца, они повернули в сторону тайного сыскного приказа.

— Вы сдадите меня князю Татеву? — спросил Курбский.

— С удовольствием сейчас сдал бы, — отвечал пан Тарло. — Но его милость, к сожалению, изволит уже почивать, а потому вам придется потерпеть до утра.

Несколько шагов они прошли молча. Нарушил молчание опять Курбский:

— Вы позволите мне, пане, еще вопрос? Басманов во всей подробности докладывал обо мне государю?

— Во всей подробности? Зачем! Государю было не до вас.

— И, не зная дела, он велел отправить меня в застенок?

— Как вам сказать?.. Как только Басманов начал про заговор, его величество перебил его: «Опять ты, Петя, с этими пустяками! Какие там заговоры?» — Тогда пан воевода от-

вел в сторону Басманова, порасспросил его хорошенько, а потом уже спросил у государя разрешение сдать доносчика в руки князя Татова.

— И государь разрешил?

— Как видите.

— Так имени доносчика ему даже не сказали?

— Вашего имени? Для чего! А вот и ваше новое местожительство. Доброй ночи и приятных снов.

Тем временем оставшийся дома казачок Курбского с понятным беспокойством ожидал его возвращения. Напрасно прождав целую ночь, он понял, что с господином его приключилось что-то неладное. К беспокойству у него прибавились теперь еще угрызения совести: не он ли, Петрусь, разболтав о заговоре, всему причинен?

И скрыв даже от Биркиных отсутствие Курбского, чтобы избежать неудобных расспросов, он с утра же отправился на разведку.

«Кому лучше знать про все, как не этому приспешнику Басманова, Бутурлину? — рассуждал он сам с собою. — Так вот первым де-

лом его и разыщем».

Но, не дойдя до дворца, где он хотел справиться о Бутурлине, Петрусь столкнулся лицом к лицу с Эразмом Бенским, бывшим некогда младшим лекарем Бориса Годунова, лечившим (как припомнят читатели) и Курбского.

— А, пане дохтур! — обрадовался мальчик. — Сам Бог послал мне тебя! Не видал ли ты с вечера моего господина?

Озабоченные уже черты Бенского еще более омрачились.⁶⁰¹

— Твоего господина? — вполголоса повторил он и с опаской огляделся кругом.

— Ну да, князя Курбского.

— Т-с-с! Ступай за мной.

Они вышли опять из Кремля; тут только Петрусь решился возобновить свой вопрос.

— Видеть-то его я видел, — со вздохом отвечал Бенский, — и еще не раз увижу, но рад бы не видеть!

— Да что с ним, мосьпане?

— Молнией егохватило...

— Молнией! Быть не может: и грозы-то никакой не было.

— На иных высотах, милый мой, грозы бывают и при ясном небе. «Procula Jove — procula a fulmine», — говорили еще римляне, — «близко к Юпитеру — близко и к молнии». И надо ж было ему соваться туда!

— Куда?

— Да к Юпитеру. А тот сгоряча хватил его молнией.

— Прости, добродию, но я что-то в толк не возьму...

— Попросту сказать: сдал его палачам в застенок.

— Батечку мий! И что же, там-то его ты и видел?

— Там и видел.

— Так неужели ты тоже один из его мучителей? Краска негодования поднялась в щеки молодого врача. Но он сдержал себя и ответил с сознанием собственного достоинства:

— Разве я похож на палача? Нет, я лечу пытаемых, а кого не вылечить, тому, как умею, облегчаю муки.

— Но ты состоял прежде придворным доктором...

— При царе Борисе, точно. Ну, а у нового

царя свои люди...

— И ты пошел на службу в сыскной приказ!

— Служба, правда, не почетная; но пользы там от меня ближним куда больше.

— Ох, горечко мое! Кабы мне добраться только до Басманова...

— Аты думаешь, что Басманов тут ни при чем? Скажу уж тебе, так и быть, что господин твой говорил с одним лишь Басмановым, и вот до палачовых рук дошел! Ну, будь здоров и молись Богу: если кто может еще ему помочь, так один Бог!

Бенский скрылся уже из виду, а казачок наш все стоял еще там на том же месте. Вдруг слезы хлынули у него из глаз, и он принялся с ожесточением колотить себя по голове кулаками, приговаривая:

— Вот тебе, негодивец! Вот тебе!

Прохожие с недоумением оглядывали «негодивца» и обходили кругом; один же, должно быть веселый парень, спросил «не пособить ли?» и дал ему от себя такого подзатыльника, что мальчик едва удержался на ногах. Но подзатыльник привел его опять в

себя.

«Лихой запорожец — и слезы роняешь!» — вспомнились ему слова Курбского, и, отерев глаза, он разом перестал плакать.

«Коли кто может еще выручить князя, так княгинюшка! — сказал он себе. — Степана Маркыча, родного дядю, к ней верно допустят».

Степана Марковича он застал в его лавке в Китай-городе. Но, услышав от мальчика, что Курбский угодил в застенок, осторожный коммерсант отнесся к заключению несчастного со своей коммерческой точки зрения:

— И дернуло же его, торопыгу, вылезать из своей берлоги — из Марусина! Коли пойдет в огласку, так и нас с братом, чего доброго, притянут еще к ответу... А там долго ли нас в разор разорить...

— Но княгиня-то Марья Гордеевна тебе, я чай, племянница родная, — убеждал Петрусь. — И ей из-за мужа, пожалуй, тоже недобровать.

— В царских-то чертогах, под крылышком самой царицы? Что ей там делается? А нашего брата, серого человека, живо тоже в яму

упрячут; да как ноги-руки на пытке вывертят, так новых себе, небось, не купишь!

— Эх, Степан Маркыч, Степан Маркыч! — укорил бессердечного себялюбца возмущенный Петрусь. — Покорыстоваться нечем, так и близких не пожалеешь! Деревянная твоя душа!

Тут и сам Степан Маркович не выдержал, вышел из себя:

— Ах ты, рвань поросычья! Мне, мне такие речи! Вот погоди, вернусь домой, таковских велю тебе засыпать, что до новых веников не забудешь!

«А ведь, чего доброго, его на это станет, управы же на него ни от кого мне уже нету», — сообразил сметливый казачок.

И, скрепя сердце, он с виноватым видом попросил его не гневаться через меру за «неподобные» речи.

— Сгоряча ведь молвилось, Степан Маркыч...

— То-то вот сгоряча! Не след бы мне с тобой, малолетним, и бобы разводить. Ну, да Бог тебя простит.

— А все ж таки, Степан Маркыч, как от те-

бя мне никакой помощи не ждать уже для моего князя, так я пойду-ка еще, сам попытаюсь...

— Ступай, миленький, попробуйся; по крайности, без дальних хлопот вместе с своим князем в рай попадешь. А хочешь еще малость с нами, грешными, на белом свете помыкаться, так сиди себе под кустом, позакрывшись листом, не гукни!

И послушался Петрусь мудрости житейской практика-купчины, до времени «не гукать».

Таким-то образом Маруся во дворце оставалась в полном неведении относительно участи, постигшей ее мужа. Хотя она раз и другой писала к нему, но, по тайному распоряжению пана воеводы, письма ее не отправлялись по назначению. Не получая ответа, Маруся тревожилась все более и более. Сердце ее безотчетно ныло, как бы в предчувствии страшной беды. Но когда она как-то заикнулась об этом молодой царице, та подняла ее на смех, что и несколько-то дней она не может обойтись без своего «грозного повелителя», который, напротив, кажется, прекрасно

обходится без своей «смиренной рабы». И Марусе, против собственного желания, приходилось участвовать во всех придворных развлечениях, устраивавшихся в честь польского посольства. Закончиться эти непрерывные празднества должны были в воскресенье, 18-го мая: днем предстоял настоящий рыцарский турнир, на котором польские рыцари, на удивление москвичам, должны были ломать копья, а вечером — маскарад, на котором и царь и царица должны были, наравне с придворными, появиться в масках и в фантастических костюмах. Ни турниру, однако, ни маскараду уже не было суждено состояться...

Глава двадцать четвертая

ДРАМА 17-ГО МАЯ 1606 ГОДА

Не имея теперь в доме Биркиных никаких определенных обязанностей, Петрусь нигде не находил себе покою; ночью же, когда все прочие домочадцы спали сном праведных, он один по часам ворочался на своем, набитом сеном, мешке, тяжело вздыхая и отмахиваясь от несносных комаров, влетавших к нему из хозяйского сада в открытое, по случаю майской теплыни, окошко.

Но вот, под утро на субботу, 17-го мая, когда бедный мальчик едва только забылся чутким сном, в каморку к нему ворвался снаружи такой могучий перезвон всех московских колоколов, что он тотчас пробудился и сорвался с постели.

«Набат! Уж не дело ли это заговорщиков?» — было первою его мыслью.

А тут через забор с улицы донеслись еще звуки быстрых шагов, оживленные голоса:

— В Кремль, в Кремль! Смерть полякам.

«Так и есть! Вот и спасение моему князю...»

И Петрусь уже одет и выскакивает на улицу, чтобы примкнуть к одной из бегущих групп, все почти одного простонародья: рабочих, мужиков да бездомной голытьбы, так называемой «голи кабацкой».

Лучи только что восходящего солнца ярко озаряют кудрявые верхушки деревьев за заборами и краснеющие меж свежей зелени крыши, безоблачное небо так и синее, утреннею свежестью дышится так легко, и все эти люди шагают так бодро, обгоняя друг друга, точно торопятся на какой-то народный праздник. Но почти все они вооружены — кто дубиной, кто железным ломом, кто топором, а кто и самопалом; все говорят меж собой ни о чем ином, как о поляках, которые хотят-де православные храмы обратить в польские костелы, а народ силой перевести в свою поганую веру.

— Ну, а с немчурой этой как же? — спрашивает один. — С ними тоже зараз уж расправиться?

— Что ты, братец! — говорит другой. — Немцы служили царям нашим всегда верой и правдой; так ни их самих, ни домов их не ве-

лено, трогать, ни-ни!

— Да дома-то, чай, один как другой; как распознаешь: где немцы стоят, где поляки?

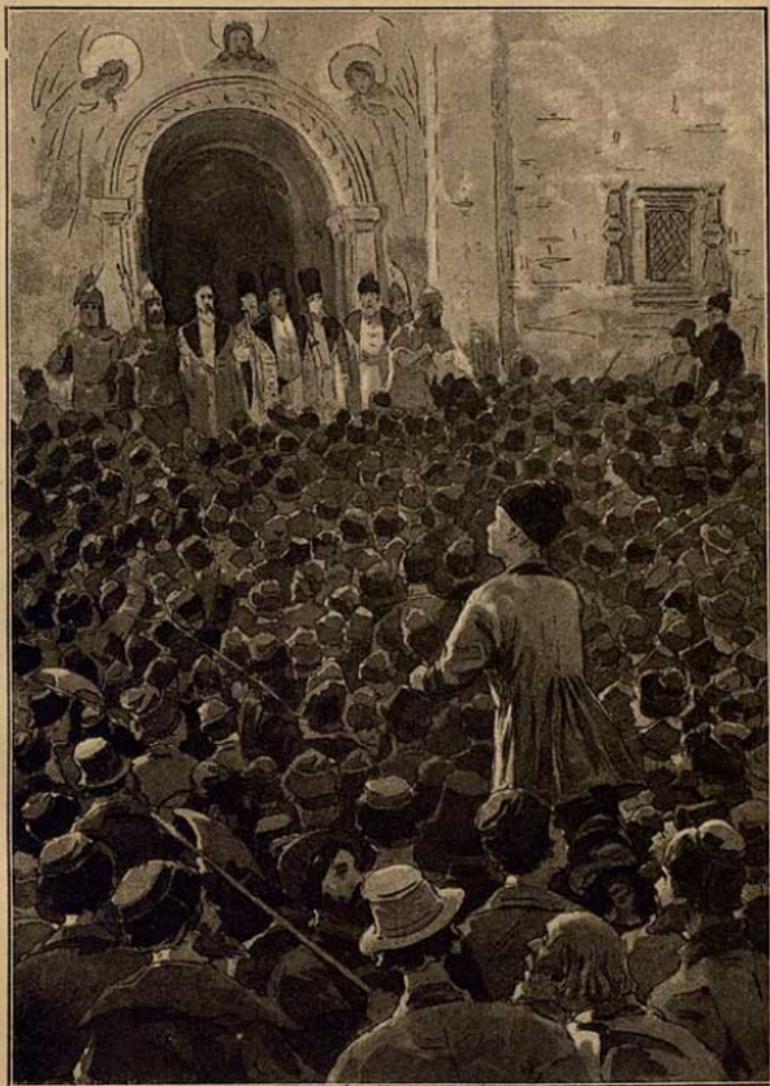
— А очень просто: на воротах у поляков за ночь везде черные кресты проставлены; как крест, так, стало, и громи... Ну, народу!

В самом деле, из боковых улиц и переулков прибывали все новые толпы, и чем ближе к Кремлю, тем народная масса становилась все гуще и шумнее. Этот все нарастающий шум и гам, сливаясь с неумолкающим колокольным гулом, действовал одуряющим образом и еще более усиливал всеобщее возбуждение. Когда тут показалось несколько всадников в богатых боярских кафтанах, и во главе всех князь Василий Иванович Шуйский, народ, пропустив их вперед, бурным потоком устремился вслед, с одним и тем же криком:

— За Шуйским, братцы, за Шуйским! Что прикажет, тому, значит, и быть!

Очевидно, ни для кого не было уже тайной, что вот кто душа всего заговора.

Петрусь, затертый в толпе ражего рабочего люда, напрягал всю силу своих отроческих мышц, чтобы не быть раздавленным. Перед



Фроловскими воротами произошла такая отчаянная давка, что у взрослых мужчин вырывались болезненные стоны, а наш мальчик готовился уже отдать Богу душу. Но вот, живой волной окружающих приподняло его от земли и вынесло сквозь ворота в Кремль. Надо было выбраться из этих тисков во что бы то ни стало! Он сорвал шапку с головы шедшего перед ним парня и бросил ее на воздух. Напиравшие сзади машинально взглянули ввышину и на одну секунду ослабили свой натиск. Этой секунды было довольно для ловкого сына Запорожья, чтобы с легкостью мячика взлететь на плечи того же переднего парня.

— Ишь, озорник! Бездельник этакий! — раздались кругом восклицания.

— Не взыщите, люди добрые, мне к спеху, — отвечал Петрусь и перепрыгнул уже на следующие плечи.

Люди были прижаты так плотно друг к дружке, что при всем желании не имели возможности воспрепятствовать его эквилибристическим упражнениям. Так, с одного человека на другого, он без всякого уже затрудне-

ния добрался почти и до самого Успенского собора. Здесь, наконец, кому-то удалось схватить прыгуна за ногу и стащить наземь. Его ожидала бы, конечно, нешуточная расправа, если бы в это самое время общее внимание не было отвлечено опять князем Шуйским. Помолвившись в соборе, тот вышел теперь, вместе с другими боярами, на паперть и обратился к народу с такими словами:

— Православные! Святая Русь, святая вера наша гибнут! Поляки обманом посадили на престол царский самозванца, расстригу и вора Гришку Отрепьева; самозванец этот женился на проклятой еретичке, сам принял ее богомерзкую веру и всех нас обещался обратить также в латынство, отдать в кабалу истинным врагам нашим, полякам. Смерть же полякам! Смерть самозванцу!

В ответ на зажигательную речь воздух огласился единодушным — не криком, нет, а ревом тысячей и тысячей обезумевших людей:

— Смерть полякам! Смерть самозванцу!

Петруся опять подхватило бушующим человеческим морем, и он должен был отдаться

общему течению. С измятыми боками, едва переводя дух, он, сам не зная как, очутился на крыльце нового царского дворца, а затем и в главных сенях. Впереди раздавались угрожающие возгласы и бряцание оружия. Но наружная толпа, все прибывавшая, напирала сзади, и казачок наш оказался уже в царской приемной.

Вход во внутренние покои загоразживала своими алебардами немецкая охранная стража. Начальник ее, курляндский дворянин Вильгельм Шварцгоф, на ломаном русском языке пытался урезонить нападающих; но те требовали «головы самозванца» и все более теснили алебардчиков, которые с трудом уже отбивались от их дубин и топоров.

Тут дверь за спиной Шварцгофа распахнулась, и на пороге появился сам Димитрий в своем польском жупане, в сопровождении Басманова.

— Назад, крамольники! — повелительно крикнул он, окидывая буянов бесстрашным взглядом. — Татищев! Воейков! И вы с ними? Но я вам не Борис!

И, выхватив обнаженный меч из рук

Шварцгофа, он с такой отвагой двинулся на двух изменников-бояр, что те невольно попятнулись назад на предводительствуемую ими чернь.

— Побереги себя, государь! — предостерег его Басманов. — И зачем ты не послушался верных немцев! А теперь спасайся с царицей, я здесь умру за тебя.

Димитрий внял разумному совету и скрылся опять за дверью.

— Он убежит еще со своей женой-колдуньей! Вперед, братцы! Не жалей их, руби плеча! — раздались голоса.

— Да не знает ли кто дорогу к покоям Маринки?

— Я знаю! — отозвался какой-то долговязый парень с багровым испытанным лицом. — За мной, ребятушки!

Толпа разделилась: пока одни вступили снова в рукопашную с Басмановым и алембардщиками, другие ринулись за новым вожаком.

«А ведь там, у царицы, и моя княгинюшка! — вспомнил Петрусь. — Ее тоже, пожалуй, за полячку примут, и тогда аминь!»

Следом за другими он подоспел к дверям царицыной приемной как раз к концу ожесточенной схватки. Вход к царице защищал всего один человек, но преданный ей душой и телом, бессменный ее рыцарь, пан Осмольский. Против всей дикой оравы он молча с удивительным хладнокровием и мужеством отбивался своим палахом. Вдруг грянул чей-то выстрел, и герой, до смерти верный своему долгу, грохнулся на пол, пораженный пулею в самое сердце. Крепкая дубовая дверь затрещала под ударами топоров; еще миг — и дверь разлетелась в щепы.

Посреди приемной стояло несколько бледных, трепещущих женщин.

— А где же ваша царица-колдунья? Где царь самозванец? — окрикнул их долговязый буян. — Говори сейчас, сударынька-барынька, коли жизнь тебе еще мила.

Великолепная панья гофмейстерина, к которой относились последние слова, со страху забыла всю свою напущенную важность и растерянно обратилась по-польски к стоявшей позади ее молоденькой особе, единственной из всех в русском сарафане:

— Ах, милая княгиня! Скажите же им что-нибудь... Та выступила вперед и отвечала во-прошающему по-русски с полным присутствием духа:

— Царица на ранней заре еще ушла в дом своего родителя, сендомирского воеводы: там ее и ищите. А где теперь царь, — почем нам знать?

— Лжете вы, проклятые еретички! Бей их, режь их, покуда не скажут!

— Стой, ребята! Какая ж это еретичка? — вмешался тут Петрусь. — Разве еретичка оделась бы в русское платье, говорила бы так чисто по-русски? Я ее хорошо знаю: это княгиня Курбская.

— Так по что ж она здесь с полячками?

— А держат ее здесь взаперти против ее воли. Мужа ее, князя Михайлу Курбского, забрали тоже в сыскной приказ и пытаются всякими муками, чтобы он выдал заговорщиков...

— Его пытаются?.. — вскричала вне себя Маруся, разом потеряв все самообладание. — Голубчики вы мои! Спасите мне мужа!

— Поспеем! — был ответ. — Отойди-ка, сударыня, к сторонке: дай нам сперва распра-

виться с этим польским отродьем.

— И не стыдно вам, мужчинам, воевать с бабами?

— Зачем, матушка, воевать; да добра-то на них всякого больно много понавешено: и нашим бабам пригодится. Ну, красавицы-лебедушки! Просим не прогневаться.

Несмотря на сопротивление и вопли женщин, с них были сорваны все ценные украшения: запястья, кольца, серьги, затем целыми полосами и дорогие шелковые ткани...

— Вот и справились, не задержали! — с грубым смехом объявил вожак. — Скатертью дорога.

Все подчиненные паньи гофмейстерины не дали повторить себе приглашения и опрометью бросились вон. Сама же она осталась стоять на том же месте, как пригвожденная к полу.

— Ну, а твоя милость чего ждет? Аль столбняк нашел?

— Не троньте ее, Господь с нею! — вступилась снова Маруся. — Окажите теперь божескую милость своему русскому: освободите мне мученика-мужа! Терпит-то он ведь из-за

вас же...

— Ну, что ж, коли из-за нас, то как не освободить? Ослобоним его, братцы!

— Ослобоним! — откликнулось несколько человек и последовало за главарем, тогда как остальные хищники рассеялись по дворцу в поисках за дальнейшей добычей.

Панья Тарло, понятно, не отделалась бы от них так дешево, знай они истинную причину ее столбняка; нам же причина эта хорошо известна благодаря современному летописцу (Мартину Беру); под широчайшей робой своей гофмейстерины нашла временное убежище сама царица Марина, и сдвинься та с места, ее бы, понятно, схватили и подвергли жестоким обидам, если не лютой смерти.

Между тем на площади перед дворцом народ бушевал по-прежнему. Кипящим, неутоленным еще страстям его нужен был какой-нибудь исход. Как только новоявленные защитники Маруси показались на главном крыльце, на них обратилось всеобщее внимание; когда же те крикнули сверху, что в сыском приказе томятся безвинные жертвы самозванца и что следовало бы выпустить бед-

няг оттуда — предложение было встречено с сочувственным исступлением:

— Выпустить всех! В приказ! В приказ!

Народные волны шумно покатались в сторону сыскного приказа. Против могучего прироя этих волн не устояли ни замки, ни затворы. Пока Маруся, сопровождаемая казачком, спустилась с крыльца и с трудом стала пробираться сквозь плотную толпу к месту заключения своего мужа, кого-то уже выносили оттуда на носилках, выносили ликуя, как триумфатора.

— Да это он, наш князь! — радостно возвестил Петрусь.

Из груди молодой госпожи его вырвался крик безумного счастья.

— Слава, слава Богу! Пропустите меня к нему, пропустите: это муж мой! Ты жив, Миша?

Да он ли это еще, полно? Это богатырское, но неподвижное тело с повисшими, как плети, руками, это впалое, страдальческое лицо, этот потухший взор!

— Владычица! Что они с тобою сделали... Рыдания заглушили ее слова.

— Это ты, Маруся? — послышался слабый голос несчастного. — А царь? Что с ним?

— Молчи! Не говори! — шепнул ей казачок, недаром опасавшийся, что Курбский выдаст перед бунтовщиками свою неостывшую еще привязанность к Димитрию.

Но, как бы в ответ на вопрос, со стороны дворца донесся в это время торжествующий рев — рев словно целой стаи диких зверей.

— Знать, расправляются с расстригой! — со злобным смехом заметил кто-то из окружающей черни.

— Несите меня туда! Скорее, скорее! — заторопил Курбский.

Наклонясь к самому уху мужа, Маруся шепотом умоляла его не губить себя.

— И дать погубить того, кому я всем обязан? — возразил Курбский. — Скорее, любезные, скорее!

Но судьба Димитрия была уже решена. Навстречу им двигалась омерзительная процессия: несколько оборванцев несли, в виде трофея, маски, найденные ими во дворце от назначенного на другой день маскарада, и орали во все горло:

— Смотрите, православные: вот бесовские хари, которым он молился!

Один отчаянный, брэнча на балалайке, отплясывал тут же на ходу трепака; а за ним такие же озверевшие люди волокли по земле два обезображенных, окровавленных трупа: Димитрия и Басманова.



Курбский со сверхчеловеческим усилием приподнялся на носилках.

— Злодеи! — крикнул он, и глубокое негодование придало его голосу почти прежнюю звучность. — Мало, что вы его убили — вам

надо еще надругаться над его мертвым телом!

— А! Ты тоже, значит, из их братии? — заревел на него один из безумцев и увесистой палицей с такой силой хватил его по лбу, что носильщики не могли сдержать своей ноши.

Маруся с воплем накинулась на поверженного, чтобы своим телом защитить его от дальнейших истязаний. Но никому не было уже дела до нее и до ее мужа.

— Вперед на Лобное место! — раздалась команда, и ужасная процессия двинулась далее...

...На следующий только день, благодаря ледяным примочкам, беспрестанно накладываемым на голову, Курбский в первый раз открыл опять глаза. Лежал он на своей собственной постели, в доме Биркиных; у изголовья его стояли с озабоченными лицами Маруся и лекарь Бенский, а в ногах — Степан Маркович.

— Очнулся! — прошептала Маруся, и на ресницах ее проступили опять слезы — уже слезы радости. — Ты узнаешь меня, Миша?

Венский сделал ей знак, чтобы она отошла вон и не беспокоила больного расспросами, а

сам приложил ладонь к его сердцу. (Взять его за пульс он не решался, чтобы не причинить напрасной боли его поврежденной руке).

Курбский точно не слышал даже вопроса жены и, вообще, не пришел еще в себя; взор его неопределенно блуждал кругом, пока не остановился, наконец, на лице врача.

— Это вы, Бенский? — прошептал больной. — Но отчего здесь так светло, будто от солнца?

— Оно и светит сюда, — отвечал Венский. — Вы, князь, ведь уже не в темнице, вы у себя дома. Вас освободили.

— Освободили? Так это не был сон?

— Нет, дорогой мой, нет, это не сон! — подхватила тут Маруся, быстро подходя к мужу. — Я с тобой, а вот и дядя Степан... Степан Маркович, в свою очередь, начал было выражать свое удовольствие, но Курбский едва взглянул на него, не выказал и особенной радости, что видит опять Марусю. Его занимала, казалось, одна только мысль.

— Так, стало быть, правда что царь Димитрий убит? — спросил он. — Да что же вы все молчите? Отвечайте!

Глаза его разгорелись лихорадочным огнем. Венский переглянулся с Марусей и ее дядей.

— Теперь, пожалуй, лучше уже не скрывать, — сказал он со вздохом. — Да, Димитрия уже нет на свете, также как и Басманова.

— Но как это все случилось?

— Рассказывать про эти ужасы меня уж увольте. Вот Степан Маркыч, может быть, расскажет.

— Да что тут много рассказывать? — отозвался Степан Маркович. — Басманов, слышно, до последнего издыхания защищал вход в царские покои, поколе Татищев не всадил ему нож в бок. Тут его сбросили с крыльца...

— А царь?

— Царь выскочил из окна во двор к своим стрельцам. Те его подняли (он свихнул себе ногу) и обещали не выдавать его боярам. Но тут подоспели сами бояре, стали всячески истязать его, чтобы признался, кто он есть такой, отколе родом. «Всем вам ведомо, — молвил он, — что я царь ваш, родной сын царя Ивана Васильевича. Спросите родительницу мою, инокиню Марфу». — «Она отрекается от

тебя!» — крикнул Голицын и рубанул его по голове саблей. «Чего толковать с еретиком!» — крикнул Воейков и из пистолы уложил его на месте.

— Мне сказывали, что пристрелил его не Воейков, а Волуев, — вставил Бенский.

— Кто их ведает! Говорят разно. Одно верно, что его прикончили.

Наступило молчание. Курбский беззвучно шевелил губами, молясь про себя за упокой души усопшего, затем спросил опять вслух:

— А тело его, — где оно теперь?

— На Красной площади, — отвечал Биркин. — Нарядили их обоих, его да Басманова, скоморохами и положили самого на стол, а Басманова на скамейку у ног его: вместе-де грешили, так вместе пускай и лежат на общее позорище! И издеваются же над их бездушным прахом! Самому в рот сунули дудку: «Вдосталь, мол, поиграл для себя, поиграй-ка и для нас!»

— Вот благодарность народная! А покойному, что ни говори, благо народа было всего дороже... Степан Маркыч! Мой смертный час, чувствую, тоже близок. Исполни же ты мою

последнюю просьбу.

— Приказывай, князь, что могу — все сделаю.

— Так выпроси его тело у бояр и схорони за городом...

Желание это Степаном Марковичем было в точности исполнено: выхлопотав себе требуемое разрешение, он в ночь на третьи сутки вывез тело Димитрия за город и закопал в поле. Но и там не нашло оно еще вечного успокоения: среди всевозможных смутных слухов ходивших в возбужденном народе, особенно упорно повторялась басня о том, будто бы на могиле еретика-самозванца в ночную пору видны адские огни, слышна бесовская музыка.

И вот, уже спустя неделю, могила его была вновь разрыта, истлевающее тело всенародно сожжено на костре, а пеплом его заряжена пушка. И, вместе с пороховым дымом, развеяло ветром прах венценосного несчастливца перед теми самыми воротами, в которые он менее года назад совершал свое торжественное вшествие в Москву...

Заключение

Рассказ наш окончен. Главный герой его, князь Михайло Курбский, правда, несмотря на тяжкие увечья, причиненные ему в застенке, не только пережил все Смутное время до воцарения рода Романовых, но дожил и до «тишайшего» царя Алексея Михайловича; тем не менее жизнь его была скорее уже прозябанием: он навсегда остался немощным калекой. Трое близких людей старались по возможности облегчить его жалкое существование: во-первых, разумеется, жена его, княгиня Марья Гордеевна, окружавшая своего, страдальца Мишу всякими удобствами и отстранявшая от него все мелочные заботы; потом безотлучный слуга, Петрусь, величавшийся уже Петром Елисеичем или и просто Елисеичем и никому не уступавший своей привилегии — возить его в катальном кресле; наконец, домашний врач Эразм Бенский, не устававший развлекать своего пациента шахматной игрой и беседами о «старых временах». Нередко, конечно, беседы эти вращались около безвременно погибшего царя Димитрия,

которого Курбский не переставал жалеть. Называл он его, впрочем, обыкновенно не царем, а «своим царевичем». Когда Венский выразил ему как-то по этому поводу свое недоумение, Курбский, помолчав, отвечал, что полюбил он покойного еще в светлом образе царевича...

— И не пощадили себя потом из-за него, как бы из-за настоящего же царевича? — досказал Венский.

— Пожалуй, что и так.

— А как в царе вы в нем изверились? Да, чересчур уж высоко он залетел! Зато и упал тем ниже...

Говорить о бывшей царице Марине в доме Курбских вообще избегали, особенно с тех пор, что она не погнушалась признать своим мужем второго Лжедмитрия, «Тушинского вора». Но, спустя много лет, им пришлось снова вспомнить о ней и ее первом муже, когда забредший в Марусино слепец-гуслир пропел им былевуую песнь «про вора Гришку-Расстрижку Отрепьева и про жену его, меньшую дочь Юрья пана Сендомирского, душеньку Маринку дочь Юрьевну». Много дней, недель

и месяцев, как певец ушел уже из Марусина, а в ушах у супругов Курбских все еще звучали заключительные стихи новейшей былины народной:

*«...Как тут Гришка-Расстрижка
Отрепьев сын
Заглянул в окно косяцато:
Обступила сила кругом вокруг,
Несметная сила с копьями.
Берет он книжку волшебную.
Волхвует Гришка Отрепьев сын,
Думает он умом своим царским:
„Подделаю крыльица дьявольски,
Улечу теперь я дьяволом“.
Не поспел Гришка сделать крыльицев,
Навалила вся сила с копьями.
Видит Гришка беду неминуемую,
Скоро скочит в окошко косяцато
—
Да о каменья убился до смерти.
Только-то Гришка царем бывал.
Только-то Гришка и царствовал!
А та душенька Маринка дочь
Юрьевна
Обернулась из окошка сорокою, —
Только-то Маринку и видели!»*

Примечания

Наказные атаманы вели отдельные курени в поход; настоящие же куренные атаманы оставались в Сече «на господарстве», то есть для заведывания на месте куренным хозяйством.

[^^^]

2

*Впоследствии решетки были заменены рога-
тами.*

[^^^]

Современник (Кубасов) так описывает молодого царевича: «Царевич Феодор, царя Бориса отроча зело чудно, благолепием цветущи, яко цвет дивный на селе от Бога преукрашен, и яко крин в поле цветущ; очи имея велики черны, лице же ему бело, млечной белостию блистаяся, возрастом средний, делом изобилен; научен же бе от отца своего книжному почитанию, во ответех дивен и сладкоречив вельми, пустошное же и гнилое слово никогда же из уст его исходаше, о вере и поучении книжном со усердием прилежааше»

[^^^]

Карта России с планом Москвы, сделанная рукой царевича Федора Борисовича Годунова, сохранилась до нашего времени. Точный снимок с нее приложен к изданию Н. Устрялова: «Сказания современников о Димитрии Самозванце».

[^^^]

5

Подлинный текст грамоты Самозванца к Годунову.

[^^^]

6

По словам одного из бытописателей того времени (Олеаря), в Москве насчитывалось тогда до 2000 церквей, по словам же другого (Бера) — даже до 3000. В то число по всему вероятно, входили и часовни.

[^^^]

Сосланный в 1593 году в г. Тобольск колокол служил там сперва в церкви всемилостивейшего Спаса «набатным» колоколом, затем на Софийской соборной колокольне — «часобитным», а впоследствии и «зазвонным». Только в 1836 г. он был перевешен в ограду архиерейской Святодуховской Крестовой церкви в качестве «благовестного»; в конце же XIX века по ходатайству угличан возвращен опять в Углич.

[^^^]

Выксинский, 25 верст от г. Череповца, Новгородской губернии.

[^^^]

В Троицком Сергиевском монастыре, где несчастная княжна, принявшая в монашестве имя Ольги, скончалась в 1622 году, донныне можно видеть плиту с надгробною надписью: «Лета 71 30 августа в 30 день преставися благоверная царевна инока Ольга Борисовна».

[^^^]

Точное описание устроенного в январе 1606 года на Москве-реке «ада» сохранилось в записках беспристрастного очевидца, голландского купца Исаака Массы, жившего в Москве с 1601 года по 1609 год. Какое, напротив, устрашающее впечатление производило это невиданное дотоле сооружение на простых русских людей, показывают следующие строки неизвестного инока Троице-Сергиевского монастыря, написанные летом 1606 года.

[^^^]

Из обширного списка подарков (на двух страницах), приложенного к дневнику Марины Мнишек, веденному с 1605 по 1608 г., и из росписи, составленной дьяком Власьевым, назовем здесь подарки наиболее замечательные: От царской матери, инокини Марфы, Марина получила образ Пресвятыя Троицы, богато оправленной в золоте и с камнями; от царственного жениха своего: 1) корабль из золота, драгоценных камней и жемчуга, ценою в 60,000 польских злотых; 2) золотого пеликана, достающего свое сердце для птенцов; 3) золотого павлина с распущенным хвостом, «кого перья тряслись, как на живой птице»; 4) серебряный сосуд в виде богини Дианы, сидящей на золотом олене с коралловыми рогами; 5) золотого вола с камнями, внутри которого драгоценный домашний прибор; 6) большие золотые часы, «на коих слон с башнею; играли, по московскому обычаю, разные штуки громко и внятно, били в бубны, трубили из двенадцати труб и долго оглушали уши слушателей; потом играли на флейтах и, нако-

нец, били два часа». Родителю невесты, пану воеводе Юрию Мнишку, были между прочим, посланы от царя: 1) конь в яблоках с богатым седлом, наголовником и проч.; 2) три кречета с золотыми колокольчиками и жемчужными наголовками; для держания же их — рукавицы золотые турецкие.

[^^^]

Вот полностью тот титул, которым словесно приветствовал Олесницкий царя Дмитрия от имени короля Сигизмунда: «Ваше господарское величество, Божию милостью всепресветлейший, великий государь Дмитрий Иоаннович, князь всея России, Владимирский, Московский, Новгородский, Казанский, Астраханский, Псковский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и других многих земель царь».

[^^^]

Папе Павлу V, преемнику Климента VIII.

[^^^]

В те времена русские вообще не ели телятины.

[^^^]